

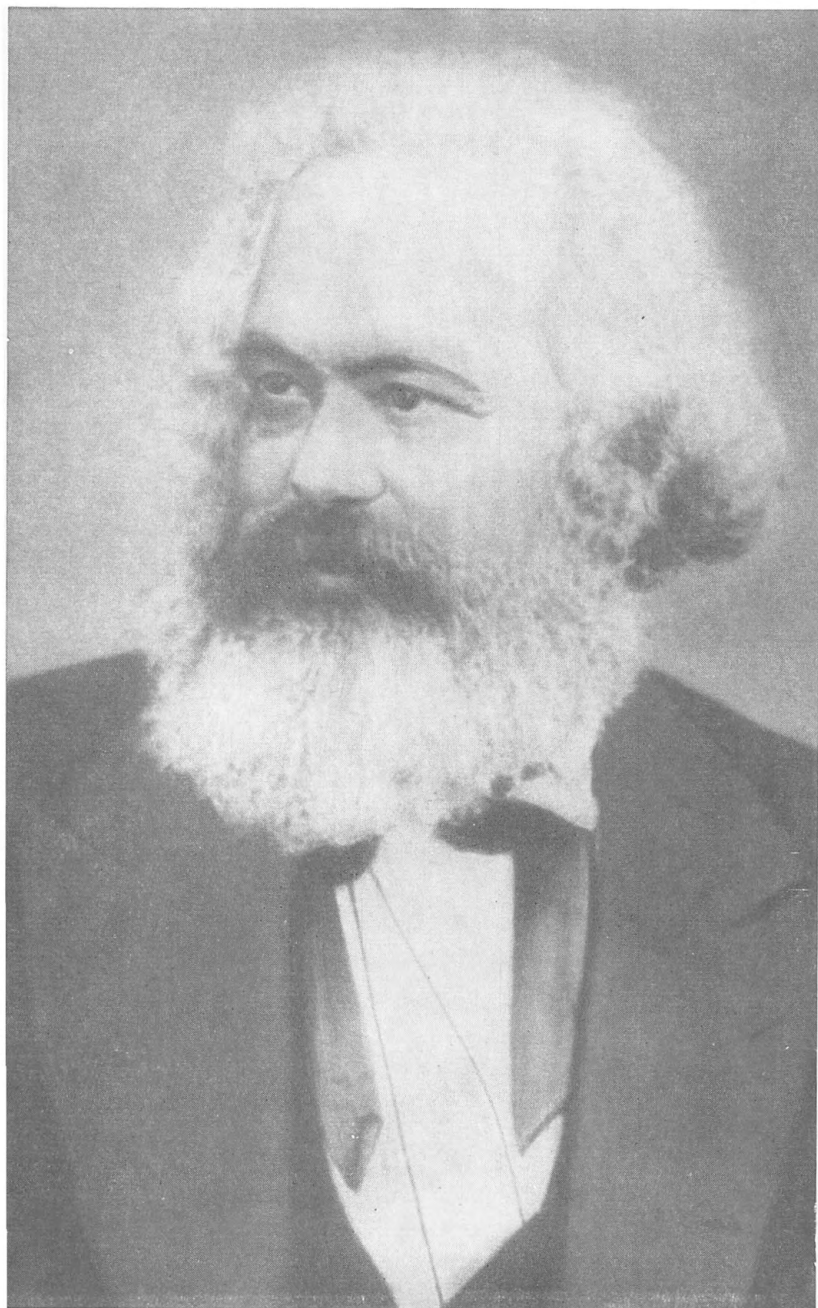
НОВАЯ
МИР

НОВАЯ
МИР

5



1968



Карл Маркс

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суевением, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета».

В. И. Ленин.

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 5

Май, 1968 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОГО КОММУНИЗМА	3
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Новые стихи. Перевели с калмыцкого Семен Липкин и Юлия Нейман	8
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Атака с ходу, повесть. Перевел с белорусского автор	10
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Из лирики, стихи	72
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — Снегопад, Метель, стихи	74
Л. ЗАВАЛЬНЮК — Память, стихотворение	76
НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ — Два рассказа	77
Н. КИСЛИК — Два стихотворения	90
ВИТАЛИЙ СЕМИН — В сорок втором. Из воспоминаний. Хозяин, рассказ	92
САЛОМЕЯ НЕРИС — Стихи разных лет (1926—1943). Перевели с литовского Юнна Мориц, М. Квятковская и Н. Астафьева	104
А. МАРЬЯМОВ — Североморцы, очерк	109

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ — Из лондонских воспоминаний (1925—1927). Окончание.	153
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	168
В. Ковский. Дагестан Абу-Бакара.— Е. Старикова. Старости у них не было.— В. Жданов. Новый альманах.— Л. Лазарев. Не только для детей...— Л. Поляк. Большая жизнь.	
<i>Политика и наука</i>	182
Т. Смирнов. Знание против предрассудка.— Э. Беляев. Свободное время: его объем и использование.— В. Савин. Парламентаризм на современном этапе.— Э. Рабинович. Второй закон термодинамики и человечество.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — В огне революционных боев (Районы Петрограда в двух революциях 1917 г.).— Антон Сорокин. Напевы ветра.— А. Кийтайгора, К. Рыскин. В прифронтовой зоне.— Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен. Симплициссимус.— «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.— А. Д. Сухов. Философские проблемы происхождения религии.— Ф. Кривин. Ученые сказки — Дмитрий Стонов. Раннее утро.— Дмитрий Семеновский. Иней.— В. М. Жданов, Г. Выгодчиков, Ф. И. Ершов, А. А. Ежов, Н. Б. Коростелев. Занимательная микробиология.— К. Саймак Прелесть.— Н. К. Гей. Искусство слова	198
ОТ РЕДАКЦИИ	206
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	207

ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОГО КОММУНИЗМА

Тыбы рассказать, как менялся наш мир на протяжении последних полутора столетий, нужны многие тома исторических книг. Но вместе с тем об этом можно сказать короткой фразой, и она будет исчерпывающе точной: мир наш изменялся за это время именно так, как это предсказал человек, родившийся сто пятьдесят лет назад в немецком городе Трире, над Рейном.

Человечество со времен глубокой древности знало многих прорицателей, пророков, мечтателей и утопистов. Но Карл Маркс стал первым, кто сумел заглянуть в будущее не по наитию, а точным и уверенным взглядом ученого — с высот созданной им же самим в содружестве с Фридрихом Энгельсом науки о непреложных законах развития общества. Время подтвердило, сколь верна и глубока оказалась эта наука.

Жизнь Карла Маркса начиналась в ту пору, когда в мире только что отгремели наполеоновские войны.

Это был мир взволнованный, чреватый переменами, пахнущий пороховой гарью, полный напряженным ожиданием грядущих событий. И именно Карлу Марксу, вступившему в этот мир на одном из сложных переломных рубежей его истории, суждено было впервые проникнуть взглядом ученого в живое, сложнейшее, постоянно изменяющееся переплетение сталкивающихся противоборствующих сил, открыть закономерности исторического развития и увидеть, как в соответствии с этими закономерностями будет развиваться история — не только в ближайшее, обозримое время, но и в самой отдаленной исторической перспективе.

Основоположники научного коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс первыми увидели и показали в своих трудах главную силу, появившуюся на арене общественной жизни в переломную пору промышленной революции, которая все шире и победительнее захватывала все сферы жизни человечества.

Эту силу следовало искать не во дворцах монархов, не в кабинетах политиков и не в походных шатрах армейских стратегов. Даже самые прекраснородные благородные мечтатели о справедливом переустройстве жизни обречены были на трагическое поражение, действуя в одиночку. Новой силой, решающей судьбы человечества, стал самый революционный в истории класс — пролетариат; от его сплоченности и целеустремленности зависело все дальнейшее развитие исторических событий. Величайшая заслуга Маркса в том и состоит, что он выработал научное мировоззрение пролетариата, превратив социализм из утопии в науку и вооружив рабочий класс ясным пониманием его великой исторической миссии как творца нового, социалистического общества.

В основу этого мировоззрения лег созданный Марксом и Энгельсом диалектический и исторический материализм — наука о наиболее общих

законах развития природы, общества и человеческого мышления. Создав научную политическую экономию, Маркс дал пролетариату прочное экономическое обоснование революционной борьбы и грядущей победы рабочего класса. Научный социализм К. Маркса и Ф. Энгельса стал теорией и программой всего революционного рабочего движения.

Сплочению пролетариата, его идейному развитию, воспитанию его боевого революционного духа К. Маркс и Ф. Энгельс посвятили весь свой труд и всю свою жизнь. В начале 1847 года они создали Союз коммунистов — первую международную пролетарскую партию, — а в июне того же года ими впервые был провозглашен лозунг, который и в наши дни поднимает и ведет миллионы борцов во всем мире: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

О «Манифесте Коммунистической партии», который в 1848 году написали Маркс и Энгельс и который тогда же Союз коммунистов обнародовал в охваченных пламенем революций странах Европы, Владимир Ильич Ленин писал: «В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классово-борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества».

Эти слова были дополнены крайне существенным замечанием, когда летом 1917 года, накануне решающего этапа борьбы, Владимир Ильич работал в Разливе над рукописью книги «Государство и революция». Обрисовывая контуры будущего пролетарского государства, Ленин прочно опирался на созданную Марксом науку и смело ее развивал. Он привел содержащиеся в одном из писем Маркса слова о том, что «классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата», и далее написал следующее:

«Главное в учении Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно... Ограничивать марксизм учением о борьбе классов — значит урезать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата... На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма».

Маркс и Энгельс всесторонне анализировали славный опыт пролетариев Парижа, которые создали в 1871 году свою Коммуну. Они увидели в этом опыте корни грядущих побед и показали роковые плоды ошибок. Этот научный анализ помог Марксу определить важнейшие принципы стратегии и тактики классово-борьбы пролетариата и лег в основу той научной теории пролетарского государства, которую Ленин затем дополнял, продолжая анализировать весь последующий полувековой опыт борьбы рабочего класса.

Добиваясь сплочения и организации в международном рабочем движении, Карл Маркс с особой пристальностью вглядывался в те очаги революционной мысли, которые все ярче разгорались тогда в России. Русская экономика — и прежде всего особенности аграрных отношений в Российской империи — также возбудила его интерес во время работы над вторым и третьим томами «Капитала». Он изучал русский язык, начав с чтения в подлиннике книги А. И. Герцена «Тюрьма и ссылка». Затем он со словарем в руках упорно одолевал своеобразную лексику М. Е. Салтыкова-Щедрина, читал монографии Костомарова о северных народоправствах и о Степане Разине, цитируя слова из разинской прокламации: «Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными

и простыми всем готов поделиться». В бумагах Маркса сохранились многочисленные выписки из прочитанной им по-русски работы В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России». Неоднократно, во многих письмах и трудах своих, свидетельствовал К. Маркс свое глубокое уважение к личности и публицистическому таланту Н. Г. Чернышевского.

Это обстоятельство позволяет яснее представить, что далеко не случайной была глубокая вера Маркса в революционные возможности России, а также помогает более полно ощутить ту духовную атмосферу, в которой формировался гениальный продолжатель дела Маркса и его учения — Владимир Ильич Ленин.

Именно в России — под руководством Владимира Ильича Ленина и под славным знаменем марксизма — одержала историческую победу Великая Октябрьская социалистическая революция, открывая эпоху перехода человечества от капитализма к социализму.

Здесь нашло свое практическое осуществление развитие Лениным марксистское учение о государстве; здесь впервые была осуществлена пролетарская диктатура на основе союза рабочего класса с трудящимся крестьянством; здесь шаг за шагом совершалось построение социализма по разработанному Лениным плану, где предусмотрены были решительная индустриализация отсталой аграрной страны, социалистическое переустройство сельского хозяйства, культурная революция, ставящая своей целью достижение всеобщей грамотности, широкое распространение научных знаний и утверждение в сознании людей социалистической идеологии.

Под знаменем ленинизма, представляющего собою новый, высший этап марксизма, творчески развивающего наследие Маркса и Энгельса в новых исторических условиях, трудящиеся Советского Союза осуществили в условиях одной страны переход от капитализма к социализму. Этот богатейший революционный опыт стал неоценимым примером для революционного движения во всем мире. Возможно ли воздвигнуть более достойный памятник учителю мирового пролетариата, встречая славою, полуторавековую дату со дня его рождения!

Наш современный мир расколот на две противоположные системы — капиталистическую и социалистическую. Притом позиции капитализма ослабевают все более, в капиталистических странах наступает новая полоса классовых битв, а на огромных пространствах планеты, которые оставались до сих пор сферой империалистического соперничества капиталистов, где сотни миллионов людей жили в нищете и голоде, где искусственно тормозилось промышленное и культурное развитие, — наступила эра освобождения народов от колониального рабства и молодой рабочий класс освободившихся государств вышел на мировую арену как новый и многочисленный отряд мирового пролетариата.

Этому отряду оказывают дружественную и действенную поддержку Советский Союз и другие социалистические страны. Все прогрессивные силы мира добиваются ныне полного и окончательного уничтожения колониализма и поднимают гневный голос протеста, когда империалисты пытаются вмешиваться во внутренние дела молодых национальных государств.

В авангарде могучего мирового движения к социализму стоят окрепшие, все увеличивающиеся в числе своем коммунистические партии, которые борются во всеоружии надежной и победоносной стратегии марксизма-ленинизма. Уже не одна страна, но весь обширный социалистический мир являет ныне вдохновляющий пример строгости новой жизни. Марксистско-ленинские партии, возглавляя во всех этих странах движение к коммунизму, накопили огромный опыт в примене-

нии общих законов социалистического развития к конкретным условиям своих стран. Этот опыт стал неоценимым достоянием всего мирового рабочего движения.

Идеи Маркса—Энгельса—Ленина, совместная борьба за торжество этих великих идей прочно объединили коммунистов всего мира. Все они видят свою важнейшую идеологическую задачу в защите чистоты революционной теории, в борьбе с антимарксистскими взглядами. Единодушие в решении общих задач, верность марксизму-ленинизму и провозглашенным им принципам пролетарского интернационализма составляют главную силу коммунистических и рабочих партий. Поэтому такой решительный отпор встречает любая попытка раскольников, силящихся прорвать единый фронт мирового коммунистического движения. С таким отпором встретила группа Мао Цзэ-дуна, пытающаяся подменить интернационалистские принципы великодержавным шовинизмом, а научному коммунизму противопоставить «идеи Мао».

Ранней весной 1968 года в Будапеште встретились представители шестидесяти шести коммунистических и рабочих партий со всех континентов земного шара. Целью этой Консультативной встречи было укрепление единства коммунистического движения, сплочение всех сил социализма и демократии в борьбе против империализма, за национальное и социальное освобождение и за мир во всем мире. На совещании было единодушно принято решение—созвать в ноябре—декабре нынешнего года международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Единодушие в решении всех серьезнейших общих проблем знаменует собою нерушимую верность коммунистов заветам Карла Маркса, заложившего краеугольный камень в великое здание международного коммунистического движения.

В постановлении, принятом 10 апреля 1968 года Пленумом Центрального Комитета КПСС, выражено полное одобрение итогов Консультативной встречи в Будапеште. Апрельский Пленум полностью одобрил активную и разностороннюю деятельность Политбюро по дальнейшему развитию связей с братскими социалистическими странами.

На этом Пленуме было отмечено, что современный этап исторического развития характеризуется резким обострением идеологической борьбы между капитализмом и социализмом. В этих условиях особое значение приобретает непримиримая борьба с вражеской идеологией, решительное разоблачение происков империализма, коммунистическое воспитание членов партии и всех трудящихся, усиление всей идеологической деятельности партии. Партия всегда предупреждала, что мирного сосуществования в области идеологии быть не может, как не может быть классового мира между пролетариатом и буржуазией.

Буржуазия не может противопоставить марксизму-ленинизму ни одной целостной концепции. Тем яростнее предпринимаемые ею попытки исказить марксизм, фальсифицировать его, объявить устаревшей теорией. Борьба против подобных попыток должна быть неустанной и непримиримой, причем литературе и искусству принадлежит в этой борьбе немалая и почетная роль.

Тезисы к столетилетию со дня рождения Карла Маркса, опубликованные Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, заканчиваются напоминанием о том, что марксизм—это не догма, не свод застывших положений, а руководство к действию. «Идея развития,—говорится в Тезисах,—пронизывает собой все учение Маркса—Энгельса—Ленина. Это учение—подлинно научная теория и верный метод исследования и преобразования живой и развивающейся действительности».

Эти слова относятся ко всем областям нашей жизни. В том числе имеют они самое прямое и непосредственное отношение также к литера-

туре и искусству. Ведь именно глубокое исследование жизни с марксистских позиций является самой высокой целью советского художника, которую и выполняет он в меру способностей своих и с помощью избранных им изобразительных средств.

«Правда жизни на стороне марксизма»,— говорится в Тезисах. Более чем на протяжении века историческое развитие идет по пути, предсказанному марксистской теорией. Новые победы, одерживаемые под знаменем Маркса—Энгельса—Ленина, под руководством Коммунистической партии, будут и впредь приближать время полного торжества коммунизма.



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С калмыцкого

ОБЛАЧКО

Дыханьем жизни облачко творилось,
Как марева трепещущая тень.
И неожиданно под ним сокрылось
Твое лицо, сиявшее, как день.

Не это ль облачко печалью жгучей
Все существо мое прошло насквозь,
Такой же тенью падая летучей
На счастье, что несмело родилось?

Иль ветры это облачко пригнали
Из тех времен, что были до меня,
Чтоб омрачить мгновением печали
Начало нашего с тобою дня?

В чью боль, в чей облик облачку такому
Внезапно воплотиться суждено?
И вправе ли я помешать былому
Вторгаться в то, что ныне нам дано?

Я тайн твоих разгадывать не смею,
Но облачко, возникшее вчера,
Пусть превратится волею моею
В твой образ, полный счастья и добра.

Перевел Семен Липкин.

* * *

Когда б к исходу странствия земного
Мне предложили повторить все снова,—
Мой прежний путь сквозь счастье и несчастье
Начать сначала — не даю согласия.
Но и чужой — пускай прекрасный! — жребий
Не нужен мне хотя бы и на небе.

Когда б мое исполнилось желанье,—
Я тотчас же, с последнего дыханья,
По волнам лет в заманчивые дали
Жизнь — жизнь мою! — продлил бы дале, дале...
«Нельзя?..» Тогда пусть кто-то за меня
Продлит ее, не повторив ни дня.

* * *

«Друзья познаются в несчастье».
Но ты, испытав друга,
Не жди от судьбы напасти,
Чтоб горло сдавила туго.
Чтоб в грудь проникла, сжигая...
Проверка есть и другая.

Когда заглянет удача,—
Иной, с досадой не справясь,
Поздравит тебя, чуть не плача...
И щедрость души, и зависть
Увидишь ты — как на блюще...
...И в счастье друзья познаются.

* * *

Жизнь на лицах вяжет узелки
И морщин протягивает нити.
Всем людским стараньям вопреки
В каждом теле — груз былых событий.

И его не денешь никуда.
Тяжесть эта давит и тревожит.
Рад бы человек свои года
Обуздать, стреножить... да не может!

А желанья так бурлят подчас,
Будто двадцать лет тебе, не боле!
И не усмиряет их приказ
Самой властной, самой мудрой воли.

Сын не знает, что отец томим
Тою же мечтой нетерпеливой,
А увидев сына, перед ним
Затаится, замолчит стыдливо.

Дух состарить иль — одно из двух! —
Сделать бы, чтоб тело не старело,—
Потому что вечно юный дух
Мучает слабеющее тело.

Перевела Юлия Нейман.



ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

АТАКА С ХОДУ

Повесть

1

Мы наступали.

Погода выдалась такая, что хуже не придумаешь: весь день шел дождь пополам со снегом. Не подсохшие еще от весеннего развода поля совсем раскисли, мутная вода залила канавы, грязь на дороге перемешалась со снеговой кашей, в которой противно хлюпали наши промокшие ноги. Под вечер к тому же поднялся суматошный напористый ветер. Все время меняя направление, он ошалело крутил над проселком, вперед порой невозможно было взглянуть — промозглая снеговая мокрядь залепляла глаза. Пригнув голову, я видел только, как мелькали заляпанные грязью кирзачи командира роты Ананьева; мокрая плащ-накидка на его спине то и дело угрожающе вздувалась: он шагал во главе колонны, хватаясь рукой за капюшон, накиннутый на самодельную, с матерчатым козырьком фуражку.

На исходе дня рота перешла заболоченную, с чахлым ольшаником низину, грязный, в колдобинах проселок выполз на голый косогор. Ветер тут стал еще неистовее, но под ногами вроде сделалось тверже. Надо было подтянуть роту, и Ананьев, обернувшись назад, полминуты прошел так, лицом к колонне. Он оглядывал строй, но, кажется, не много чего увидел в ненастных, начинавших сгущаться сумерках. Автоматчики к тому же здорово растянулись, и старший лейтенант, морща костистое, с бачками на висках лицо, негромко позвал:

— Старшина Пилипенко!

Командир первого взвода Пилипенко, наверно, не услышал, — он сосредоточенно брел раскисшей дорогой.

— Глухарь старый! — буркнул Ананьев. — Спит, что ли?

Не дожидаясь приказания, я выскочил из колонны и подбежал к старшине. Пилипенко недоуменно поднял немолодое, слегка обрюзгшее лицо, но тут же увидел впереди долговязую фигуру командира роты и все понял. С залоздалой поспешностью старшина подался к своему взводу. Автоматчики устало брели, где кому вздумалось — по обочине, возле широкой, полной талой воды канавы и даже за канавой, краем облепленного снегом поля.

Вполголоса, чтобы не услышал ротный, Пилипенко начал подгонять бойцов. Трое или четверо передних зашевелились (или, может, только сделали вид, что зашевелились), другие же просто оставили без внимания понукание взводного.

Ананьев, разумеется, такого стерпеть не мог и со злой решимостью крикнул:

— А ну подбери сопли! И шире шаг!

Комроты — не взводный, с ним приходилось считаться, автоматчики зашевелились, задние пустились догонять передних, рота заметно оживилась, и строй мало-помалу начал выравниваться.

Пилипенко покорно остановился в некотором отдалении от командира роты. Ананьев, подчеркнута не замечая старшину, все тем же строгим, категоричным голосом бросил в колонну:

— Ванина ко мне!

Команду тут же подхватили, передали дальше, комроты внимательно проследил за этим, придирчиво вглядываясь в измокшие, закутанные палатками тени автоматчиков.

Он ждал командира второго взвода, но вместо него на дороге появилась Пулька — маленькая вертлявая собачонка, которая неделю назад невесть откуда прибилась к роте и которую приютил в своем взводе младший лейтенант Ванин. Ананьев к этому, в общем, отнесся терпимо, будто даже с каким-то снисходительным любопытством, и вот уж несколько дней второй взвод забавлялся этим лохматым, по молодости глупым щенком.

Резво пробежав краем дороги, Пулька вдруг остановилась, взглянула на неподвижную в дождливых сумерках фигуру командира роты и, будто испугавшись чего-то, со всех ног кинулась назад. Боец в длинной палатке, угол которой волочился по грязи, с силой притопнул ногой — снежная слякоть широко плеснула в стороны, Пулька, обиженно взвизгнув, отпрыгнула за канаву и по самый живот провалилась в грязь. Выскочив на противоположной стороне, она встревоженно заметалась, не зная, как выбраться на дорогу.

Бежавший поодаль младший лейтенант Ванин круто повернулся к бойцу в длинной палатке:

— У тебя голова на плечах или котелок невымытый?

— А чего она лает!

— На дурака лает! Лезь теперь — доставай!

Лезть в воду бойцу, разумеется, не хотелось, и он тихонько забирал в сторону, подалее от командира чужого взвода.

Тогда Ванин решительно вошел в воду и взял собачонку на руки.

— Напрасно! Надо бы того пентюха заставить, — сказал командир роты, и как это часто делал, вдруг повернулся и, будто забыв о присутствующих, быстро зашагал по дороге.

На ходу уже нас догнал Ванин с Пулькой, которая в счастливой покорности притихла на его груди, высунув из-под оттопыренной полы телогрейки глупую черную мордочку. Младший лейтенант коротко доложил, но комроты и ему не ответил — из ветреных сумерек впереди появился наш замполит лейтенант Гриневич. Присоединяясь к командирам и шаркая новой, длинноватой для его скромного роста палаткой, он спросил негромким, с хрипотцой голосом:

— Что случилось?

— Да вон балбес один Пульку в воду загнал, — сказал Ванин. Гриневич неожиданно сильным движением палатки стряхнул налипший на плечах снег.

— А вообще — зачем вам собака?

— Как зачем? — не понял Ванин. Замполит, не отвечая ему, продолжал:

— Тоже нашли занятие... Уж хотя бы собака, а то...

— А то щенок шелудивый, — закончил за лейтенанта Ананьев.

Гриневич, ободренный поддержкой комроты, с уверенностью подтвердил:

— Вот именно. На месте командира я бы приказал застрелить, и все.

— Пусть живет! — с мрачной решимостью сказал Ананьев. — Или боишься: нас переживет?

Прежде чем ответить, Гриневич помедлил:

— К нам это не относится. А вот лает на марше вовсе некстати.

— Если на Пилипенковых, то кстати. Командир взвода не командует, так хоть Пулька полагает.

Мне сзади было хорошо видно, как устало бредший Пилипенко поднял голову в каске.

— Усэ вам Пылыпэнко! — сказал старшина. — Шо я буду гнаты кожного? Бачытэ, яка дорога?

— При чем дорога? Командир размазня.

— Командыр...

— Да, командир! — оборвал его Ананьев. — Потому — командовать надо!

Все замолчали. Как всегда в таких случаях, гнев комроты подавлял не только виновного, но и тех, кто был рядом. Казалось, после Пилипенко Ананьев возьмется за следующего, и каждый невольно чувствовал себя этим следующим. Правда, на этот раз Ананьев замолчал. По грязному, оснеженному склону рота выходила на вершину пригорка, ветер тут стал еще сильнее. Крупчатый снег с мелким дождем звучно сек по капюшонам и плечам палаток. Мы быстрым шагом обгоняли колонну.

— Под носом немцы, — после минутной паузы спокойнее сказал комроты. — Подтяните людей! Удвойте наблюдателей по сторонам! Назначьте слухачей! Пилипенко, сменить головной дозор!

Старшина, широко оттопыривая полы палатки, удивленно развел руками:

— Так мои ж от пивдня шлы. Ще его час не выйшав. — Он повернулся к Ванину.

— Что — его! — Ананьев повысил голос. — Я тебе приказываю!

Командир роты злился, хотя причиной его злости вряд ли был Пилипенко. Старший лейтенант нервничал уже с полдня, когда роту автоматчиков выделили из полкового резерва и повернули на фланг, чтобы заткнуть какую-то прореху, образовавшуюся в боевых порядках наступающих. Батальоны двинулись большаком, а мы попали в грязь на проселке, перешли болото, намокли, измучились и вдобавок ко всему лишились нашей единственной повозки, отставшей вместе с полковыми тылами. Правда, ПНШ обещал, как только подойдут тылы, направить подводу за ротой, но, судя по всему, где-то произошла заминка, подводы не было, и перед нами замаячила совсем уж безрадостная перспектива остаться без боеприпасов.

Пилипенко ворчал:

— Кого я назначаю? Попрыстывалы уси.

— А мне наплевать! — объявил Ананьев. — Сам отправляйся, если назначить некого.

— Ну и видправляюсь.

— Только без ну!

Старшина замедлил шаг и оказался со мною рядом. Вид у него был совсем страдальческий, как всегда после стычек с начальством, что, в общем, случалось нередко. Дело в том, что Пилипенко раньше служил хозяйственником в дивизионной АХЧ и только перед наступлением за какую-то провинность был переведен в роту автоматчиков. Здесь его поставили командиром взвода, но взводный из старшины-интенданта получился неважный. Пилипенко был многословен, часто командовал невпопад, а самое главное — совершенно не мог не пререкаться с началь-

ством, когда то, как ему казалось, поступало неправильно или несправедливо.

Как всегда, дав выговориться командиру роты, в спор вступил его заместитель.

— Как это вы рассуждаете, старшина,— оборачиваясь, сказал Гриневич.— У вас же взвод.

— Взвод, взвод! Який цэ взвод: двадцать человек, та и ти нога за нагу чыпляются.

— Будто одни ваши чепляются? — сказал Ванин.

— Так у тэбэ сколько? Тридцать два? А у мэнэ двадцать три.

— Мои ночь в охранении были.

— А мои копалы.

Вообще слушать это было не очень приятно, но спорили взводные не впервые, и Ананьев относился к их ссорам не строго. Правда, он почти всегда был на стороне Ванина, который и сам мог постоять за себя, только иногда у младшего лейтенанта не хватало на это терпения. Пилипенко же спорить мог бесконечно.

— Ладно! — ни к кому не обращаясь, сказал Ванин.— На этот раз я сменю. Только надо бы и совесть иметь.

Пилипенко опять завелся:

— А шчо я, для сэбэ выгадую! Ви гляньтэ, яки у мэнэ ваяки. Та й бисова дорога...

Пригибая голову от ветра, Гриневич на ходу снова оглянулся на старшину.

— Ну и что же — боевая обстановка! А в присяге как сказано: стойко переносить все тяготы и лишения военной жизни.

— Та чулы!

— От и плохо, что сами чулы, а бойцам не внушаете.

На это Пилипенко не ответил, мы остановились. Командир роты с трофейной сигаретой в зубах начал шарить по своим многочисленным карманам — искал зажигалку. Ветер осатанело рвал полы его накидки, под которой у старшего лейтенанта была коротковатая шинель, подпоясанная обвисшим комсоставским ремнем с трофейным «вальтером» в кобуре. Другого снаряжения — портупей, сумок, компасов — Ананьев не имел и ходил во всем красноармейском, выделяясь среди бойцов разве что погонами с замызганным просветом (звездочек, разумеется, на них не водилось) да своим долговязым ростом.

— Что мораль читать, — раскурив сигарету, сухо сказал комроты.— Сам не дурак. Отставаки есть?

— Нэмае, — с некоторой заминкой ответил Пилипенко. Из под капюшона накидки Ананьев испытующе покосился на взводного.

— Проверял?

— Ну, — настороженно ответил старшина, и всем стало ясно, что не проверял. Командир роты быстрым взглядом окинул бойцов — устало хлюпая по лужам, они проходили мимо.

— Где Чумак?

— Тут був, сдается.

— Був. А теперь где?

Пилипенко страдальчески хмурился, подергивая под палаткой плечами, и мне было жаль старшину. Он был самый старый в роте из всех командиров и держал себя даже с некоторым достоинством, которого, впрочем, не признавал Ананьев.

Я вглядывался в фигуры его автоматчиков, однако, как на беду, Чумака нигде не было.

— Вот так и получается, ядрена вошь! Найти и доложить! — приказал комроты и выругался.

Пилипенко, молча повернувшись, послушно зашлепал по снеговой слякоти. Он отошел уже шагов на пятнадцать, когда Ананьев неожиданно смягчился:

— Отставить! Веди взвод! — и легонько подтолкнул меня в спину. — Васюков — бегом! И заодно глянь повозку.

2

Разбрызгивая в стороны снежные лужи, я бежал по дороге. Остерегаться мокряди уже не имело смысла — и так на мне все было мокрым, не спасала и худенькая немецкая палатка-треуголка. Навстречу устало брели автоматчики — знакомые, что уцелели в зимних боях, и новички, за неделю до наступления прибывшие в роту. Я знал далеко не каждого — меня же тут знали все. Как-никак я был на виду — всегда с командиром роты, в колонне, на привале или в цепи. При Ананьеве они, конечно, вели себя сдержаннее, а теперь, завидев меня одного, дали волю своему любопытству.

— Что, Васюков, немцы?

— Куда бежишь? Может, ночуем, да?

— Ординарец, ком сюда — перекурим!

Я никому не отвечал: на бегу скользя взглядом по их нестройным рядам, я надеялся увидеть Чумака. Но его нигде не было, и я мчался все дальше по склону пригорка вниз.

Ординарцем к Ананьеву я попал полгода назад, в тот самый день, когда прибыл в роту. Ананьев тогда прошелся перед строем молчаливых, неуклюжих, в необмятых шинелях новичков и, остановившись возле меня, приказал: «Пойдешь ординарцем. Понял?» — «Понял», — сказал я, хотя в то время понял не много. Со временем, однако, приучился, сложного в этой должности оказалось не много. Иногда было беспокойно, иногда страшно, особенно под огнем, когда все лежали, втиснувшись в свои ячейки, а Ананьев посылал меня в какой-нибудь взвод, или с донесением к командиру батальона, или просто посмотреть, кто занимает лесок, или позвать старшину. Правда, комроты и сам не очень берегся и бежал не меньше меня, а часто и вместе со мной.

Чумака я тоже искал не впервые — этот Чумака был просто наказанием нашим. Из-за него Пилипенко почти ежедневно получал нагоняй от начальства — то он потеряется, то станет не в свой взвод при построении, то не успеет вовремя пообедать, потому что не имеет ложки, то под огнем вылезет на самое убойное место — ползи тогда, сгоняй его оттуда в укрытие. На марше же он отставал, наверное, уже раз десять, не меньше.

Я вглядывался в тусклые, намокшие, облепленные снегом фигуры автоматчиков, на дороге их становилось все меньше и наконец не осталось ни одного.

Я остановился, послушал, собираясь уже догонять колонну, как поодаль слышал шаги. Действительно, через минуту из сумерек вышли двое: Чумака, который, подоткнув под ремень полы шинели, едва тащился по грязи, и замыкающий сержант Цветков. Кажется, Чумака и ему уже основательно надоело, потому что Цветков, не скрывая своего раздражения, ворчливо говорил:

— Тебе трудно, да? Силы не хватает? А мне вот легко тащиться с тобой?

Я подошел ближе, и Цветков, узнав меня, заметно обрадовался:

— Ты не за этим?

— А за кем же!

— Надоело толкать. Прямо безногий! — пожаловался сержант.

Я его, конечно, понимал, но таковы уж были обязанности замыкающего, чтобы подталкивать тех, кто отставал. Обычно этим занимался старшина, который теперь где-то пропал вместе с повозкой.

— Что, отстал?

— А черт его знает! Отстал или притворяется.

— Так что же делать?

И тут, будто впервые поняв всю затруднительность нашего положения, Чумак обернулся:

— Пусть бы вы шли. Я уж сам как-нибудь.

— Ну да! — сказал Цветков. — Мы пойдем, а ты в кусты? Знаем таких.

— Ей-богу, нет. Я потихонечку. Мне бы только водички глотнуть. Нету во фляжке, га?

— Нету, — сказал я.

Чумак с недоверием оглядел меня — низенький, кривоногий, в обвисшей мокрой шинелке, с тощим зещмешком на спине — и уже совсем жалобно попросил:

— А может, у товарища сержанта есть? Дай, будь ласков.

— Это не вода, — сказал Цветков. — Это водка.

Чумак смолчал, с заметным усилием вытаскивая из грязи ноги и по-утиному переваливаясь с боку на бок. И вдруг с неожиданной для него решительностью сказал:

— А дай водки!

— Еще что надумаешь?

Цветков широко шагнул через колдобину, блеснув из-под палатки комсоставской пряжкой, которую он аккуратно каждый день натирал фланелью. Так же ежедневно он находил возможность подшить свежий подворотничок, надраить сапоги. И вообще своим внешним видом сержант напоминал скорее какого-нибудь расторопного штабного писаря, чем санинструктора роты автоматчиков, которым был.

Я на минуту смутился. Конечно, было жаль Чумака, но не было и уверенности, что водка пойдет ему на пользу.

— Ладно, — сказал я примирительно. — Дай. Может, поможет.

— Что дай? Моя это разве? Старшины фляга, — с обидой проговорил Цветков.

— Обойдется твой старшина. Не последняя, наверно.

— А может, и последняя. Когда уже ее выдавали? В субботу.

— Однако ж сберег. Так поделись!

Цветков надулся и замолчал.

Вот зануда, подумал я. Для старшины или командира роты он достал бы из-под земли, а бедолаге Чумаку жалел пару глотков.

Наткнувшись в темени на длинную, полную снеговой каши лужу, мы разошлись по обе ее стороны, и когда снова сошлись, Цветков вдруг отстегнул трофейную, обшитую войлоком флягу.

— На. Только глоток, не больше.

— Не, не...

Чумак остановился, слегка запрокинул голову — водка тихонько булькнула дважды, и Цветков тут же ухватился за флягу. Но прежде, чем он успел ее выхватить, булькнуло еще раз.

— Сказал же: глоток! — закричал санинструктор. — Дорвался!..

Я молчал: что уж там один только глоток! И Чумак, наверно, заметил это мое молчаливое заступничество.

— От спасибочко, — тихо сказал он, вытирая рукой подбородок и как бы не замечая Цветкова. — Спасибочко тебе, товарищ ординарец.

— А мне за что? — сказал я. — Его благодари.

Чумак промолчал. Цветков начал пристегивать флягу да что-то завозился с застежками на ремне, и мы опять остановились. Чумак повернулся ко мне:

— У тебя кирзовки, да?

— Кирзовки. А что? — любопытствовал я. Прежде чем объяснить, боец нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Так это... У меня вот, сапоги. Немецкие, правда. В случае чего, так это... Пусть тебе будут.

Я взглянул на его заляпанные грязью трофейные солдатские сапоги с низенькими голенищами и еще не совсем понял смысл его слов, как Цветков иронически хмыкнул:

— Хохмач! Будто на фронте угадаешь! Вот завтра как врежет, так оба вверх копытами.

— Так я говорю...

— Да, ты уж скажешь! — оборвал его санинструктор. — Молчи уж.

— Ладно. Посмотрим. Давай догонять, — сказал я.

Мы быстро пошли по дороге. Цветкову я не возражал: вообще-то он был прав. Каждый раз, однако, как только заходил о том разговор, делалось не по себе. Кто раньше, а кто позже — не угадаешь, но вряд ли стоит подтрунивать над этим дядькой, который по простоте душевной сделал попытку совершить нечто доброе, конечно на свой манер и в пределах своей солдатской возможности.

Чумак зашевелился вроде живой. И, будто оправдываясь, на ходу говорил:

— Нет, я ничего... Если что. говорю. Хорошие же сапоги...

3

Только он сказал это, как небо над пригорком огненно вспыхнуло. На несколько секунд в воздухе замельтешили рои снежинок, вспышка, широко разгораясь, пошла вниз, неверный, мерцающий отсвет ее лег на вершину холма, погорел немного, потом как-то вдруг потускнел и погас.

— Ого! — сказал я, сразу поняв, что это для нас значит.

— Напоролись! — упавшим голосом подтвердил Цветков.

Ракета была не очень чтоб близкой, при этом ненастье вряд ли она осветила колонну, но все же немцы что-то могли заметить. Значит, по-года надо ждать выстрелов. Обычно в таких случаях со стрельбой кончалась гнетущая неизвестность и начиналась изматывавшая огневая борьба с противником. В общем, на войне все это было делом обыденным, хотя и каждый раз новым. На этот раз, однако, стрельба не начиналась, и, наверно, потому Ананьев не останавливал роту, которую мы вскоре и догнали.

Минут через пять в том же месте засветило снова — на светловатом мерцающем фоне вырисовалось несколько теней автоматчиков, что брели по дороге. Ближе к голове колонны они, видимо, сами, не дожидаясь команды, останавливались и в молчаливой тревоге поглядывали вперед, где собрались командиры.

Размахивая мокрыми концами своей треуголки, я пробежал в голову колонны и перешел на шаг. Ананьев, Гриневич, командиры взводов Ванин и Пилипенко настороженно всматривались в моросящий дождем полумрак.

— Да, не дозор это, — обеспокоенно сказал Ананьев.

— Дозор был ближе, — подтвердил Гриневич.

Они помолчали, прислушиваясь, и Ананьев с досадой сказал:

— Какого же хрена тогда он молчит? Может, сигналы проворонили?

— Этого не могло быть. За сигналами я сам следил,— уверенно объявил Ванин.

— Разгильдяи! — проворчал командир роты.— Сидят и молчат! А ну бери человека и дуй сам! — приказал он Ванину. Тот живо повернулся к строю:

— Кривошеев!

— Я.

— За мной!

Слегка пригнувшись, они побежали дорогой и скоро скрылись в сырых, ненастных сумерках.

— Пилипенко, наблюдай! В случае чего — душу вытрясу. Понял?— угрожающе прошептал Ананьев.

— Поняв. Шо тут нэ понять,— обиженно отозвался старшина.— Тильки ни бисова батька нэ выдна.

— Без разговоров мне!

Некоторое время все молчали, напрягая слух. Смотреть против ветра было не очень приятно: мокрым снегом залепляло лицо, все время хотелось отвернуться, спрятаться за спину товарища. Набрякшие влагой палатки, как жестяные, гремели в темноте. В мокрых сапогах начали стынуть ноги. Вдруг в той стороне, куда шла дорога, опять загорелась ракета, правда на этот раз несколько дальше прежних, и Ананьев вполголоса выругался.

— А ну пошли!

Он стремительно шагнул в темень, за ним — Гриневич, несколько помешкав, я. На ходу уже я снял из-за спины автомат и накинул его на плечо поверх палатки. Пилипенко остался с ротой.

Быстрым шагом втроем мы шли по середине дороги. Широкий косогор полого спускался вниз; растекаясь в размытых колеях, бежала вода. Чем дальше мы отходили от роты, тем тревожнее становилось на душе, ощущение одиночества все плотнее охватывало нас в этом ветряном поле. Я уже подумал, что надо бы остановиться, что совершенно нелепо так рисковать командирами, как навстречу из сумерек как-то бесшумно и неожиданно появился боец в густо облепленном снегом бушлате. Мы узнали в нем автоматчика Шапу. Кажется, он бежал из дозора и от усталости едва переводил дыхание.

Ананьев остановился.

— Ну?

— Немцы, товарищ старший лейтенант!

— Новости! Где Ванин?

— Там,— густо дыша паром, Шапа показал в темень.— Наблюдает. Немцы за лошинкой на бугре копают.

— Что копают?

— А черт их знает. Оборону, видно.

— На бугре?

— Ну да.

— А село далеко?

— Какое село?

— Ну это, как его...

— Рудаки,— подсказал Гриневич.

— Нет, села не видели. Вот тут под горой речка. Но не очень чтоб. Перейти можно. А дальше бугор, а на бугре копают,— негромко говорил Шапа, заметно шепелявя оттого, что спереди у него не хватало одного зуба.

Мы поглядели в ветреную темень, послушали. Всюду было тихо — ни стрельбы, ни ракет, лишь по мокрым палаткам мелко стучал дождь

да рядом слышалось шумное дыхание Шапы. Тогда Ананьев откуда-то из-под накидки вытащил карту.

— А ну заслони.

Присев на корточки спиной к ложине, он натянул на себя полы накидки. К нему склонился Гриневич. Поверх их голов я накинул еще полу своей палатки, и Ананьев блеснул там слабым светом фонарика. Сверху в щелку возле плеча ротного мне видны были их руки и уголок трофейной карты, отпечатанной по немецкому обычаю одной черной краской. Пыхтя от неловкости, командир роты начал разбираться в ее запутанных знаках:

— Кажись, тут дорога? Ага?

— Какая дорога! Это горизонталь,— глуховато поправил его замполит.— Вот, смотрите — Рудаки. А дальше на склоне должна быть дорога. Вот она.

— Да? А это что? Ну-ка прочти. А то язык сломаешь...

— Это река. Река Светлица — так, кажется. До нее мы еще не дошли.

— Так. Значит, мы вроде тут, да?

— Вроде так. Холмик, дорога. Ну, а мы приблизительно вот тут. Ананьев повел светлым пятаком фонарика дальше, большим пальцем разгладил складку бумаги.

— Тогда получается, напротив высота 117,0. Так?

— Вроде так.

— Хорош бугорок, ядрена вошь! Гэ! — вдруг обрадованно воскликнул ротный.— Да за ним же станция?

— Да, станция,— подтвердил замполит.

Действительно, на изгибе карты пробежала черная жирная линия железной дороги с кубиком станции на краю, у самого обреза листа. От нее до высоты было совсем близко, и я подумал, что этой станции нам не миновать. Тут уж как ни крути, а к станции выйдешь, и начнется такое, что не дай бог. Совсем недавно еще, в феврале, одна такая станция стояла полку за две недели боев восьми братских могил, в самой малой из которых закопали тридцать убитых.

У Ананьева, однако, это открытие вызвало совершенно иную реакцию:

— Вот оно что! Сыромятников утром: станция, станция. А я никак в толк не возьму, где эта станция,— радуясь своему открытию, сказал он и чуть тише добавил: — Вот бы захватить!

— Еще чего! — сухо ответил Гриневич.

Старший лейтенант выключил фонарик. Оба встали. Вдруг замполит встревоженно вскинул голову — послышалось, будто кто-то бежал по дороге снизу. Ананьев машинально сунул карту за пазуху и сделал три шага по дороге. Я снял с плеча автомат. Минуту погодя совсем рядом из темноты выскользнула фигура автоматчика. Увидев своих, он с бега перешел на шаг.

— Кривошеев, ты? — негромко окликнул Ананьев.

Кривошеев еще издали взволнованным шепотом заговорил:

— Товарищ старший лейтенант, надо ударить! Копают на бугорке, охранения с этой стороны никакого. Мы их голыми руками, как цыпленков, возьмем. Младший лейтенант говорит: только быстрее!

Он выпалил все это, оживленно тыча в темень рукой, с таким счастливым видом, будто то, что они там увидели, было для всех радостью. И, как ни удивительно, это его чувство риска и радостного воодушевления сразу передалось командиру роты — тот сразу подобрался, выпрямился и круто обернулся к замполиту:

— Ударим?

— Может, сначала разведать? — не сразу и без особого подъема сказал Гриневич, осторожно поглядывая в ночь.

— Тоже скажешь: разведать! Всполошишь только. А так пока тихо.

— Ну! Пока охранения не выставили,— подхватил Кривошеев.— А ракеты ни черта не светят — снег с дождем забивают. Мы подползли к самой траншее, видно, как землю выкидывают,— дрожащим от возбуждения голосом твердил дозорный.

Ананьев, казалось, уже не слушал — его самого охватило явное нетерпение: как всегда, предчувствие боевой удачи вытесняло все другие соображения.

Гриневич, однако, по-прежнему оставался сдержанным и, втянув голову в плечи, неподвижно стоял в двух шагах от Ананьева. Будто вслушиваясь в беспорядочные порывы ветра, лейтенант сказал:

— А соседи? Третий батальон вон где. И со вторым разрыв на два километра.

— Подтянутся ночью твои соседи! Никуда не денутся.

— Допустим, подтянутся. А патронов у нас хватит? Положим, собьем, а удержим? — поеживаясь, спросил Гриневич.

Действительно, патронов могло не хватить, их у нас было маловато, и это обстоятельство со всей очевидностью разрушало такой соблазнительный замысел ротного. Ананьев на минуту замер, что-то про себя прикинул,— показалось, сейчас скамандует развертывать взводы в оборону. И на самом деле он было повернулся к тылу, послушал, снова взглянул в сторону невидимой высоты. И вдруг с внезапной решимостью взмахнул кулаком:

— А — была не была! Рубанем — посмотрим! Васюков, дуй за ротой!

Гриневич молчал: возражать в таких случаях было бесполезно.

4

Спустя десять минут я привел роту.

Полсотня автоматчиков сбежала с пригорка. По обочине, радостно обгоняя строй, мчалась Пулька, пока кто-то не выскочил из колонны и не сгреб собачонку, чтобы лишний раз не попадалась на глаза начальству. Не успели мы поравняться с командирами, как Ананьев скамандовал:

— За мной, марш!

То шагом, то бегом рота быстро двигалась вниз. Теперь она подтянулась, собралась в одно целое и снова, будто не было ни боев, ни потерь, ни всяческих мелких и больших неувязок, стала чутким, согласованным механизмом, подвластным единой воле командира. Она была лучшей ротой в полку, и командир ее с замполитом были лучшими среди других. Перед наступлением на митинге сам генерал хвалил нашу роту, восемнадцать автоматчиков из которой получили тогда награды, в том числе и я — медаль «За отвагу». Как и многие, я очень гордился своей такой удачливой военной судьбой. Впрочем, я всегда был доволен и почти счастлив оттого, что довелось попасть в такое подразделение и к такому командиру, как старший лейтенант Ананьев. Иногда, правда, это чувство слабело, притупляясь, но в такие вот минуты всеобщего воодушевления оно становилось особенно сильным. Никто не спрашивал, что случилось, куда мы движемся: впереди бежали командиры, и мы готовы были на все, лишь бы в конце была удача.

Ананьев с Гриневичем и двумя дозорными бежали во главе роты. Щапа молчал, а Кривошеев твердил возбужденным шепотом:

— Мы к ним сбоку зайдем. Они вправо развернулись, а мы с фланга.

Ей-богу! Так в землю зарылись, ни черта не видят. Турнем, что и не пикнут.

— Ладно, — устало дыша, оборвал его Ананьев. — Молчи пока.

На бегу оглядываясь, он отдавал распоряжения:

— За речкой — в цепь! Комиссар — с Пилипенкой, я — с Ваниным. И бегом!

— Ясно!

Сдерживая дыхание, автоматчики сбежали в низинку. Дождь вроде перестал, снежинки наоборот — посыпались гуще. Сумерки стали как будто светлее: по обе стороны темной от грязи дороги раскинулось серое, с мокрыми пятнами поле. Ананьев все время поглядывал по сторонам и вперед, да и Гриневич тоже — понятно, их тревожило: а вдруг загорится ракета? Нам бы еще минут десять — пятнадцать, главное, чтобы перебраться через речушку, которая уже шумела рядом с дорожной насыпью.

Погодя мы увидели перед собой и мостик. Впрочем, это был не мостик, а то, что от него осталось: высокогато над водой лежали три мокрые балки-бревна, по которым надо было перейти роте. На той стороне откуда-то появились двое: один в плащ-палатке, другой в знакомой, опоясанной ремнями телогрейке — в нем нетрудно было узнать Ванина. Младший лейтенант ловко перебежал по бревну на эту сторону и присоединился к Ананьеву.

— Копают. Давайте быстрей!

На минуту они остановились, вполголоса обменялись несколькими фразами.

— Пойдешь направляющим! — Он подтолкнул Ванина и сам, не останавливаясь, довольно уверенно перешел на ту сторону. За ним перебежал Кривошеев, потом, подавив в себе страх, перебрался я. Гриневич сошел с насыпи и начал пробовать сапогом берег, чтобы перейти вброд. Ананьев стоял у мостка и нетерпеливыми жестами подгонял бойцов. Автоматчики по одному, не очень, правда, решительно, перебежали по двум бревнам; третье было потоньше и оказалось не совсем для того удобным. Мы с Ваниным страховали ребят в конце их не слишком безопасной пробежки. Некоторые лезли в воду и вслед за Гриневичем переходили речушку вброд.

— Быстро! Быстро! — громким шепотом повторял Ананьев. — И в цепь!

Бойцы, на ходу снимая автоматы, разбежались вширь. Цепь привычно выстраивалась на сумеречном склоне. На том берегу оставались уже немногие, и мы, не дожидаясь последних, бросились от моста догонять роту.

Дорога свернула куда-то вправо, под ногами вдруг зачавкал раскисший, вспаханный с осени участок, в котором по щиколотку завязли наши сапоги. Кто-то негромко выругался; Ванин круто взял в сторону, увлекая за собой автоматчиков, конец цепи оттого запутался, несколько человек сбилось в кучу, и Ананьев отчаянно замахал руками, рассредоточивая бойцов. Его, однако, не очень понимали в этой промозглой темноте. Тогда Ванин немного растянул взвод вправо и бегом вернулся к ротному.

Мне с ними двумя было почти спокойно, казалось, пока они тут, ничего плохого не случится. К тому же я втайне любовался Ваниным, его ловкостью и даже некоторой лихостью, в глубине души сам мечтал стать таким же: ведь он был ненамного старше меня.

На склоне было чуть светлее, под ногами тихо шуршала полегшая прошлогодняя стерня; высохшие стебли бурьяна и репейника цеплялись за полы шинелей. Постепенно склон становился все круче, чувствува-

лось, недалеко была вершина, но сумерки все еще скрывали ее. Напористый ветер по-прежнему сыпал на землю снежной крупой.

Наконец Ванин, бежавший впереди, взял наизготовку автомат, и я услышал в тишине, как щелкнул его затвор, поставленный на боевой взвод. Ананьев выдернул из-под накидки «вальтер». Я также поудобнее перехватил ППШ, подумав: «Скоро начнется».

Наверно, уже вся рота разбежалась в неровную, почти невидимую в ночи, беспорядочную цепь. Один ее фланг бесследно пропадал в сумраке, а на другом автоматчики опять стеснились в плотную, неудобную для атаки шеренгу. Склон между тем понемногу выразнивался, бежать стало легче, но впереди в сером, оснеженном полумраке угадывалась новая крутизна и там же что-то темнело — кустарник или опять пахота. Возможно, однако, там были немцы. Чтобы не оказаться в такой момент за спиной у Ананьева, я слегка обежал его и пошел почти рядом. Он резко повернул в мою сторону:

— Гранаты есть?

В карманах у меня было две «лимонки», которые я берег на какой-нибудь крайний случай. Теперь пришлось достать одну, Ананьев тут же выхватил ее из моих рук.

В это время впереди донесся чужой тревожащий звук. Похоже, будто кто-то стучал деревом о дерево — может, насаживал на черенок лопату или счищал с нее грязь. Ананьев на секунду остановился, задержал дыхание, но тут же опять устало, широко зашагал по снежной траве.

Так мы добежали до самого крутого места и, хватаясь за мокрый колючий кустарник, боком, чтоб не поскользнуться, неловко полезли в гору. Кто-то все же не удержался, упал, но тут же поднялся. Ванин, тонкий и подтянутый, несколько раз взмахнув руками, первым взлетел на пригорок. Мы с Ананьевым немного замешкались и отстали от взводного шагов на десять. Я старался изо всех сил, однако едва поспевал за ротным: в бою тот тоже проявлял удивительную для его нескладной, долговязой фигуры ловкость.

На самой бровке обрыва я, к несчастью, поскользнулся и упал. Хорошо еще автомат был на шее и не загремел в ночи, каска также удержалась на голове, а то бы не миновать беды. Ананьев уже выскочил на ровное место, я, поправляя каску, высунулся из-за обрыва и тут же присел в испуге.

Впереди не более чем в двадцати метрах была траншея.

Видимо, мы наткнулись на самый ее фланговый конец. Раскопанная земля резко чернела в серовато-заснеженном поле. Судя по невысокому, широко раскиданному брустверу, траншея была еще мелкая, только начатая. Черная ее извилина бросалась в глаза с первого же взгляда, и я сразу заметил, что в ней шевельнулось что-то живое. В следующее мгновение стало понятно, что это немец и что он уже увидел нас, но не меня и, пожалуй, не Ананьева, а кого-то еще, кто оказался там, рядом с траншеей. Немец, полусогнутый, с лопатой в руках, испуганно вскрикнул и уронил лопату. Тотчас к нему через бруствер пружинисто метнулся кто-то из наших (я не сразу понял, что это Ванин), коротким ударом опрокинул немца, и тот беззвучно исчез в траншее. Ванин тоже пропал, несколько мучительно долгих секунд там никого не было, потом за бруствером проскользнула и скрылась его едва различимая тень. Мы с Ананьевым широкими прыжками кинулись к траншее.

Мы не успели добежать до нее каких-нибудь пяти метров, как невдалеке хлестко щелкнуло — и сумеречное поднебесье над полем прорезал огненный след осветительной ракеты. Ракета распустилась несколько в стороне от высоты, небо вокруг широко загорелось холодным, лихо-

радочно мельтешащим светом. Слепленные ее неестественно-химической яркостью, мы все же успели заметить, как в изогнутом зеве траншеи в самых различных позах замерли немцы. И тогда где-то рядом с пронзительным треском ударил автомат.

Стараясь не потерять командира роты из виду, я вслед за ним ринулся в траншею. Впотьмах ноги наткнулись на что-то устрашающе мягкое, с брезгливым испугом я отпрянул в сторону, едва не наскочив на командира роты. Ананьев выстрелил, присел, потом сильно взмахнул правой рукой — бросил гранату. Не дожидаясь взрыва, я бросился вперед, но Ананьев сильным рывком за палатку осадил меня вниз, в грязную темноту траншеи. Где-то близко, у самой головы, воздух пропорола горячая очередь; тотчас неподалеку оглушительно грохнуло — земля, пыль и тротильный смрад горячей волной ударили в лицо.

— Вперед! — крикнул Ананьев. — Наша берет! Гранатами огонь!

Повсюду на высоте в суматошной трескотне зашлись автоматы, хотя кто и откуда стрелял — было не понять. Грохнули один, два разом, потом три и четыре взрыва — наверно, наши начали швырять гранаты. Ананьев привстал в мелковатой, по грудь траншее, оглянулся и опять прокричал:

— Вперед! Скорей! Наша бере-от!!!

Натыкаясь на повороты траншеи, задевая плечами стенки, мы несколько десятков метров бежали ее ходами. Кто-то бежал впереди, но не понять было — свои или немцы. Но вот совсем рядом в траншее выстрелили — из мрака почти в упор остро блеснуло огненной вспышкой. Ананьев вдруг будто споткнулся и исчез, я даже испугался за него. К счастью, Ананьев тут же вскочил, и как раз вовремя. Что-то большое метнулось неподалеку, ротный впопыхах ткнул туда пистолетом. Выстрела его, однако, я не услышал — сам дрожащими руками вскинул над бруствером автомат и пустил вдогонку торопливую, пожалуй, слишком длинную очередь. Затем еще кто-то выскочил из траншеи в поле, кто-то другой на бегу перемахнул бруствер. Тут и там вспыхивали автоматные очереди. На высоте всю шел бой, но было похоже — немцы удирали.

Тогда мы прекратили свой слепой бег в траншее и вскочили коленями на мягкие комья бруствера. Поднимаясь, я успел заметить, как вдоль траншеи за нами, пригнувшись, бежали двое; один вскинул автомат, и на его дульном срезе запульсировал огонек очереди. Пахнув в лицо вонючим теплом, очередь визгливо прошла мимо нас, туда, где от траншеи наискось бежал кто-то в длиннополой расстегнутой шинели. Ко мне он был ближе. Вскочив, я торопливо выстрелил, тот упал на колени, из-под его рук огненно сверкнуло в нашу сторону. Ананьев вскинул пистолет, однако выстрела не было: наверно, что-то случилось с его «вальтером». Командир роты угрожающе крикнул: «Васюков, бей!», а сам, нагнувшись, обеими руками схватился за пистолет. Приостановившись, я снова тыркнул коротенькой очередью, но, видимо, мимо: немец уклонился, вскочил и стремительно пустился наутек. Ананьев люто выругался. Сквозь треск очередей я отлично услышал его энергичный мат, только у меня также заело — выстрелов не было.

Я клял себя за непростительный промах, но затвор только беспомощно клацал — наверно, опустел диск (и надо же случиться такому в самый неподходящий момент). Я выхватил его из автомата и сунул за пазуху. Но не успел я перезарядить, как Ананьев ринулся вперед, прямо на немца. Тогда и я вскочил. На бегу, одной рукой стараясь расстегнуть сумку с магазинами, я не спускал глаз с ротного. Тот что-то кричал. Немец еще раз грохнул торопливым винтовочным выстрелом, однако опять промазал и, пригнувшись, бросился в темень. Винтовка почему-то оста-

лась на земле, Ананьев тут же подхватил ее и, широко размахнувшись, швырнул убежавшему под ноги. Немец споткнулся, едва не упал, но удержался на ногах и обернулся. Наверно, увидев сзади только одного преследователя, он вдруг сделал резкий поворот навстречу, чтобы броситься на командира роты.

Но тут уже подоспел я.

На ощупь затолкав в автомат новый диск, я почти в упор дал по нему длинную огненную очередь. Немец неестественно выгнулся и разом осел, я побежал дальше, не сразу поняв, что поспешил: мы зарвались. Впереди были немцы, поблизости в потемках мелькнуло несколько теней, и тут же в трех шагах впереди что-то, стремительно метнувшись, ударило оземь. Я не увидел, что это было, я почувствовал только удар, в лицо плеснуло мокрым снегом и грязью, и тогда я смекнул: граната! Она подскочила и в одно мгновение оказалась где-то у меня под ногами. С необыкновенной отчетливостью, какая возможна только за секунду до гибели, я понял: конец! Испуг толкнул меня от этого места, да так сильно, что ноги не выдержали этого спасительного толчка, и я через голову, каким-то непостижимым чертовым колесом покатился по мокрой земле.

Взрыва я почему-то не услышал — почувствовал только, как ошалею рвануло палатку и, словно зубилом, звонко звякнуло о каску. Одно ухо враз заложило, будто в него вогнали тугую плотную пробку, щека одеревенела, на какое-то время я перестал ощущать себя и, когда подбежал Ананьев, никак не мог взять в толк, что случилось и что ему от меня надо. Пока я судорожно корчился на земле, командир роты тормозил меня за рукав, затем что-то прокричал в лицо — я почувствовал только его горячее дыхание, — тут же сам попытался подняться на колени и застонал от жгучей боли в плече.

Ананьев энергично замахал рукой. И вдруг, будто вынырнув из-под воды, я услышал его непонятно чужой и очень далекий голос:

— Стой! Рота, стой! Назад! В траншею, назад!

Тогда, очнувшись от горячего удушья, я понял, что жив, и начал медленно подниматься с земли. Плечо горело и бесчувственно-тупо деревенело, рука обливалась чем-то горячим, из рукава часто закапало — на сапоги и в грязный, истоптанный снег...

5

Я слышал, как командир роты кого-то позвал, кто-то подбежал ко мне, подобрал оброненный на снег автомат, поправил на голове каску. Приходя в себя, я сделал два шага. Ноги мои были невредимы, рану в плече я зажимал здоровой рукой, но из рукава капало — с каждым шагом все больше.

Боец подхватил меня под мышку здоровой руки.

— Постой, Васюков. Перевязать надо.

Слышал я, кажется, одним ухом и по голосу узнал его — это был Лутохин из взвода Пилипенко. Ананьев исчез — может, со взводом Ванина побежал дальше, на другой склон высоты. Часть роты, однако, осела в траншее: я слышал недалекие голоса и пошел на них. Лутохин, подерживая меня, шел рядом.

Мы соскочили в грязную траншею. Здесь уже хозяйничали автоматчики из взвода Пилипенко. Трое возились в темноте с трупом немца, который никак не могли поднять наверх. Один из них выбрался из траншеи, и с его помощью бойцы втащили убитого на край бруствера. Тащить его дальше у них не было охоты.

— Пусть валяется. Все от пуль укрытнее будет.

Боец присел над убитым и начал шарить по его карманам. Двое внизу брезгливо вытерли о шинели ладони и посторонились, пропуская нас. Кто-то, узнав меня, сочувственно окликнул:

— Что, Васюков, накололи?

— Накололи,— вместо меня ответил Лутохин.— Не видели, где Цветков?

— А кто его знает... Под горой, верно.

— Сзади, конечно. Чего ему тут быть?

Лутохин заботливо снял с меня остатки изодранной взрывом палатки, как-то освободил плечо от лямок вещевого мешка, также иссеченного осколками. Свежевырытым ходом сообщения я прошел, пошатываясь, еще несколько шагов и на повороте столкнулся со старшиной Пилипенко. Шурша о стены волглой палаткой и отдавая команды, тот деловито обходил траншею. Завидев меня, старшина закричал:

— Ты куда? А ну геть на место! — и спохватился: — Цэ хто?

— Это я. Где Цветков, не видели?

— Васюков? — удивился старшина.— А дэ ж командир роты?

— Там,— я кивнул в сторону, где все еще слышались очереди.

— Тэбэ поранило? Ага? А цэ хто? Лутохин? Вас тэ ж поранило?

— Он сопровождает,— сказал я.

— Ныяких сопроводжачив! — отрезал Пилипенко.— По уставу заборонэно. Шагом марш, Лутохин! Доложить командиру отделения!

Перед командиром роты он почти мякиш, подумал я, а тут такая непреклонность.

Пилипенко забрал у бойца мой автомат, и тот уныло поволокся по траншее к своему отделению.

— Пишлы! Цветков блиндаж освоюе,— теплее сказал Пилипенко.— Такой гарный блиндаж...

Старшина повернулся и, по-прежнему обдирая палаткой стенки траншеи, узковатой для его широкого тела, напористо двинулся куда-то во мрак.

Мы прошли, может, метров двести. Траншея, виляя из стороны в сторону, тянулась по всей высоте — от склона до склона. Местами она была совсем еще мелкой — до пояса, а кое-где даже не выше колен, на дне ее и на бруствере валялись брошенные немцами лопаты, втоптаные в грязь палатки. Автоматчики из взвода Пилипенко поспешно долбили тыльную стенку — врезали ячейки для стрельбы. Немецкие, направленные в противоположную сторону, теперь были не нужны. Пилипенко начальнически прикрикивал:

— Швыдэнька, парубки! Ударять мыны — траншэя мамочкой будэ.

Он уже готовился к обороне. Конечно, немцы могли ударить, однако на том фланге, у Ванина, еще шла перестрелка — может, стоило бы помочь ему? Правда, командир роты, кажется, о том не приказывал, а Пилипенко без приказа не имел обыкновения слишком торопиться вперед.

Цветкова мы нашли у входа в блиндаж, который он занавешивал палаткой. Пилипенко окликнул:

— Цветков!

— Да.

— Ось паранены.

— Кто? — подтыкая сверху концы палатки, без особого любопытства спросил Цветков.

Я назвал себя. На санинструктора мое ранение, однако, не произвело решительно никакого впечатления.

— Жди. Заделаю — посмотрим.
 — Богато раненых? — спросил старшина.
 — Ерунда. Три человека. Не считая Кривошеева.
 — А что Кривошеев?
 — Готов — что! Перевязал — только бинты испортил.
 — Кривошеев? — чего-то не мог понять Пилипенко.
 — Ну. Чего удивился? Что он, от пуль заговоренный?
 — Так вин же так ирвался сюда! — простодушно сказал Пилипенко. — Турнэм, кажа.
 — Вот и турнули. Семь пуль в грудь — не шуточки. Ну, заходите.
 — Зараза! — в сердцах бросил старшина и, вдруг повернувшись, быстро пошел назад к своему взводу.

Я подлез под палатку и оказался в пустом блиндаже. Здесь было темно, сильно воняло порохом, жженым тряпьем, еще чем-то — чужим и противным. Следом в блиндаж лез Цветков.

— Не может к убитым привыкнуть. Тут ему не АХЧ.

Санинструктор имел в виду недавнюю тыловую службу Пилипенко и, кажется, вызывал меня на доверительный разговор о старшине, но я промолчал. Очень болело плечо, и я просто терял терпение: когда же Цветков доберется до меня? А он между тем зажег спичку, огляделся. Потом зажег другую. Земляные стены блиндажа были сырые и голые, обрушившийся у входа пласт глины засыпал угол. Напротив у стенки валялась немецкая шинель, несколько смятых одеял. Под ногами пестрела рассыпанная колода карт. В стене оказалась маленькая полочка, на которую в землянках обычно ставят светильник. Цветков наклонился со спичкой в руках, пошарил и действительно нашел на полу сброшенную взрывом плошку. Сдунув песок, он зажег ее, и мрак в блиндаже немного рассеялся.

Санинструктор спросил о чем-то, но я недослышал, так как стоял к нему глухим ухом.

— Оглох, что ли? — крикнул он громче. — Куда тебя?

— Да вот в плечо.

— Садись на это...

Я послушно опустился на какой-то полуразломанный ящик. Цветков скинул с себя мокрую, залубеневшую палатку и достал из ножен на поясе разведчицкий нож.

— Ты что — резать?

— А что же еще?

— Сниму как-нибудь!

Не без его помощи я расстегнул ремень, снял сумку с магазинами, полевую кирзовку и одной рукой распахнул свою зеленую, английско-го сукна шинель. Потом, однако, стало так больно, что помутилось в глазах, и я думал, что отдам богу душу, пока он сдирал с меня эту мокрую, в нескольких местах пробитую шинель. Рукав гимнастерки был рассечен осколком чуть пониже погона и окровавлен по самый манжет. Тут уж я не рискнул возражать, и Цветков сноровисто располосовал его ножом сверху донизу. Я только отвернулся.

— Так-так, — неопределенно приговаривал он, ощупывая рану. — Касательное осколочное. Две недели санбата.

Только и всего! У меня же было такое ощущение, что рука пропала.

— А кость как? Цела?

— Абсолютно, Васюков.

Прислушиваясь к звукам наверху, Цветков достал из сумки широкий сверток бинта и туго обмотал мне плечо. Затем клочком ваты вытер кровь на руке и пристроил перевязь через шею.

— Не ранение, а укусы комара. Первый раз?

— Первый,— сказал я.

— Можно сказать — путевка на отдых. Гарантия на две недели жизни.

Я, однако, не ощущал особенной радости от этой путевки: рана болела все больше, тревожное предчувствие угнетало меня. По давней фронтовой привычке какая-то часть моего внимания все время была обращена туда, наверх, ослабленный слух ловил каждый звук оттуда, со стороны немцев. Треск очередей на том склоне постепенно редел — кажется, бой прекращался. Из траншеи сюда временами доносились сдержанные голоса автоматчиков, в земле слышался тупой стук их лопат. И вдруг недалеко раздался коротенький собачий визг. Цветков, собирая в сумку свои медикаменты, удивленно передернул бровями:

— Пулька?

Если Пулька, подумал я, значит, где-то поблизости должен быть и Ванин, которого я так и не видел после его отважного прыжка в траншею. Вскоре, однако, Пулька гавкнула ближе, послышался характерный бас Пилипенко, и у входа загремела палатка.

Показалось, вносили раненого. Кто-то там неуклюже затопал, в щель у края приподнятой палатки протянулась рука, которой входящий как-то неуверенно нащупал стену-опору. Затем под палатку просунулась пригнутая голова, плечи, и мы с Цветковым слегка даже вздрогнули — в блиндаж лез немец. Правда, следом за ним шел Ванин: я сразу узнал его крутоплечую, опоясанную ремнями фигуру.

Войдя, немец остановился, придерживаясь рукой за стену. Левая, полусогнутая в колене, разутая его нога была, судя по всему, ранена.

— Куда бы его? — оглядывая блиндаж, спросил Ванин. — Вот давай на шмутки. Садись, фриц! Битте!

Перебирая по стене руками, немец раза два подпрыгнул на здоровой ноге и отяжелело плюхнулся задом на тряпье в углу. Затем он низко нагнул голову в зимней, с длинным козырьком шапке и спрятал от нас лицо. Пулька, замирая перед ним, настороженно урчала, готовая сорваться на лай.

— Перевязать надо,— сказал Ванин.

Цветков, не двинувшись с места, метнул на него злым взглядом:

— Я что — немецкий фельдшер?

Раненая нога немца, видно, кровоточила: на земле возле нее появилось влажное темное пятно.

— Сержант Цветков, перевяжите немца! — приказал Ванин тоном, начисто исключая возражения. Едва не сорвав плечами палатку, в блиндаж влез Пилипенко.

— Кого? Немца? Да вы жартуете?

Ванин, однако, молчал, не сводя глаз с санинструктора, и тот наконец взялся за сумку. Расстегнув ее, он достал оттуда остатки бинта, которым перевязывал меня.

— Вот, при свидетелях,— мрачно предупредил он. — Я был против.

Старшина сплюнул и недовольно затоптался у выхода.

— Я б его перевязав! Хай бы здох, падлюка! Як наши вид их здыхають.

Не отвечая старшине, Ванин потормошил немца, который, казалось, задремал. И вдруг он вскинул узкое худое лицо, рыбы глаза его угрожающе сузились, губы скривились в какой-то неопределенной гримасе. Я не успел еще понять, что случилось, как Цветков взмахнул над головой бинтом и испуганно отпрянул назад, сильно толкнув Пилипенко. Оба

они ударились о стену землянки, слегка зацепив и Ванина, который, однако, не сдвинулся с места.

— Вот гад!

— Дай ему, падле!

Пилипенко не очень ловко вскочил на ноги, куда-то рванулся Цветков. Плошка на стене едва не погасла. Залилась лаем Пулька. Однако немец не собирался ни драться, ни удирать: он лишь отбивался от собаки. Я видел его искаженное лицо и сжатые на земле кулаки; спиной он уперся в стену, держа наготове здоровую ногу.

— Сука! — вскричал Цветков уже с моим автоматом в руках.

— Тырхни ты ему! Шо з им важдаться! — кричал Пилипенко.

— Спокойно! — сказал Ванин и стал между ними и немцем. Привычным движением руки он поправил на себе тоненький ремешок планшетки. — Спокойно, фриц! Хочешь сдохнуть — ничего не выйдет. Цветков, бери бинт!

Ванин навалился на немца, сгреб его вместе с руками и придавил к земле лицом вниз. Немец задрыгал ногой в сапоге, прорыл каблуком земляную борозду на проходе и стих.

— Перевязывай!

— Я? — испуганно удивился Цветков.

— Ты, а кто же! — возмутился Ванин, удерживая немца. С заметной нерешительностью подступив к нему, Цветков содрал с раненой ноги пленного шерстяной носок и торопливо обмотал стопу бинтом.

— От так! — сказал Ванин, отстраняясь от пленного, который молча сел, забившись подальше в угол.

— Шчо вам утэмяшылася его пэрэвязуваты! — не мог успокоиться Пилипенко. — Бинты тилькы папсувалы, свийму Ивану нэ хопить! Тыркнуть его, и усы!

— Вы бы поменьше трепались, старшина, — сказал Ванин.

— А шчо, нэ правда? Пэрэвязуваты его! Можя, шча тушенкай кормиты будэтэ?

На минуту задержав на старшине озабоченный взгляд, Ванин с досадой вздохнул:

— Мы за ним едва не до станции бежали. Он в меня весь «парабеллум» разрядил. А вы — тыркнуть! Завтра в полк отправим.

— Нэ бачылы в полку такой гныды! — ворчал Пилипенко.

Цветков молчал. Младший лейтенант поднял из-под ног истоптанную шапку.

— Ладно. Я пошел, — сказал он и вылез из блиндажа. За ним вскочила Пулька. Потом, ворча про себя ругательства в адрес немца, вышел Пилипенко. Не успели их шаги затихнуть в траншее, как сюда влезло трое раненых, искавших санинструктора.

В блиндаже стало холодно и тесно, сесть было негде. Цветков начальнически прикрикивал на бойцов — то не там стали, то не так повернулись. Я не мог найти себе места и, проклиная новую долю раненого, накинул волглую еще шинель и вылез в траншею.

Небо как будто прояснилось, дождя не было, снежинки все носились в воздухе, дул сильный, промозглый ветер.

Бой уже всюду стих; немцы, кажется, удрали на станцию, и я даже удивился, подумав, как все же легко удалось сбить их с высоты. Конечно, застали врасплох, они проворонили нас на подходе. Но вряд ли они примирятся с потерей такого выгодного опорного пункта.

Плечо не переставая болело все больше, в ухе надоедливо остро звенело, и я подумал, что, пожалуй, действительно отвоевался. Не миновать санбата — это уже определено. Но перед тем, как отправиться туда, надо бы повидать Ананьева да проститься с хлопцами, что ли?

Траншея была длиннючая, с неровным, развороченным бруствером, основательно присыпанным снегом. Автоматчики оборудовали себе ячейки. Некоторые уже устроились в них, скорчившись в три погибели, другие, донятые холодом, слонялись по траншее, притаптывая каблуками да покуривая из рукава. Над сумеречной высотой лежала глухая ночь. Немцы ракет не бросали.

Мне сказали, что Ананьев впереди в траншее, я прошел дальше и услышал его голос, каким старший лейтенант обычно разговаривал с бойцами ночью — не по-командирски ровно, негромко, с явной озабоченностью, которую он и не старался скрыть. Ночью он делался проще, спокойнее. Я тихо подошел ближе.

— Конечно, могут лупануть,— говорил Ананьев.— Но это не в голлом поле. Пусть сунутся! Вот переночуем, а утречком всех раненых в тыл. К завтраку в медсанбате будешь.

Кто-то ослабевшим голосом возражал:

— Нет, уже все... Не дожить мне.

— Да ну брось ты! — успокаивал его Ананьев.— Не дожить, не дожить! Доживешь! Попадешь в госпиталь — через месяц-два такой герой будешь!

Выйдя из-за поворота траншеи, я сразу наткнулся на них. Тут был недостроенный, брошенный немцами блиндаж — яма сбоку от хода сообщения — без перекрытия и без двери, с четырьмя бревнами-стояками в углах. У стенки на разостланной шинели кто-то лежал, обвитый бинтами, у его ног сидя курил Ананьев. Еще кто-то невидимый неподвижно маячил у изголовья раненого. Гриневиц с Пилипенко молча стояли в траншее, возле них прислонился к стене Зайцев — автоматчик из второго взвода. Завидев этого Зайцева, я вдруг понял, почему он здесь. Обидно защемило в душе — все же я был еще в роте и даже неизвестно, может, обошелся бы и без санбата? Однако тот, кто лежал в яме, судя по всему, был тяжело ранен, и я, подавив в себе неожиданную досаду, спросил вполголоса:

— Кто это?

Ананьев поднял голову:

— А, Васюков! Ну как?

— Да ничего,— сдержанно ответил я.— В плечо вот...

— Могло быть хуже,— сказал командир роты.— Я подумал было: хана тебе.

Подумал, ну и пусть. Спасибо не бросил, позаботился. И все же обида не проходила, застряла где-то и помаленечку ныла, заполняя все мои чувства.

— Васюков,— слабым голосом позвал меня раненый. Я подошел ближе и в сумраке едва узнал его — это был Кривошеев.— Васюков... И ты тоже?

— Попало. Но меня легко,— сказал я с деланной бодростью и почему-то громче, чем было нужно.

— А я вот...— выдохнул, не договорив, Кривошеев.

Ананьев поднялся и выглянул над бруствером.

— Ничего, не унывай. Будешь жить. Не такие выживали.

Не знаю почему, но я сразу понял, что Кривошеев уже не жилец. Рядом тихо вздохнул тот, что сидел в глубине блиндажа; приглядевшись, я узнал в нем рядового Гуменюка. И тогда вспомнил, что они с Кривошеевым земляки, вроде бы даже из одной деревни — когда-то

в составе маршевой команды мы вместе прибыли в роту. От той команды уцелело, наверно, человек десять, а теперь вот станет меньше еще на одного.

— Ну где тот разгильдяй Цветков? — спросил командир роты. — Что это за гадство такое!

— Цветков в блиндаже, — сказал я. — Там трое раненых.

— Тяжело?

— Легко как будто.

— Легко! Тут этого спасать надо. А то перевязал и бросил. Ну, погоди: придет — я ему устрою разгон!

— Потом, — тихо сказал из траншеи Гриневич.

— Нет уж! Я его выучу, как рядового бойца любить. А нет — так к чертовой матери: автомат в руки и — в цепь!

Раненый слабо завозился внизу.

— Товарищ старший лейтенант... Не надо уже. Что он...

— Как это что, Кривошеев? Брось ты паниковать. Попадешь в госпиталь, в тепло, на чистые простынки — враз получишь. Доктора, они теперь такие: наловчились за войну, разрежут и сошьют, будешь лучше прежнего. Сам прошел через ихние руки, знаю.

Гуменюк протяжно вздохнул.

— Я как чувствовал, — скорбно сказал он. — Когда младший лейтенант позвали — екнуло мое сердце. То всегда были вместилах — и ничего. А тут отлучился, и вот...

Ему никто не ответил.

Вскоре, однако, кто-то появился у входа в яму-блиндаж, и к раненому с сумкой на животе протиснулся Цветков. Ананьев грозно молчал. Санинструктор его, кажется, не сразу заметил и немного промедлил с докладом:

— Сержант Цветков по вашему приказанию...

— Ты почему бросил раненого? — оборвал его ротный.

— Я перевязал.

— И это все?

— А что еще? Он безнадежный!

Ананьев порывисто шагнул от стены:

— Я тебе вот как двину! По твоей идиотской голове! Тогда узнаешь, кто безнадежный! Понял?

Цветков обиделся:

— Что я, слепой? У него три проникающих в брюшную полость. Да еще в грудь навyleт...

— Молчать! — сдавленным голосом крикнул командир роты. — Чтоб мне ни слова! Он должен жить!

— Будто я против. Пусть живет! Только... Вот смотрите!

Цветков ступил к раненому, развернул полы его шинели. Потом что-то пощупал там, насторожился, схватил Кривошеева за руку и, будто не обнаружив того, что искал, припал ухом к накрест перебинтованной груди.

— Ну вот! Я же говорил...

— Не может быть! — сказал Гриневич, выходя из траншеи. — Минуту, как разговаривал...

— Все. Готов! — уверенно объявил Цветков и с сознанием своей правоты отступил к выходу.

Ананьев вскипел:

— Обрадовался: готов! Я без тебя, дурака, видел: будет готов. А вот он не должен был знать. Понял? Он должен на нас надеяться, что позаботимся. Он же человек, а не собака.

Гуменюк тем временем, видимо не веря санинструктору, кинулся к Кривошееву. Стоя на коленях, он минуту тормозил его, потом вдруг уронил руки и заплакал.

Цветков угрюмо молчал, наверно не чуя за собой вины. Ананьев засунул руки в карманы и также умолк. Ссора вдруг потеряла свой смысл. Каким-то образом я ощутил свою почти родственную близость к покойнику, и на душе стало тоскливо. К тому же на холоде плече прежнего разболелось плечо и вся рука до самых ногтей. Надо было уходить, но я в унылом, тупом одеревенении продолжал тихо стоять над Кривошеевым.

— Ладно,— отходя от гнева, сказал Ананьев.— Пусть полежит до утра. Придет подвода — отвезем, похороним.

Он вышел из блиндажа и пошел в тыл. За ним пошли Гриневиц, Зайцев и немного погодя Цветков. Мне ротный ничего не сказал, и я, сам не зная зачем, остался тут с Гуменюком и притихшим Пилипенко.

Мало мне было раны, так еще этот Ананьев — я к нему шел, разыскивал его, а тут на тебе — новый ординарец! И командир ни слова не сказал мне. Будто я никогда не пришивал ему подворотничков, не бегал за обедом, не пропадал с ним всю зиму в боях...

А впрочем, может, я и не прав. У него ведь люди, боевая задача, а теперь еще и забота, как удержать высоту. К тому же ему постоянно нужен человек, чтобы бегать, вызывать командиров — без ординарца тут не обойтись. В общем, я понимал ротного, хотя от этого не становилось легче.

Но что делать здесь? Сидеть в этой яме рядом с Кривошеевым и мерзнуть? Уходить ночью из роты не имело смысла, можно было запросто угодить в руки к немцам, да и не было сил тащиться по такой хлябти добрых двадцать километров до медсанбата. Значит, надо было искать какое-нибудь пристанище до утра. Плохо, что, кроме командирского блиндажа, немцы, кажется, ничего тут не оборудовали; возвращаться же в блиндаж мне не хотелось — пусть там теперь хозяйничает Зайцев. Придется, видимо, идти во второй взвод к Ванину — он меня примет.

— Где второй взвод? — спросил я у Пилипенко.

Тот махнул рукой.

— Дальшэ.

Не спеша я пошел по траншее. Старшина почему-то поволокся следом за мной. Вскоре мы набрали на какой-то траншейный отросточек-тупичок, в котором на светловатом небесном фоне одиноко торчала голова в каске. Тупичок этот, кажется, наиболее выдавался в поле — возможно, это был недокопанный ход сообщения в немецкий тыл. Пилипенко окликнул:

— Чумак, цэ ты?

— Ага, я, товарищ старшина.

— Ну што чуваты?

Мы подошли ближе, Чумак почтительно отступил перед командиром взвода. На бруствере стоял немецкий МГ с заложенной в приемник лентой. Услышав нас, на дне траншеи зашевелился еще кто-то, наверно пулеметчик. Когда он поднялся, то оказалось, что это Шнейдер. Узнав командира взвода, пулеметчик толково, без излишней торопливости объяснил:

— Сначала стреляли. Вон из-за того бугорка. Овражек там или кочка какая — черт ее знает. Бил пулемет. Потом перестал. Человек пять перебежали краем и скрылись. Теперь тихо.

Пилипенко, подумав, сказал:

— Ни черта. Воны не дурни в рови сыдять. Драпанулы на станцию. Завтра пиднапруть, конэшно.

— Завтра дадут прикурить,— согласился Шнейдер.

— Може, завтра, а може, и сегодня,— добавил Пилипенко.— Не здумайтэ спаты. Гранаты хотэ е?

Шнейдер ошупал карманы.

— Есть одна.

— А у тэбэ, Чумак?

— Да нету.

— Хибы вы уси побрасалы?

— Ну да!— сказал Шнейдер.— Где это он их побросал? Только в траншее взвод нагнал.

Чумак молчаливо и неловко переминался с ноги на ногу.

Пилипенко впился в него настырным, придиричивым взглядом. Вид у Чумака был такой виновато-несчастный, что я не выдержал и достал из кармана последнюю свою «лимонку», которая мне вряд ли уже могла пригодиться.

— Вот возьмите.

Чумак молча и, как мне показалось, не очень решительно взял гранату, с заметной опаской опустил ее в глубокий карман шинели.

— Сколько вам лет?— спросил я.

— Мне? А пятьдесят.

— Ого! Как же вас мобилизовали?

— Брэша вин! Яких пятьдесят?— сказал Пилипенко.— Мини сорок шить, так вин старийший?

— Ей-бо, не брешу!— скоренько заговорил Чумак.— Чтоб мне так жить— пятьдесят! А брали меня в нестроевые. Вот как!

— Так ужэ и в нестроеви?

— Ей-богу, правду говорю. Значит, так. Сначала я в транспортной роте был. Ну, старшина строгий попался, придираться начал. Перевели в комендантский. А из комендантского, как под Дроздами неуправка вышла, то к вам направили. Кто уцелел, потом назад разобрали. А меня вроде забыли, что ли.

Это я знал. Только не забыли его, а просто оставили, потому что взамен взяли лучшего. Из нашей же роты переводить было уже некуда.

— Ну что ж,— сказал я.— Счастливо вам. Только не отставайте больше.

— А уж не буду,— пообещал Чумак и шагнул ко мне ближе.— Слушай, это самое... Тебя ранило?

— Как видите. В плечо,— сказал я почти беззаботно.— Так что Цветков был прав.

Чумак на это не ответил, только уныло сгорбился и, как мне показалось, с сожалением поглядел на меня. Впрочем, возможно, с завистью, впотьмах не разобрать— как.

У Ванина вовсю шла работа— взвод окапывался. Немцы на этом скате высоты поработали мало— траншея получилась мелкая, по колению, и теперь ванинцы, не обращая внимания на ночь и слякоть, ковыряли ее всем взводом.

Командир тоже копал— раздетый, в одной гимнастерке, он с какой-то запальной остервенелостью размахисто кидал лопатой, похакивая в такт каждому броску. Тут же, в траншее, отдыхая, стоял его помкомвзвода молчаливый сержант Закиров. Я остановился рядом.

— Что, Васюков? — сказал Ванин. — Помогать пришел?

Ясно, помощник из меня был никудышный, и потому этот вопрос несколько меня смутил.

— Глубже копаешь — дольше живешь, — помолчав, сказал Ванин.

— Не повезло вам. У Пилипенко так готовая траншея.

— А он всегда на готовое. Такой жмот, ого! — Ванин опустил лопату. — Если разобраться, так это же его участок. На правом фланге его же взвод шел. А как только в траншею вскочил, так и засел. А мы немцев еще вон куда гнали!

— С вами командир роты был.

— Вот именно. А с Пилипенкой — Гриневич. Тем все сказано. — Ванин выпрямился. — Вот угрелся! На, Закиров, копай.

Помкомвзвода взял лопату, а Ванин вскочил на бруствер и, вглядываясь в серый ветренный сумрак, натянул на плечи фуфайку.

— А ты чего это в тыл не идешь? Ананьев же себе Зайцева взял.

— Ну и пусть, — сказал я.

Разговаривать с ним об этом мне не хотелось. Я думал, что Ванин станет уговаривать идти лечиться, а он вдруг сказал:

— А вообще правильно. Пойдешь — вряд ли вернешься. А тебя на медаль послали.

Застегнув ремни, Ванин опустился на бруствер.

— Они там не смотрят, из какой части, а посылают, куда понадобится. Я вот тоже до этой дивизии в гвардейской служил. В разведке. А из госпиталя отдел кадров сунул сюда. Сколько ни доказывал — куда там! И слушать не хотят. Дивизия на формировке, командиров недокомплект, кадры нужны. Так что старайся дальше санбата не ехать.

— Как постараться?

Не ответив, Ванин бросил настороженный взгляд по траншее.

— Опять там перекур? Вот сачок! Ну, я ему дам!

Стремительно вскочив, он быстро пошел по брустверу.

Я подождал немного, думая, что Ванин скоро вернется, но он не возвращался. Тогда я потихоньку пошел вдоль траншеи и неподалеку опять встретил его. Младший лейтенант торопливо шагал навстречу и, не дойдя до помкомвзвода, крикнул:

— Закиров, ты где Лукина поставил?

— В своем отделении был.

— Был, да весь вышел. Нет его там...

Занятый своими заботами, Ванин будто и не заметил меня — на ходу повернулся и быстро пошел назад. Я остановился, не зная, идти за ним или подождать тут.

Двое автоматчиков в траншее молча ковыряли землю лопатами. Один из них негромко сказал:

— Выслет сейчас Лукину.

— И правильно сделает, — устало дыша, подтвердил второй. — Пусть не сачкует.

Голос последнего показался мне знакомым — это был Горькавый, единственный боец в роте, воевавший в ней едва ли не из-под самой Москвы.

— Что, здорово гоняет? — спросил я, подойдя к черной щели траншеи, из которой торчали их головы. Оба, на секунду замерев, вгляделись в меня, потом Горькавый сказал:

— Гоняет, потому как заботится. Не то что другой — лишь бы кричать. А наш и смел и умел, на что ни возьми.

— Как он тогда часового снял! Ого! И не пикнул, — добавил второй.

На ветру было мучительно холодно, я присел на бровку траншеи, натянул воротник, неизвестно чего ожидая. Правое ухо то вроде отхо-

дило от глухоты, то его опять закладывало тугой пробкой; раненая рука просто отнималась от боли.

— Ванин хотя и младший лейтенант, а смелее которых капитанов,— нажимая на лопату, с усилием говорил боец.— Точно!

— Не в званиях смелость,— заметил Горькавый.

— А сметкой, наверно, не уступит и командиру полка.

— Это Сыромятникову? Ну, тот дурак.

— Бросьте! — сказал я.— Чтобы так говорить, надо знать.

Горькавый далеко за бруствер швырнул землю с лопаты.

— Хе, знать! Я у него в батальоне полгода проползал. Он ведь до полка батальоном командовал. Строгий — да. Боялись, это верно. Но — дурак.

— Откуда это видно?

— Солдату все видно.

— Ну, уж так и все?

— Даже лучше, чем кому другому. Потому как он все это кровью своей узнает: какой командир умный, а какой дурак.

Горькавый отдышался немного и опять взялся за свою лопату. А его напарник добавил:

— А у нас и комроты ничего себе. Шебутной, конечно, но неплохой мужик. Воевать может.

— Толковый,— подтвердил Горькавый.— Да не слишком смелый. Не с немцами, в бою — он орел! С начальством.

— Ну, это уж чепуха,— сказал я и встал, враз потеряв всякое желание слушать этого умника. Во всяком случае Ананьева я знал лучше, чем он.

— Пускай себе чепуха,— сказал Горькавый,— а на Гриневича уж очень оглядывается. Тот не смотри, что тихоня. Как бывает жинка: тихонькая, а мужика под каблучком держит.

— Никого он не держит,— сказал я.

— А ты вот присмотришься. Присмотришься когда.

Странный человек этот Горькавый. Я был уверен, что он ошибается, но говорил он с такой убежденностью, что помимо воли в моей памяти начали всплывать некоторые случаи, которым раньше я не придавал особого значения. И как ни удивительно, а получалось, что и на самом деле Ананьев иногда ждал, что скажет Гриневич. Хотя, может быть, так и надо было и они просто советовались для пользы дела.

Я вглядывался в неясную, едва различимую в траншейном мраке фигуру Горькавого с шапкой-растопырккой на голове, испытывая уважение, что ли, к этому немолодому, обычно мало заметному бойцу. Провоевав с ним в роте полгода, мы ни разу до сих пор не удосужились поговорить, а вот, оказывается, он о многом имел свое особое и даже неожиданное мнение. И вместе с тем эта его умная наблюдательность как-то невольно настораживала, неизвестно почему, но даже немного настраивала не в пользу Горькавого.

Я уже решил остаться здесь до утра — хоть и на холоде, а все же веселей будет скоротать ночь. Но только я подумал об этом, как из сумерек показался Ванин. Он был не один и, завидя меня, сказал тому, кто шел следом:

— Вон Васюков.

Я поднялся с бруствера.

— Тут тебя Зайцев разыскивает.

Что-то тревожно-радостное шевельнулось в груди и замерло.

— Командир роты зовет,— сказал, подходя, Зайцев.— Ужинать.

Минуту я колебался, чувствуя, как что-то во мне удивительно и поч-

ти осязаемо меняется в отношении к Ананьеву, Ванину и даже к Горькавому.

Действительно, было чего обижаться! Ведь командир роты мне ничего плохого не сделал, просто у него полно своих забот, разве это не ясно было с самого начала? А как только посвободнело — вспомнил и послал Зайцева искать меня, дурака, ночью по траншее.

— Давай, — поторопил Ванин. — А мне некогда. Окопаемся, потом забегу.

8

В блиндаже было людно и накурено, затхло воняло мокрыми шинелями, земляной сыростью и взрывчаткой.

Обычно где бы Ананьев ни был в течение дня, но вечером, придя в свою землянку-капе, собирал командиров взводов, старшину, принимал их доклады, давал указания, потом все вместе ужинали. Ужин не бог весть какой: гуляш с концентратом, сухари, банка свиной тушенки. Иногда перепадало что-нибудь из трофеев, если в наступлении, ну и, конечно, наркомовские сто граммов.

Теперь наркомовских вроде не предвиделось — не было старшины, но на ящике, что пристроили посредине блиндажа, блестела желтая немецкая банка с отогнутой крышкой, в которой был мармелад. Ананьев в расстегнутой шинели, с папиросой в зубах отвинчивал знакомую, обшитую сукном флягу. Тут же сидели унылый, с обиженным видом Цветков, всегда серьезный Гриневич. Зайцев, как только вошли, достал из-за пазухи полбуханки хлеба, наверно раздобытого где-то во взводе, и принялся ее разрезать. За ним возле стены сидело двое раненых, и дальше, в темном углу, уронив светловолосую голову, застыл немец.

— Кто это? Васюков? А где Ванин? — спросил командир роты, глядя ваясь в направлении входа.

— Там, во взводе, — сказал Зайцев.

— Почему не пришел? Ты сказал, что я зову высоту замочить?

— Не идет. Говорит: не пью.

— Ну и дурак! — объявил ротный. — Пусть не пьет. Нам больше останется.

Он свинтил с фляги крышку, взял с ящика алюминиевую кружку.

— Садись, Васюков. Поужинаем на прощание. Завтра уже будешь в медсанбате питаться. Как рука?

— Болит.

— Правильно, должна болеть. Мне когда предплечье перебило — полмесяца болело, собака.

— Помнится, говорил бедро, — вдруг усмехнулся Гриневич. — А теперь — предплечье.

Командир роты опустил кружку и уставился на своего заместителя.

— Что — бедро? Бедро — это уже в пятый раз! А то прошлым летом. В руку. Не веришь — на, посмотри.

Он решительно сдвинул на правой руке манжет, обнажая на белой коже синий продольный шрам.

— Да я шучу, — примирительно сказал Гриневич.

Ананьев молча плеснул в кружку.

— Держи, Васюков! Выпьешь — враз полегчает. Знаешь, когда меня под Нелидовом трахнуло, водкой только и спасался. А то бы очочился от боли да голода.

Я взял кружку, там было не много, и я проглотил все за раз. Потом торопливо закусил хлебом с кусочком студенистого, вязкого мармелада.

— Теперь по старшинству, — распорядился Ананьев, опять наливая в кружку. — Пью я. Чтобы ты там скорее, это самое... Да в роту. А пока

Зайцев побеждает. Так за поправку! — кивнул он в мою сторону и с ходу вылил в рот все, что было в кружке. И даже ничуть не поморщился, только удовлетворенно крикнул и налил снова.

— Хорошо! Теперь очередь комиссара. Иль ты не будешь?

— Нет, не буду, — без сожаления сказал Гриневиц.

— Вот другой дурак! А, знаю: ты пожрать метишь? Только не выйдет. Не пьешь — мармелада не получишь. Понял?

— Что ж... Потерпим.

— Вот-вот: терпи. Бог терпел и нам, дуракам, велел. Так ты чего стоишь, Васюков? Иди сюда, посидим вместе.

Он подвинулся немного, я ступил в темноту меж сапог и здоровым плечом втиснулся между ним и Цветковым. Не знаю, может, оттого, что я выпил, но мне вдруг показалось, что Ананьев вроде переменялся ко мне, стал такой товарищеский, приветливый, каким, наверно, никогда еще не был раньше. Может, потому, что атака удалась, промелькнуло в моей хмельной голове. А может, из-за ранения, которое в одну минуту превратило меня из подчиненного в просто товарища по минувшим боям, и только.

— А ловко мы их турнули, да? — спросил Ананьев, повернув ко мне грубоватое, щетинистое, улыбающееся лицо. Секунду спустя, однако, лицо его вдруг помрачнело:

— Жаль Кривошеева... Хороший солдат был... Ну так что? — Через голову Зайцева он глянул на обычно молчаливого при начальстве старшину Пилипенко. — Выпить чарку не забудь, на том свете не дадут. Давай, старшина, твоя очередь!

Пилипенко молча взял кружку и сразу же потянулся к самому большому куску на ящике. Ананьев встряхнул флягу.

— Еще есть. Цветкову не дам — не заслужил Фриц тоже облизнется. Это для Ванина. Ванин молодец!

В траншее загремела палатка; Гриневиц, сидевший напротив входа, сказал:

— Кажется, легок на помине.

Однако вместо Ванина в блиндаж сунулся длинный, нескладный Шнейдер.

— Товарищ старший лей...

— Шнейдер, — перебил его Ананьев. — Ну-ка вот этого цуцыка допроси.

Обросший черной щетиной Шнейдер, чтобы не сгибать головы, снял с плеча автомат и опустился на колени у входа. Ананьев сгреб откуда-то с пола пачку бумаг пленного, сверху которой была солдатская книжка, и протянул все Шнейдеру.

— Вот посмотри сперва, из какой он части, фрицок этот.

Шнейдер взял документы, не обнаруживая особого интереса к их бывшему обладателю. Тот, однако, видно, почувствовал, что разговор начался о нем, и повернул в сторону свое насупленное лицо. Достав из кармана обтрепанный немецко-русский военный разговорник, Шнейдер быстро отыскал нужный раздел.

— Ви ист ир намэ унд диенстград? ¹

Будто немного удивившись, услышав родной язык, пленный словно боднул головой, взглянул на Шнейдера и опять весь ушел в себя. Теперь он был почему-то в одном френче с тремя знаками в петлицах. На груди его поблескивало с полдюжины различных значков и медалей — ромбик «Гитлерюгенда», эмблема стального шлема, медаль за зимовку в России. Были и неизвестные мне, в том числе какая-то продол-

¹ Ваше имя и звание?

говатая эмблема-нашивка с изображением тесака и гранаты, скрещенных посередине дубовых листьев.

— Ви ист ир намэ унд диенстград? — настойчивей повторил Шнейдер.

Ананьев сомкнул над переносьем русые брови, с интересом наблюдая за немцем. Все ожидали его подробного ответа, как вдруг пленный рывкнул:

— Вэк, юдэ!

Это мы поняли и без переводчика. Гриневич начал подниматься на ноги, Пилипенко выругался. Шнейдер вдруг сделал ошеломляющий выпад, и прежде чем мы успели что-либо понять, голова немца резко откинулась назад, глухо стукнувшись о земляную стену. Ананьев с неожиданной и не очень натуральной веселостью захохотал.

— Отставить! — на весь блиндаж закричал Гриневич. — Вы что?

— А что он! — в ответ крикнул Шнейдер и замолчал. От волнения он ничего больше не мог сказать и опустился на пол. Ананьев, уже не смеясь, с фальшивым оживлением повторял:

— Здорово! Молодец, Шнейдер! Ты не боксером был?

— Я слесарем был! — со сдержанной яростью сказал Шнейдер, не сводя глаз с немца.

Немец затаился под стеной, лицо его почти не просматривалось в тени, но по всему чувствовалось, как он тревожно напрягся там, украдкой следя за переводчиком. Светлые волосы его распались надвое и свисали на уши. Гриневич с осуждением, которое непонятно к кому относилось, поочередно переводил взгляд с переводчика на командира роты и немца.

— Вы что — чепе захотели? Есть же приказ по армии насчет пленных.

— Приказ! У нас один приказ. А у них други приказ: бый, давы! — быстро заговорил Пилипенко. — Я б ему щэ не так вризал.

Гриневич строго посмотрел на старшину и начал усаживаться на свое место. Ананьев кисло поморщился.

— Ладно, черт с ним! — сказал он. — Загляни-ка в книжку, какая часть?

Дрожащими еще руками Шнейдер раскрыл солдатскую книжку пленного и, несколько успокоившись, объявил:

— Триста двадцать четвертый отдельный саперный батальон. Третья рота. Командир взвода обер-фельдфебель Фердинанд Гросс. Дальше тут прохождение службы. Награды. Группа крови. Адрес семьи: Дюссельдорф...

— Начхать на адрес, писать не будем. Спроси лучше, какое подразделение обороняло высоту?

Шнейдер полистал разговорник.

— Вас фюр... Вас фюр айн абтэйлюнг?

Немец повел на бойца затравленным волчьим взглядом и опустил голову.

— Может, не понимает? — спросил Ананьев. — Смотрю, из тебя переводчик, как из меня гармонист.

— Зрозумие — чакайтэ! Кулак вин крашэ розумие! — сказал Пилипенко. Ананьев кивнул Шнейдеру:

— А ну еще!

Шнейдер спросил еще, да напрасно: немец демонстративно не замечал переводчика, будто его и не было тут. Он не хотел отвечать — это стало очевидно, и тогда молчаливо и угрожающе поднялся со своего места Ананьев. Большой, в измятой шинели, командир роты переступил через чьи-то ноги и грязным сапогом сильно пнул немца.

— Ты, цуцык! — произнес он таким тоном, что все в блиндаже притихли. — Если ты будешь в молчанку играть, я из тебя враз шашлык сделаю! Не посмотрию и на приказы! Понял?

Выражение лица Ананьева стало почти свирепым, и для меня не было никакого сомнения, что он свою угрозу исполнит. Немец по-прежнему горбился под стеной, и старший лейтенант окинул его угрожающим взглядом. Затем взгляд его упал на кружку с водкой, которая стояла на ящике. Схватив ее, Ананьев повернулся к немцу:

— Пей, сволочь!

Немец понял, на мгновение притих, будто колеблясь, но вдруг подался вперед и взял кружку. Он выпил водку с торопливой решимостью обреченного и протянул кружку ротному:

— Нох!

— Что?

— Нох!

— Шнейдер! — крикнул командир роты. Переводчик начал торопливо листать свой разговорник, но, кажется, не находил там того, что искал.

— Вроде еще просит.

— Еще? А, сукин сын! Цветков, дай фляжку!

Ананьев вылил в кружку все, что оставалось во фляге, немец, как и первый раз, с жадной решимостью выпил до дна и вяло швырнул под ноги опустевшую кружку.

— Смотри-ка! Вот это фриц! — крикнул Ананьев. — Ну, теперь ты развяжешь язык. Шнейдер, давай поближе. Спрашивай по высоте.

Шнейдер задал все тот же вопрос, но немец, даже не дослушав его, вдруг опять рывкнул:

— Шиссен!

Что-то напряженно соображая, Ананьев стал хмуриться. Гриневич также с заметной тревогой поглядывал на пленного, который обеими руками рванул на себе мундир:

— Шиссен, рус швайн!

— Гадина! — с ненавистью сказал Шнейдер, который, кажется, первым понял крик немца. — Застрелить требует.

Немец еще несколько раз прокричал «шиссен», раздирая на себе воротник, две пуговицы покатались на землю. Но потом он, видно, понял, что вряд ли чего добьется. Тогда он обмяк, льяно откинулся к стене, пробормотал несколько непонятных отрывочных фраз. И вдруг сипло, картая, запел:

Вен ди зольдатен
Юбер ди штад марширен,
Фнен ди медхен
Фенстер унд ди тирен...

Все, кто был в блиндаже, с чувством гадливого удивления смотрели на него — такого немца вроде еще не встречали. Попадались испуганные размазни, правоверные гитлеровские фанатики, сдержанно-молчаливые пруссаки, но такого балбеса мы видели впервые.

Командир роты озадаченно молчал. Немец тем временем раскачивал головой, сползал все ниже, голос его сонно гнусавил и вдруг совсем смолк.

Ананьев выругался заковыристым матом.

— Пилипенко, а ну, тряхни его!

Пилипенко, на коленях подавшись к немцу, охотно раз и другой пырнул его в бок. Немец же в ответ только пробормотал что-то и смолк, вяло перекатив голову на другое плечо.

— Эй, Гитлер! Эй! Спить падлюка, шчоб ему нэ проснутысь!

— Как ты пыряешь! — вскричал Ананьев. — Тряхни, чтоб душа из него выкатилась!

Пилипенко сгреб немца за грудки и в самом деле потряхнул так, что послышался треск его френча. Но снова никакого результата. Гриневич с любопытством шагнул к пленному и брезгливо всмотрелся в него. Ананьев нагнулся и кулаком поднял подбородок немца. Тот пьяно, бесчувственно спал.

— Ах ты обормотина! Да он же и был пьяный! — сказал старший лейтенант. — А я еще на него водку извел. Гадина! Допросили. называется! Тьфу, дураки набитые!..

9

— Как бобиков, обдурил! — возмутился командир роты. — Теперь жди! До утра ты из него ни черта не вытянешь! Это уж я знаю!

— Мне разрешите идти? — спросил Шнейдер.

Ананьев ответил не сразу: его внимание занимал немец. Шнейдер повторил вопрос.

— Смотрите там. Могут сунуться ночью. Чтоб не проспали.

— Не проспим!

— То-то!

Закинув за плечо автомат, Шнейдер вылез в траншею. Ананьев сел на прежнее место рядом со мной, подобрал длинные ноги.

— Пилипенко, давай толкового хлопца. Донесение отправить.

Старшина молча встал и двинулся к выходу.

В блиндаже наступило молчание.

Фляга Цветкова незавинченной лежала на ящике, хлеба остался небольшой кусок. Командир роты взял его и сразу откусил половину.

— Комиссар, — сказал он, мощно двигая челюстями. — Дай-ка бумажку и карандаш.

Гриневич расстегнул туго набитую полевую сумку, пошарил там, вырвал из какой-то тетради чистую страничку, из кожаного сота достал карандаш и все это протянул Ананьеву.

— Думал, пока пошлю пару сведений о противнике, — сказал Ананьев. — Да вот пошлешь тут! Обормот, а не фельдфебель. Цветков, а ну-ка посвети — ни черта не видно.

Цветков снял с полочки плошку и на коленях услужливо склонился к командиру роты.

Дожевывая хлеб, Ананьев начал писать. Мне не было видно, что он там не очень бойко выводил твердым чернильным карандашом, мое внимание привлек Цветков, который одним глазом косил туда, при этом выражение его освещенного снизу лица как-то странно менялось. Что-то снисходительно-насмешливое появилось в его взгляде, спустя минуту санинструктор грубовато заметил:

— Не донесение, а донесение.

Ананьев недоверчиво на него покосился:

— Ну да? Скажи мне! Может, еще учить будешь?

Цветков, никак не отреагировав на эту реплику, невозмутимо добавил:

— И не занял, а занял. Занял высоту, так правильно.

Ища поддержки, Ананьев в притворном недоумении взглянул на меня, потом на Гриневича. Замполит передернул уголками губ, но смолчал. Обращаясь к нему, старший лейтенант сказал:

— Смотри, он и в самом деле учить меня начинает! Ха! Будто я сам не знаю! Занил — занял. Конечно, занял! — уверенно объявил ротный.

Я с удивлением заглянул в тетрадь. И как раз в этот момент тупо заточенный карандаш Ананьева с нажимом исправлял *и* на *я*, что без слов разрешало спор. Наверно, это по достоинству оценил и Цветков, поэтому что дальше уже молчал. Через пять минут старший лейтенант выпрямился и вслух, слегка любуясь написанным, прочитал:

— Вече 35004, майору Сыромятникову. Карта — трофейная. Донесение. Занял высоту 117,0. Взял в плен обер-фельдфебеля. Уничтожено около пятнадцати немцев... — Вроде прислушиваясь к чему-то, молча поглядел на Гриневича. — Мало пятнадцать, а?

— Откуда там пятнадцать? — подумав, сказал замполит. — Сколько трупов было? Штук восемь? Так что же ты? По правде надо.

Ананьев нахмурился.

— Да ну тебя! По правде, по правде! Все у тебя по правде! Подумаешь — трупов! А может, они с собой трупы унесли?

Гриневич молчал. Ананьев, несколько поразмыслив, решил:

— Напишу двадцать пять! Нет, двадцать семь, чтоб кругло не было. А то не поверит. Майор Сыромятников — он тоже не промах на эти штучки.

— Вот именно, — сказал Гриневич. — Зачем тогда фантазировать? Ананьев глубоко, со значением вздохнул.

— Знаешь, комиссар! Хороший ты хлопец. Но есть у тебя один недостаток.

Апатичный Гриневич с неожиданным любопытством повернул лицо к ротному. В его серых глазах шевельнулась усмешка.

— Это какой же?

— Какой? Слишком правильный! Все у тебя правильно — неправильно. А я чхать хотел на это правильно! Мне чтоб лучше! Для роты чтоб лучше! Понял?

Гриневич, нагнувшись без надобности, подобрал карту из тех, что валялись под ногами.

— Не будет правильно — не будет и лучше, — рассудительно сказал он. — Будет хуже... Ибо, кроме роты, есть еще полк, дивизия, армия. Вот так!

— Знаешь что?.. Ты это скажи бойцам, а не мне. Я, брат, с сорок первого между пуль хожу. Потому знаю. Если бойцам лучше, так и роте лучше, и полку, и дивизии.

— Ошибаешься, командир.

— Черта с два ошибаюсь.

Гриневич, задумавшись, разорвал пополам трюфовую девятку и бросил обрывки под ноги. Командиру роты он не ответил, и я его понимал: вокруг были бойцы, сержанты — его подчиненные. Тактичный замполит не хотел в их присутствии развивать спор.

— Вот напишу сорок семь! — вдруг решил Ананьев. — И будет правильно. Понял? Пусть кто посчитает. Ну, да свети ты! Ни черта не видно.

— Нечем: догорает.

Плошка действительно догорала, остаток ночи предстояло провести в темноте. Ананьев размашисто подписал донесение, огонек в руках у Цветкова превратился в крошечную искорку и погас. Сплошной мрак заполнил блиндаж.

— Так, — проговорил в этой темени командир роты. — Кимарнем на пересменку. Давай, комиссар, начинай первый.

— Да ну! Не очень кимарнешь тут...

Замполит не договорил, но и без того все мы поняли ход его мысли. Люди здорово измотались за это наступление по слякоти, было голодно-вато, патронов осталось не больше, чем на один непродолжительный бой. К утру вряд ли подойдут соседние батальоны: второй завяз под Курпяти-

ном, третьего что-то вовсе не было слышно в ночи. А где-то рядом при- таился противник — кто знает, что у него на уме?

Будто в ответ на это командир роты сказал:

— Посижу чуток и пойду во взвода. А ты, Васюков, давай дави ухо. Привыкай. Теперь у тебя новая должность — ранбольной.

У входа послышались шаги, зашуршала палатка, кто-то невидимый влез в блиндаж и затих, ослепленный тьмью.

— Кто это? — спросил Ананьев.

— Рядовой Щапа, товарищ старший лейтенант, — совсем рядом раздался знакомый шепелявый голос.

— А, Щапа! Слушай! Тебе важное боевое задание. Рванешь в Бражники с донесением. Знаешь Бражники? Ну, где нас «юнгерса» бомбили. Там разыщешь майора Сыромятникова — вручишь. Понял?

— Понял, товарищ старший лейтенант.

— Километров двенадцать. Знаю, не спал, не ел, не отдыхал. Но — надо. Встретишь старшину — направляй сюда. Скажи: я из него душу вытряхну и новую вставлю.

— Ясно.

— Если ясно, бери документ и — аллюр три креста!

Заворошилась палатка, Щапа вышел. Ананьев вольнее вытянул ноги, откинулся спиной к холодной стене блиндажа.

— Комиссар, не спишь?

— Нет, а что?

— Знаешь, вот думаю: майор, товарищ Сыромятников. Исполняющий обязанности командира полка. Дважды орденосец и так далее. Вызывает какого ваньку взводного — у того колени дрожат. А ты знаешь, год назад мы с ним в третьем батальоне ротами командовали.

— Ну и что? — сонно отозвался в темноте Гриневич. — Что тут такого: война, выдвижение.

— Да, вот именно: выдвижение. Говорят, не узнаешь друга, пока он твоим начальником не заделается. Редко кто останется прежним. А то — будто его подменят. Сначала имя твое забудет, потом на «вы» перейдет. Такая это противная штука — выковка! Терпеть не могу. Ну, если уж начальство, старший кто — оно понятно. А то я старший лейтенант и он старший лейтенант, мне двадцать восемь и ему столько же. И один другого на «вы».

— Ты это о ком? О Кузнецове?

— А хотя бы! Стал командиром батальона, и уже он меня на «вы». Сыромятников, правда, не таков. В общем, он неплохой мужик. Как-то перед наступлением в штабе вечером встретились — по чарке сорганизовали. А как же, все-таки дружки старые. То-то!

В блиндаже стало темно и тихо, послышались чьи-то шаги в траншее. Где-то рядом долбили лопатой землю — за стеной глухо отдавались ее размеренные удары. Гриневич вяло поддерживал разговор, наверно дремал. В углу напротив громко сопел немец.

Ананьев впопыхах свернул сигарку и прикурил от зажигалки.

— Прошлым летом на Волховском поиск разведчиков обеспечивали, — помолчав, сказал он. — Вот где был сабантуй! Фрицы в обороне — колючая проволока в четыре кола, комбинированное минное поле, дзоты — возьми их! А нужен «язык». Зачем нужен? Чтобы начальству знать, сидит от болота до леса сороковой гренадерский или какой другой полк. Вот и поиск разведчиков. Группа из разведроты ползет за «языком», батальон обеспечивает, отвлекает, завязывает бой и так далее. Ну и отвлекали. От роты Сыромятникова двенадцать человек осталось, у меня семнадцать. Сползлись мы с ним в воронке, головы вжали, а фриц лупит, места живого нету. Говорю ему: на какого хрена мы тут людей кладем?

«Языка» берем, отвечает, чтоб номер немецкой части установить. Ну, в ту ночь повезло: приводят «языка». Да разведчиков тоже половина под проволокой осталась. Ведут в блиндаж и первым делом за солдатскую книжку: какая часть? Оказывается, все тот же сороковой гренадерский. Чтоб ты пропал, говорю, и давай ругаться. Сыромятников молчит, только зубами скрежещет: за три ночи всех его командиров взводов положили.

— Что ж, бывает, — сонно отозвался из угла Гриневич. — На войне все бывает.

— Бывает! А то я не знаю — бывает! Не в том дело! Вон под Марьяновкой опять то же: вызывает начальник штаба, приказывает подготовить группы для захвата «языка». Есть данные, что у немцев сменилась часть. И черт с ней, говорю, пусть меняется. Экая важность, какой ее номер, все равно драться будет, в плен не пойдет. Начальник штаба как напустился: нелепые разговоры! Приказ не обсуждается — приказ исполняется. Будто я сам не знаю. Но стою, молчу. И Сыромятников этот, заместителем тогда уже стал, тоже тут и молчит. Я смотрю на него, он — на меня, думаю: вспомнит или нет? Черта с два! Будто и не было ничего. Будто и не скрипел зубами в той воронке, как шестиствольные играли. Вот как перестроился! Потому что самому уже не надо из траншеи вылезать — других посылает. В том-то все и дело.

Гриневич молчал.

— Никогда не забуду подполковника Бобранова, — вспоминал Ананьев. — Таких командиров уже мало — повывелись. Под Невелем это было, в сорок первом. Я тогда еще старшиной ходил. Дрались, помню, двое суток, в батальоне ни одного среднего командира не осталось, бойцов — горстка. Ну, я за комбата. Семь атак отбили, а на восьмой не удержались. Танками, сволочь, сбил с бугра — гранаты все вышли, артиллерия кверху колесами. Под вечер драпанули за речку, бредем, как чокнутые, ни черта не слышим, не соображаем — одурели от усталости. И тут откуда ни возьмись из леска командир корпуса, еще какое-то начальство и наш командир полка подполковник Бобранов. Комкор выхватывает пистолет: стой! Так вашу растак — расстреляю, под трибунал отдам! И к Бобранову, давай его с грязью мешать. Накричался, в «эмку» — здоровеньки булы. Думаю, теперь от командира полка еще будет. А наш Бобранов, как только комкор скрылся в лесу, спокойно так подходит ко мне. Дай, говорит, твою руку, герой! Молодцы, стойко держались. От лица службы тебе благодарность. И еще — чем бы тебя наградить? Вынимает из кармана часы, отстегивает цепочку и вручает мне. Знаешь, не выдержал я, заплакал, ей-богу!

— А где он теперь, Бобранов этот? — спросил я.

— Месяца два командиром дивизии был. Не нашей, правда, соседней. А потом я в госпиталь загремел, а вернулся, в армии его уже не было. Говорили, будто тоже по ранению выбыл. А часики те у меня, как был без сознания, санитары, сволочи, уволокли. Не сберег — всю жизнь жалеть буду. Они мне дороже ордена были.

Ананьев докурил и каблуком сапога затоптал окурочек.

— Ну, хватит болтать. Пойду пройдуся, — сказал он и, толкнув меня, встал. — Вы тут хотя не все спите. Не курорт вам.

Мы не спали — мы сидели и прислушивались. Слышно было, как он вылез и прошлепал по грязи к траншее. Как только его шаги затихли вдаль, Цветков потянулся руками к ящику, зазвякал там чем-то, наверно искал свою флягу.

Стало тихо и скучно.

Кое-как притерпевшись к боли в плече, я, кажется, начал дремать. Ощущения реального путались, размытая явь перемежалась случайными видениями прошлого, обрывками каких-то фраз, мыслей.

Снаружи в траншее кто-то все еще долбил ячейку, «тук-тук» — раздавалось за моей спиной, и постепенно в полудреме я начал воспринимать этот звук, как знакомый полузабытый стук топора в детстве.

Тем летом мы строили новую хату, вернее, строил ее отец. Стоит закрыть глаза, как явственно видишь его худощавую, в неподпоясанной рубахе, полусогнутую фигуру на срубе, корявые большие ступни, упертые в смолистые бока бревен, — отец зарубает углы. Целое лето под это «тук-тук» отцовского топора я засыпал вечером и просыпался утром на зорьке. Позже, когда приходило время завтрака и мама ласково-тихим голосом будила нас, ребятню, в клуне, стука уже не было слышно, потому что не было отца — в это время он давно уже зарабатывал трудодни в поле. Я не знал, когда отец спит, не видел его хотя бы минуту в праздности, он и курил на срубе, не выпуская из рук топора, ел стоя, накоротке, спешил, не ходил — всегда бегал, сгружал, нагружал камни, сам поднимал тяжелые бревна, пилил, бесконечно тесал.

И так все лето — без выходных и праздничных, в жару и ненастье — раненько по утрам, в полдень, до глухой темноты вечером. За жадность к работе отца даже прозвали тогда Двужильным. Но он не был двужильным — я видел, как отец уставал и как ему было трудно: просто нам нужен был дом, новая изба — старая, струхлевшая хатенка уже влезла по самые окна в землю, прогнила, не защищала от ветра, а зимой промерзала по всем четырем углам; мы, ребяташки, часто простуживались, и мама плакала, приговаривая, что эта халупа ее вгонит в гроб.

И вот отец взялся строить избу, заверив мать, что кровь из носу, а зимовать будем в новой, хватит, пожили в старой. Мать кротко улыбалась, тут же гася улыбку вздохом, — она-то знала, во что обходится всем нам эта новая изба. В тот год мы почти перестали видеть молоко (разве что простоквашу к картошке), масло, яйца, творог, остатки парсочка из кубла также ушли на базар да зимой на толоку, когда вывозили из леса бревно. А еще нужны были оконные рамы, доски на пол, кирпич для печки. Помощи нам ниоткуда ждать не приходилось. Но коль отец так сказал, то появлялась уверенность, потому что он у нас был не только двужильный, но и упрямый, прямо-таки одержимый, если хотел чего-либо добиться.

Он будто чувствовал, что ему уже не много осталось, и спешил, стараясь как можно скорей подвести под стропила наш небольшой, смолистый, полный лесных таинственных запахов дом.

До стропил оставался недорубленным один последний венец, когда отца не стало.

Месяц мы непростительно проволынили — было не до строительства, а зима надвигалась в свои извечные сроки, стоял в огороде сруб с воткнутом в угол топором — отец как воткнул его с вечера, так больше уже и не вынул. Мама погоревала, поплакала и однажды, управившись с домашними делами, забралась на сруб да обеими руками с усилием вырвала из щели топор. Было мучительно глядеть, как она тыкала там, и тогда на сруб влез я. У меня вроде получилось сноровистее, хотя, конечно, далеко не так, как у отца, и все же я дорубил не дорубленный им угол. Правда, немного зацепил острой пяткой колено, прорубив брюки.

С тех пор началась моя плотничья страда.

Самым мучительным было вставать на заре. Мать будила меня в три приема, и уже я вместо отца поднимал поутру своим стуком младших сестреноч — так каждый день до глубокой осени. Школа меня мало интересовала, учиться в седьмом классе, в общем, было несложно, куда более серьезные дела занимали меня. К вечеру, прибежав с колхозной работы, ко мне на сруб лезла мать, вдвоем мы передвигали бревно, под-

нять которое с земли помогал кто-нибудь из соседей. Когда же никого поблизости не было, приходилось поднимать вдвоем. Сначала мы клали его концом на изгородь, потом поднимали на середину сруба и в третий прием, став на скамейку, водружали конец бревна наверх. Потом таким же способом поднимали второй конец. Так дорубили и мшили, ставить стропила помог дядька Игнат, крыл соломой мамин родственник из соседней деревни. Остальное доделывали сами с матерью — это было нелегко, вечно не хватало того, другого. К зиме мы все же вошли в свой новый дом, окна в который поставили из старой хатенки, двери тоже. Пола еще не было вовсе, но печку сложил самый лучший в округе печник (с ним расплачивались потом несколько лет), и в первый же вечер, пригревшись возле ее сырого еще, пахнущего глиной бока, мама, всплакнув, сказала:

— Как-нибудь будем жить, детки.

Детство мое в то лето и кончилось — началась работа, а работающее нашей семьи вообще не было в деревне. Без отца надеяться было не на кого, кусок хлеба надо было заработать самим. В первый же год мама выгнала 430 трудодней в колхозе, я 210, Ленка и та 60. Одна лишь Наталка оставалась дома, но в ее обязанностях была корова, куры, трава, прополка грядок. Все у нас имели свои дела и свои обязанности, и хотя приходилось трудно, порой голодно и холодно, казалось, что, в общем, вполне терпимо. Ведь до войны было еще целых три года.

10

Часов у меня не было, мы не следили за временем, которого, однако, прошло немало. Я уже несколько раз начинал дремать, но прохватывался всякий раз, как только кто-нибудь заходил в блиндаж или выходил из него. Ананьев все не возвращался, и Гриневич, кажется, тоже придремнул. В блиндаже было совсем тихо, слышались все звуки извне: приглушенный кашель, редкие слова; временами кто-то прохаживался сюда-туда по траншее. Ни одно движение там не оставалось вне нашего внимания — слух даже и во сне был чуток ко всему наверху, чтобы по первому же признаку заметить тревогу.

Однако ночь вроде кончалась.

Правда, меня несколько беспокоило, почему так долго не возвращался командир роты. Что ему было делать там, если все так спокойно! Взводы окопались, и бойцы в отделениях тоже по очереди отдыхают, с сигаркой и притопом коротая непогожую ночь. Блиндаж при такой погоде — роскошь, но всем невозможно в блиндаж, к тому же он тут, кажется, один.

Наверно, я все-таки уснул и проснулся от каких-то встревоженных, не совсем понятных голосов. Подняв голову, вслушался — по траншее кто-то бежал, кого-то окликнул поблизости и стих. Но тут же на входе зашуршала палатка, человек, пригнувшись, заглянул в блиндаж:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант Гриневич!

Сонный Гриневич, наверно, чего-то не понял и отозвался не сразу.

— Товарищ лейтенант...

— Я. Что такое?

— Товарищ лейтенант! — запыхавшись, говорил боец. — Командир роты зовет.

— А что случилось?

Боец помедлил, переводя дыхание.

— Да там... Немцы шурудят.

Гриневич быстро поднялся и, споткнувшись о чьи-то ноги, вышел из блиндажа.

Сонливость моя мигом испарилась. Рядом в темноте задвигался Цветков, напротив, у стены, насторожились раненые. Я понял, что будет пыткой сидеть тут в неизвестности, и тоже встал. натянул на плечо шинель и вылез в траншею.

Снегу за ночь прибавилось, им были густо запорошены бруствер и дно траншеи, на котором проступили темные пятна грязи. Вокруг посветлело, стало дальше просматриваться поле, кустарник, бурьян на взмыжке. Над тускло-серым пространством висело сумрачное, без единой звездочки небо.

Бойцы из взвода Пилипенко, стоя в траншее, глядели куда-то в сторону. Двое грелись: устало сопя, сосредоточенно толкали друг друга плечами. Они дали пройти мне и тоже стали, вглядываясь в сумерки.

Командир роты был на середине траншеи, как раз в месте стыка позиций двух взводов. Тут же стояли Гриневиц, Пилипенко, несколько бойцов и Ванин. У ног младшего лейтенанта вертелась Пулька.

— Да не там. Левее бери. Видишь кустики, вот возле них,— показывал командир роты Гриневичу. Гриневиц, пристально вглядевшись, пожал плечами:

— Ничего не вижу.

— А ты всмотришься. Не слепой же, наверно?

К ним степенно повернулся Пилипенко, который был теперь без палатки, в шинели с зябко наставленным воротником.

— Мы гэж сперва нэ бачылы. А прыдывылися — хтось ворухится. Всим нэ можа здатыся.

Ананьев оглянулся, увидел меня и, нисколько не удивившись моему тут появлению, схватился за рукав:

— Ну-ка, глянь, Васюков. У тебя глаз-ватерпас!

Сказано это было опять дружески, будто равному. Я тщательно всмотрелся в серые сумерки, в которых слабо угадывалось вдали что-то наподобие кустарника или, может, пригорок. Но решительно ничего, что бы обнаруживало там присутствие живого, не заметил.

— Ну, видишь!

— Нет.

Ананьев нахмурился, помолчал и бросил Пилипенко:

— Тащи пулемет!

Пилипенко молча пошел по траншее и вскоре принес откуда-то РПД с примкнутым магазином. Командир роты сноровисто укрепил пулемет на бруствере.

— А ну, понаблюдайте.

Очередь обвальным грохотом разорвала ночную тишь, красноватые отблески от ствола лихорадочно затрепетали на бруствере, в траншее сыпануло горстью горячих вонючих гильз. Выждав, пока вдали смолкнет эхо, Ананьев отнял от плеча приклад и выпрямился.

— Ну что?

— А нычого,— сказал Пилипенко.— Ни гу-гу.

— Гадство! — подумав, выругался командир роты.

Ему никто не ответил. Все стояли молча, не зная, как разгадать эту тревожную загадку ночи. Тогда от бруствера повернулся Ванин, который до этого тихо стоял возле комроты в своей коротенькой волглой фуфайке.

— Дайте я схожу,— сказал он просто, будто речь шла о какой-то мелочи.— Если что — пулеметом...

— Давай! — вдруг обрадованно сказал комроты. Гриневиц возразил:

— Один? Не положено. Вдвоем надо.

Ванин оглянулся:

— Пласкунов, айда!

Низкорослый и кривоногий автоматчик Пласкунов, от холода подрагивавший сади в неподпоясанной шинели, нерешительно переступил с ноги на ногу. В одной руке он держал жестяную коробку с дисками от РПД.

— Так я это...

— Що ты? — зло гаркнул на него Пилипенко.

— Так это... Пулемет.

— Нэ втэчэ твий кулэмэт. Бэри автомат и дуй.

Ванин между тем достал из кармана гранату, точным движением вставил запал и планкой нацепил ее на ремень у пряжки.

Пласкунов все еще мялся. Вся его тщедушная фигура была воплощением тоскливой нерешительности. С трудом превозмогая ее, он снял с плеча автомат, поправил шапку и, когда Ванин, опершись коленом о край бруствера, вылез наверх, тоже начал выбираться из траншеи.

Ванин, однако, вспомнив что-то, шагнул к командиру роты:

— Подержите пока, а то...

— Нэ вэртайтесь! — крикнул Пилипенко.

Скинув через голову планшетку, младший лейтенант подал ее Ананьеву и торопливо сбежал с бруствера.

— Вэрнувся! От дурэнь, — ворчал Пилипенко.

Кто-то недоуменно спросил:

— А что, если вернулся?

— Що, що! Нэ знаешь що?

Пулька жалостливо заскулила, забегала, стараясь выскочить из траншеи. Пилипенко пнул ее сапогом: «Холера, тэбэ щэ нэ хапало!» — боец в бушлате попытался поймать собачонку, но та, взвизгнув, прощмыгнула между ног, норовя все вспрыгнуть на бруствер. Гриневич негромко прикрикнул:

— Что за псарня еще? Кочемасов!

— Я.

— Пристрелите собаку!

— Ну что вы, товарищ лейтенант! — взмолился боец. — Как можно!

Гриневич оглянулся.

— Сидорец!

— Так слипота у мэнэ курина. У траншеи нэ бачу ничога.

Замполит молча выдернул пистолет и, толкнув кого-то в траншее, протиснулся в ту сторону, где суетилась Пулька.

У меня все сжалось внутри: неужели пристрелит? Я поглядел на командира роты, но тот стоял, ничего не слыша и не видя возле себя, — все его внимание теперь было в поле, куда пошел Ванин. И вот поодаль в траншее негромко хлопнул пистолетный выстрел, Пулька завизжала, потом хлопнуло еще раз, и собачонка умолкла. Все, как прежде, неподвижно стояли возле командира роты и вглядывались в поле, по которому быстро удалялся Ванин. Он даже не обернулся на выстрелы и не подгонял заметно отстававшего Пласкунова; постепенно их силуэты сглаживались, расплывались в сером тумане, вскоре уже надо было хорошо присмотреться, чтобы различить их. А потом они и вовсе исчезли.

Мы еще постояли, ожидая выстрелов или криков, но все было тихо. Напряжение постепенно стало ослабевать, люди в траншее задвигались, кто-то присел закурить. Пилипенко справился о времени. Дольше всех в ночной полумрак всматривался Ананьев, но и он, наконец, отступил от пулемета и прислонился к тыльной стенке траншеи.

— Так... Васюков! — окликнул меня командир роты. — Забирай немца, раненых и шагом марш в санроту. До речки Цветков проводит.

Ну вот, значит, все же будем прощаться, подумал я. В общем, все это, наверно, обычно на фронте, но теперь почему-то мне стало очень невесело. Я не знал, что сказать на прощание. Наверно, почувствовав мою нерешительность, Ананьев обернулся от пулемета.

— Давай-давай! Пока тихо,— сказал он почти спокойно.

И все же я слишком хорошо знал комроты, чтобы не заметить в его тоне и голосе затаенного беспокойства. Я просто не помнил старшего лейтенанта таким угловато-резким в жестах и словах. Наверно, впервые я понял, что вовсе он не такой самоуверенно-властный, каким всегда мне казался. Это открытие неприятно поразило меня, но, внешне не выдавая того, я сказал:

— Ну что ж... Тогда до свидания.

— Да! Давай лечись.

Он коротко, почти с безразличием пожал мне руку и снова повернулся к притуманенной дали. Молча подал мне широкую кисть Пилипенко, сдержанно кивнул головой Гриневич. Затем я торопливо пожал холодные руки бойцов, молча проводивших меня подчеркнуто внимательными взглядами.

Идя назад по траншее, я вслушивался, но тревоги пока не было. Автоматчики по-прежнему сонно добивали ночь: топали, курили, некоторые же, невзирая ни на что, спали, скорчившись в три погибели в своих ячейках. Теперь, однако, все они — знакомые и незнакомые — уходили от меня в прошлое, в мое бывшее и свое будущее, но уже без меня, потому что через час я, наверно, буду далеко.

Я рванул над входом палатку и влез в блиндаж.

11

Раненые быстро поднялись, разобрали оружие, мы растормошили немца и вылезли в траншею. Обер-фельдфебель немного проспался и вроде бы протрезвел, потому что хотя и без усердия, но все же исполнял наши команды. Правда, идти ему было трудно, он почти не ступал на раненую ногу и прыгал на одной, перебирая по стенам руками.

Между тем начинало светать.

Небо прояснилось, на востоке стал виден край леса над пригорком, где была дорога,— из серых сумерек медленно выплывал оснеженный, неуютный простор. Было ветрено, холодно, снег, однако, не шел. Похоже, будто чуть-чуть подмораживало.

Мы немного прошли по траншее, дальше надо было вылезать наверх. Цветков первым вскочил на бруствер и подал мне руку. Затем выбрался автоматчик с перевязанной головой. Вдвоем они вытащили другого автоматчика и протянули руки немцу.

Обер-фельдфебель нерешительно посмотрел снизу вверх: вряд ли он понимал, куда его веди, наверно, думал — расстреливать, и только сейчас начинал кое о чем догадываться.

— Ну, что лыпалы выкатил? Давай руку!

Он протянул руку, втроем мы с усилием выволокли его на бруствер. Но тут оказалось, что он совсем не может идти и сразу же опустился наземь. Вдобавок ночью кто-то стащил его шинель, немец мелко дрожал от холода в своем кургузом мундирчике. Цветков выругался.

— Как же его вести? Подвода нужна.

— Может, лопату поискать? — сказал я.— Вместо костыля.

Однако меня не поддержали — понятно, возвращаться в траншею никому не хотелось: рассвет вынуждал торопиться. Даль на западе больше, чем ночью, зловеще чернела от нависшего над ней мрака.

— Разве Ананьев не до санроты меня посылал? — вдруг настороженно спросил Цветков.

— Только до речки.

— А от речки вы как? Вот с этим?

— Как-нибудь.

Цветков с раздражением рванул за рукав немца:

— А ну, встать!

Пленный встал, санинструктор взял его под руку. Мы сошли с бруствера и по скользкому от снега травянистому склону направились к мостку вниз.

Цветков довольно бесцеремонно волок немца, тот, часто падая на свободную руку, едва успевал за ним. Втроем мы обогнали их, скользя по пересыпанной снегом траве, сошли к речке и все по тем же балкам разрушенного мостка перебрались на другой берег. Дальше надо было дожидаться Цветкова, чтобы взять у него обер-фельдфебеля, и я придержал ребят, которые с заметной поспешностью стремились в тыл.

Однако провести одноногого человека по бревну было не просто, во всяком случае Цветков на это не отважился. Подойдя к мостку, он нерешительно остановился, посмотрел в мутный водяной поток, шумно бурлящий между мокрых, оснеженных берегов.

— Ну что? — спросил я.

— Не пройти. Какая тут глубина?

Черт ее знает, какая тут была глубина, но я вспомнил, что ночью некоторые из автоматчиков где-то переходили вброд.

— Давай, не утонешь!

— Что давай? Иди помоги!

Лезть в воду совсем не хотелось, в сапогах и без того давно уже было мокро. И все же одной рукой я подобрал полы шинели и вошел в реку. К счастью, здесь оказалось неглубоко, я быстро перебежал поток, и мы вдвоем взяли немца. Обер-фельдфебель тотчас повис на наших руках, мы с усилием приподняли его довольно-таки тяжеловатое тело, в воде он раза два прыгнул на здоровой ноге и благополучно очутился на другой стороне.

— Гадская работа! — поморщился Цветков. — В сапогах полно воды.

В сапогах, понятное дело, здорово чавкало, ноги начали стыть, надо было скорее идти, чтобы согреться, но Цветков не отпустил от себя немца.

— Вдвоем поведем.

— А в роту не вернешься? — спросил я.

Уже стало светло даже вдали. Я хорошо видел посеревшее от бессонницы лицо Цветкова, который слегка поморщился и, наверно, больше, чтобы успокоить самого себя, объяснил:

— Санинструктору полагается сопровождать раненых до санроты. Так что...

Он не окончил фразу, однако смысл ее был и без того ясен. Мы молча пошли по дороге, которая тут пролегалла по довольно высокой насыпи. В общем, налицо было нарушение приказа командира роты, но мое ли дело указывать на то сержанту? Я передал ему все, что сказал Ананьев, а там пусть решает сам. Впрочем, может, это даже и лучше, что он с нами: все время тащить на себе немца — дело не слишком приятное, а так, наверно, мы сможем меняться. Все-таки в нашем положении здоровый человек стоил нескольких раненых.

Немец при каждом прыжке сильно шлепал по грязи подошвою, мне было неудобно держать его одной рукой, к тому же мешал автомат на правом плече, и я уже хотел позвать на смену автоматчика с за-

бинтованной головой. В то время, занятые своими заботами, мы почти забыли о том, что все еще висело над ротой и нами. Перейдя речку, мы почувствовали облегчение, словно недавняя опасность осталась далеко позади. И именно в этот момент на высоте что-то случилось.

Я не успел даже сообразить, что донеслось до нас в первое мгновение — только, наверно, не выстрел и не взрыв, похоже, это был и не крик. Тем не менее что-то ошеломляюще-неожиданное обрушилось на нас с такой угрожающей силой, что у меня подкосились колени. Я почувствовал еще, как в моей руке встрепенулся немец — стремительно вывернувшись, он оглянулся, и я уловил на его лице коротенький отблеск радости. Но в этот момент пронзительно затрещали автоматы, послышались крики, несколько одновременных гранатных взрывов окончательно разогнали ночную тишь.

По фронтовой привычке мы торопливо соскользнули с насыпи и попадали на ее кособокий мокрый откос. Ниже была грязь, канава, но высокая насыпь укрывала нас: пули с высоты сюда не залетали.

И тогда вдруг меня охватил страх — не за себя (по нас, сдается, еще и не стреляли), за роту. Я выглянул из-за насыпи — на склонах высоты никого не было, но на самой ее верхушке, еще затянутой утренней дымкой, уже улавливалось какое-то движение, пыль, блеск выстрелов — по всей видимости, там разгоралась ожесточенная схватка. Когда я опять спрятал голову и оглянулся, то оказалось, что рядом со мной один только немец. Остальные, и с ними Цветков, пригнувшись, перебежали за насыпью дальше, вдоль дороги, вверх на пригорок.

Сначала я не понял, куда они, но скоро все стало ясно, и я неожиданно для себя закричал во все горло:

— Стой! Назад!

Цветков приостановился, оглянулся, я увидел его расширенные глаза на испуганном лице. Сержант явно чего-то не понимал, и я снова закричал:

— Назад!

Я вовсе не думал о том, какой смысл возвращать раненых к речке, но всем своим существом чувствовал, что в роте беда и что именно потому мы не должны удирать. Однако чем мы могли помочь ей — этого я не знал.

Двое раненых поняли мою команду по-своему и залегли на откосе, а Цветков после минутного колебания, пригнувшись, подбежал к немцу:

— Встать!

Он дернул пленного за мундир, однако тот отшатнулся, что-то залепетал, замахал руками и не встал. Цветков пнул его сапогом и схватился за автомат:

— Встать, падла! Фашистская морда!

Непонятно, зачем было вставать — разве чтобы удирать отсюда, — но этого я уж не позволил бы. Да и немец, почуяв что-то, вдруг будто переменялся, выражение его упрямого лица стало жестким и непослушным, он явно не хотел подчиниться сержанту.

— Брось! — крикнул я санинструктору. — Иди сюда!

Цветков уныло глянул в ту сторону, где лежали двое остальных, и неохотно полез по скосу ко мне. Он еще не успел опуститься рядом, как о дорогу ударили пули — ворот мне залепило грязью, оба мы сунулись головами в мокрядь. В тот же момент на высоте произошло что-то еще. Выглянув над дорогой, наверно, я вскрикнул, потому что Цветков тоже торопливо высунулся из-за насыпи — по склону от высоты вниз, перегоняя друг друга, беспорядочно бежали автоматчики.

Это казалось почти невероятным, но я не мог не верить своим глазам. Сначала взвод Пилипенко, а затем и вся рота выскочила из траншеи

и враспынную по склону помчалась к реке. Несколько человек уже упали, кто-то сзади пытался подняться — повозился и затих на снегу. Некоторые, коротко припадая на колени, торопливо отстреливались одной-двумя очередями. Другие тем временем мчались вниз, да так, что дай только бог ноги. Рота рассыпалась по склону, грохали взрывы гранат; над высотой выло и трещало.

Минуту я не в состоянии был сообразить, что случилось; немцев вроде еще не было видно, но, судя по всему, ударили они куда как умело.

Передние из автоматчиков уже приближались к мостку, другие забирали в сторону кустарника на болоте. Несколько человек с ходу, почти не задерживаясь, сунулись в воду, и тогда сзади, вдобавок к автоматному огню, ударил пулемет. Наверно, с ночи приготовленные трассирующие огненными молниями стеганули наискосок по склону, пули рикошетом метнулись от земли в небо. У мостка кто-то упал, кто-то, наверно раненый, пронзительно завопил в отчаянии, но тут же этот его вопль и заглох в стоголосом грохоте боя.

Но вот сквозь визг пуль и треск очередей приглушенно, как неведомо из какой дали, донесся из-за речки знакомый надсадный крик. Я сразу узнал его и встрепенулся — он подавал краешек надежды, более того — он спасал. Я бросился навстречу роте к мостку.

— Стой! Стой! Стой, такую твою...

Вскоре я увидел его — без шапки, в распахнутой шинели, с пистолетом в руках Ананьев метался между бойцами по склону, пытаясь задержать беглецов и одновременно догнать передних, чтобы с ними остановить всю роту.

— Стой! Стой!..

— Стой! — не своим от ожесточения голосом заревел и я, подбегая к мостку.

По бревнам его на меня уже мчались двое бойцов, вид их был довольно растерянный. Однако я уже понимал, что от них требовать, и знал, как одолеть их страх. Страшным голосом выругавшись, я одной рукой затряс автоматом, и бойцы, кажется, что-то поняли. Метнувшись от близких ударов пуль, они торопливо скрылись за насыпью. Туда же бегом кинулись те, что вылезли из речки. С их мокрых шинелей ручьями лилась вода.

Два пулемета на высоте, захлебываясь, извергали потоки пуль. Очереди, каждая третья пуля в которых была трассирующей, жалили землю, снег, воду в реке, брызгали снегом и грязью.

12

Ананьев выскочил из речушки едва не последним — грязный, мокрый, с зажатым в руке пистолетом, затвор которого застопорился в заднем положении, выдвинув вперед тонкий вороненый ствол. Пулеметная очередь обдала ротного брызгами грязного снега, но он даже не уклонился от нее — одним махом взлетел на обмежек, и я подался ему навстречу. Командир роты, однако, не взглянул на меня, будто не узнал. Впрочем, с первого взгляда я тоже едва узнал его такое, еще никогда не виданное мною, темное, искаженное гневом лицо. По щекам его стекал пот. Грудь и живот старшего лейтенанта были в грязи, шинель сбоку распорота. Он подбежал к насыпи и, увидев тут бойцов, что беспорядочно залегли на откосе, с ожесточением закричал:

— В цепь! В цепь!!

Его тут же послушались, несколько человек поднялись и, пригнувшись, отбежали, чтобы залечь пореже. Несколько не укрываясь от пуль,

которые взывали вверху, Ананьев проследил за бойцами, затем оглянулся в другую сторону и крикнул:

— Васюков!

Кажется, только сейчас он заметил меня и окликнул так привычно и буднично, как это делал вчера или когда-нибудь еще, когда не было ни этой беды, ни моего такого некстати теперь ранения. Как всегда, я без слов вскочил с откоса и, сиганув через лужу, бросился по обмезжку. Там за кустиками над болотцем, где был взвод Пилипенко, еще продолжалось беспорядочное движение, некоторые из бойцов залегли над речушкой, а человек пять бежали по косогору в тыл на пригорок. Пулемет с высоты теперь бил туда.

— Всех — в цепь!

Я не оглянулся, но я слышал его приказ и мчался короткими перебежками, то и дело плюхаясь в мягкий подтаявший снег и через десять секунд вскакивая снова. Сначала с высоты по мне не стреляли, затем, наверно, все же обратили внимание на одинокого беглеца, и пулемет с рассеиванием в глубину сыпанул горстью пуль. Одна из них хлестко щелкнула под руками, что-то светловатое мелькнуло внизу, я с маху упал и сжался на пересыпанной снегом стерне. Падая, наверно, сдвинул повязку, плечо остро заболело; стиснув зубы, я минуту мычал, едва преодолевая боль. Между тем очередь метнулась к насыпи, надо было бежать дальше, и я схватил автомат, приклад которого оказался расколотым. Протирка и ершик, выпав из отбитого затыльника, валялись невдалеке в снегу.

Однако пилипенковцы были уже близко, еще один бросок — и я укрылся за ольшаником, который хотя и не защищал от пуль, но все же прикрывал от вражеских глаз с высоты. Крайние в цепи автоматчики, распозншись по обмезжку, начинали окапываться, я подбежал и растянулся возле одного из них, что невозмутимо лежал, широко раскинув ноги. Кажется, он что-то жевал.

— Где Пилипенко?

Боец молча кивнул в сторону и натянул на затылок ворот шинели. Окапываться почему-то он не собирался.

— У вас что — нет лопаты? — спросил я. Автоматчик молча двинул бедром, у которого торчал черенок пехотинской лопатки.

— Окапывайтесь скорее!

Перестав жевать и повернув в сторону худое, тронутое серой щетиной лицо, он окинул меня равнодушным взглядом:

— А зачем?

— Как зачем? Чтобы уцелеть!

— Дурной ты, гляжу! — вдруг с нескрываемым презрением сказал автоматчик. — Долго ты думаешь тут уцелеть? До обеда? Или, может, до вечера?

Самое нелепое заключалось в том, что, в общем, он был прав, неправ был я. Я понял это в ту же минуту, хотя такое открытие, разумеется, не принесло мне радости, и чтобы задушить в себе неожиданную досаду, я рванул от бойца подальше.

Пригибаясь за голым, местами довольно-таки густоватым кустарником, я побежал вдоль цепи и вскоре вместо Пилипенко в какой-то впадине наткнулся на лейтенанта Гриневича. Замполит был ранен и, откинувшись на локте, со страдальческим видом лежал на боку. Брюки его были сдвинуты к коленям, незнакомый боец в телогрейке, склонившись над лейтенантом, поспешно и неумело бинтовал ему бедро. Руки бойца плохо слушались, бинт закручивался, и Гриневич раздраженно прикрикивал:

— Да сильнее ты затягивай! Не бойся!

— Сейчас, сейчас!..

Я вбежал в ямку и опустился рядом.

— Что — здорово?

Боец не ответил, лейтенант коротко из-под каски взглянул на меня и поморщился. С виду, однако, он был не так плох, как мне показалось вначале, только, как и все, был грязный и загнанно, устало дышал. Я подумал, что рана у него, пожалуй, не трудная. Действительно, вместо ответа он вдруг довольно бодро спросил:

— Где командир роты?

— Там, возле мостка.

— Сволочи! — поморщился замполит. — Что натворили! Дразнили с одного бока, а ударили с другого.

— Командир роты приказал: всем в цепь! — сказал я.

Гриневич приподнялся на локте:

— Беги, передай Пилипенке. И чтоб ни шагу назад! А то на склоне положит всех.

Я было поднялся бежать, как увидел поодаль старшину — громко ругаясь, тот гнал в цепь трех бойцов, которых вернул, наверно, от самого пригорка.

— Гэть! Гэть вашу мать! Я вам покажу тикаты!

Наши в цепи не стреляли, погода прекратили огонь и немцы — наверно, бить было не по кому или уже стало далековато даже для пулеметов. Пилипенко устало пробежал еще немного, пока от немцев его не заслонил кустарник, затем по вземжку свернул в нашу сторону.

Я опустился на мокрую полу шинели.

Однако не успел старшина добежать до нашей впадины-ямки, как с другой стороны послышалось торопливое чваканье ног, все оглянулись — решительной походкой сюда направлялся Ананьев. Он по-прежнему был без фуражки, в наспех застегнутой на пару крючков шинели, сбоку которой непривычно болталась знакомая планшетка Ванина. Увидев ее, я понял, что младшего лейтенанта нет. Командир роты вдруг остановился над ямкой, будто неожиданно для себя наткнулся на нас.

— Ну! — произнес он тоном, от которого у нас похолодело внутри. — Что расселись? Что расселись, так вашу растак! Бегите дальше! Драпайте!

Он устоял в какую-то неизвестную нам точку у ног замполита и стоял так, вызываясь грозно возвышаясь над всеми. Гриневич, автоматчик, который, перевязав замполита, без дела ерзал внизу, и потный, усталый Пилипенко, что на беду как раз сунулся сюда, — все молчали. Старшина часто дышал, шморгал простуженным носом, не решаясь высморкаться и, может быть, сознавая какую-то свою вину перед ротным.

— Почему драпанули? Драпанули почему? Я вас спрашиваю, старшина Пилипенко!

— Так цэ ж... обкружали, — неуверенно начал Пилипенко и замолчал. Вскоре, однако, он уже решительнее выпалил: — А хибя мои одны драпанулы?

— Ах, не твои одни! — подхватил Ананьев. — Оправдался! Выкрутился, как... Не его одни! И Ванина тоже — это ты хотел сказать?! Но Ванин на высоте остался, а ты тут! На какого же хрена тогда ты тут нужен!

Ананьев зло, раздраженно кричал. Таким я давно уже не видел моего ротного и чувствовал тут себя неловко до крайности. Я то вскакивал, то садился — хотелось куда-нибудь убежать от этого его гнева, хотя ни в чем не чувствовал себя виноватым.

Гриневич тоже неловко застыл на боку, попытался было что-то сказать, но Ананьев никому не давал вымолвить слова. Наконец замполит вставил:

— Что материться без толку? Окапываться надо.

— Материться? — грозно сказал Ананьев. — Мало материться! Надо высоту вернуть! Поняли?

Гриневич с непроницаемой сосредоточенностью на темном, тронутым гримасой боли лице сказал:

— Вряд ли вернешь!

Впрочем, Ананьев и сам, наверно, не был уверен в своих словах, потому что не ответил и, минуто помедлив, сунул пистолет в кабур. Рота уже вся залегла двумя группами, на этой стороне речки не было заметно никакого движения, но позиция была тут более чем неудачная: все подходы с тыла находились на виду у немцев.

— А теперь что ж! — сказал командир роты, поворачиваясь лицом к высоте. — Получается, Ананьев — трепач! Донес про высоту, а сам в болоте сидит!

— Я же говорил вчера! — напомнил Гриневич. — Не надо было лезть. Пусть бы сидели, черт с ними. Приказа на атаку не было, зачем было выпендриваться!

— Ты мне про атаку не дуди! — снова загорячился Ананьев. — Атака первый сорт. А вот сегодня обос..... я! — закричал командир роты и повернулся к унылому Пилипенко. — Я же приказал тебе остановить взвод! Какого же ты черта сам кинулся за всеми?

— Так биглы ж!

— Видели его: биглы! И ты побежал! Ну, тогда и бегай! Рядовым бегай! Я снимаю тебя со взвода! Понял?

— Знимайтэ, — покорно сказал старшина, пожимая плечами. Затем, как-то враз приняв независимый вид, стянул шапку и ее подкладкой вытер с лица пот. — Така минн беда! Тьфу!

— Тебе стадом овец командовать, а не взводом! Тюфяк!

— Та хто е.

Пулеметчик с высоты, кажется, что-то заметил на этой стороне и длинной очередью запустил через кустарник. Две пули щелкнули на краю ямы, пырснув в небо черной землей. Ананьев, однако, не двинулся и по-прежнему грозно стоял над нами.

— Гриневич, командуйте взводом! Всем окопаться и не спускать глаз с противника.

— Лейтенант ранен, — сказал я.

— Что?

— Ничего страшного, — махнул рукой Гриневич. С излишней поспешностью он вскочил на раненую ногу, но тут же поморщился и снова опустился на землю. Ананьев видел все это, но не сказал ни слова — круто повернулся и стремительно зашагал к дороге.

Я выбрался из ямы и побежал следом.

Заняв свои окопы, немцы совершенно затихли на высоте, будто все остальное их не касалось. По нас они не стреляли. Ананьев сначала бежал, а потом просто пошел скорым шагом. Я догнал ротного и, то и дело поглядывая на высоту, шел сзади. Нас легко было подстрелить тут, но Ананьев не бежал, бежать же мне одному не подобало перед командиром роты. Так мы и шли по почти открытому полю при абсолютной тишине с обеих сторон.

Признаться, меня это удивляло, я подумал: не замышляют ли они что-нибудь? Но, кажется, для этого было уже поздно: мы миновали совершенно открытое болотце, рукой подать была насыпь у моста. И тогда на месте, где мы недавно сидели с пленным, я увидел Щапу. Видно было, автоматчик ожидал командира роты, у его ног лежал автомат и чем-то туго набитый вещевой мешок.

Ананьев тоже увидел его, но ничем не обнаружил своей заинтересованности — изредка поглядывая на высоту, дошел до насыпи, перепрыгнул лужу в канаве и по откосу взобрался к бровке дороги.

Щапа повернулся к командиру роты:

— Ваше приказание выполнил, товарищ старший лейтенант.

Ананьев молча опустил на откос и, высунув голову, впервые сосредоточенно осмотрел склоны высоты.

— Там второй батальон разворачивается.— Щапа показал в сторону бугра за дорогой.

В ветреном небе густо плыли сизые, набрякшие стужей тучи, было промозгло и холодно, но снег больше не шел. Тот, что остался с ночи, медленно таял в траве. На дороге, на склонах высоты его уже осталось немного: полоса зяби за речкой грязно чернела раскисшими бороздами. В нескольких местах на склоне видны были трупы убитых — серые неподвижные бугорки шинелей между истоптанных снежных пятен.

— Где старшина? — спросил Ананьев.

— А там, за бугром,— подхватив вещмешок и подвигаясь с ним выше, сказал Щапа.— Повозка сломалась. Вот тут перекусить пока что.

Старший лейтенант покосился на мокрый вещмешок в его руках.

— Он что — вещмешком думает роту накормить?

— Да это пока что. Для вас.

Боец торопливо развязал ляжки, достал три сухаря, банку консервов и флягу. Ананьев протянул руку и первым делом сгреб флягу.

— Дай сухаря.

Щапа с услужливой поспешностью выбрал сухарь побольше, но старший лейтенант разломал его пополам. Боец с недоумением взглянул на командира роты.

— Остальное разделишь на всех. Понял?

— Что делить, товарищ старший лейтенант?

— Что есть.

Лежа на боку, казалось совершенно безучастный ко всему, Ананьев отвинтил флягу и, вскинув ее, отпил несколько глотков. С виду комроты становился спокойнее, грубоватое лицо его приобретало привычное выражение ровной суровой властности.

Бойцы на откосе усердно окапывались, изредка бросая любопытствующие взгляды в сторону командира роты, Щапы и меня тоже, будто я знал что-нибудь, неизвестное им. Но из того, что произошло утром, я знал даже меньше них. До сих пор невозможно было понять, как все это случилось, кто виноват и что роте уготовано дальше. Правда, тут был Ананьев, только он молчал, и я не решался заговорить с ним.

Конечно, это была неудача, которая, впрочем, настигала нас не впервые. Было даже и похуже, особенно в смысле потерь. Но и теперь нас стало уж очень немного: взводные цепочки казались чересчур коротенькими — десятка полтора автоматчиков лежало за кустарником да столько же возле насыпи. К тому же тут находились и раненые, которым предстояло отправиться из роты. Сколько же останется тогда? — думал я.

О том же, наверно, думал и командир роты, который, грызя сухарь, уныло оглядывал свои боевые порядки.

— От тебе и рота! — сказал он.— Докомандовались...

— А что, и Зайцева нет? — осторожно спросил я.

Ананьев не ответил и даже не взглянул на меня — он снова вперил взгляд в высоту, будто ждал кого-то оттуда.

Но ждать было некого: мертвые не возвращались. Жаль было многих ребят, и особенно Ванина, его помкомвзвода Закирова, да и Зайцева тоже. Впрочем, к Зайцеву я относился более сложно. Конечно, я не хотел новому ординарцу плохого, парень он был хороший, но все же я невольно чувствовал удовлетворение оттого, что возле командира роты опять я.

Ананьев сжевал остатки сухаря и с какой-то уже новой мыслью осмотрел взвод:

— Так, где Цветков?

— Вон Куркова перевязывает, — сказал Щапа.

— Передай: пусть собирает раненых, этого цуцка, — ротный кивнул на немца, который, съездившись, уныло сидел в мундирчике под насыпью, — и по канаве — в тыл.

Щапа, пригнувшись, помчался по откосу, а я в который уже раз ощутил щемящую пустоту внутри оттого, что вот-вот, наверное, и для меня все кончится. Конечно, в медсанбате хуже не будет, в некотором отношении медсанбат даже казался заманчивым, но вот беда — он был где-то далеко, в неизвестности, во всяком случае вне роты. А все, что не было моей ротой, давно уже казалось мне ненужным, постылым.

Я вопросительно взглянул на Ананьева, но тот, плотно сомкнув челюсти, не заметил этого взгляда или, может, ушел от него. Пока он молчал, кажется, он вообще не думал обо мне — совершенно очевидно, его занимало другое. Лежа на откосе, он все поглядывал то на высоту, то в сторону, куда недавно показывал Щапа и куда в самом деле подходили наши батальоны. Несколько раз — слышно было — там простучал «максим», бахнули винтовки. Однажды ветер донес крик, наверно, команду; правда, отсюда, из ложбины, еще ничего не было видно. И все же близкое присутствие своих успокаивало, несло какую-то уверенность, что скверного больше не случится.

Полежав так, Ананьев сполз ниже, сидя подтянул на шинели ремень. Возможно, от выпитой водки его потемневшее, небритое лицо оживилось, взгляд стал спокойнее. Минуту спустя Ананьев вскочил на ноги и сбежал по откосу. Я, как это делал всегда, подхватил свой автомат с разбитым прикладом и подался следом. Но я немного замешкался с одной рукой — плечо все же болело, — не успел еще сбежать вниз, как откуда-то издали долетел крик. Что-то похожее на протяжное «эй!» послышалось вдали и исчезло.

— Товарищ старший лейтенант! — вдруг вскрикнул автоматчик на откосе. Застыв с лопаткой в руках, он выглядывал над дорогой, и в его голосе сквозила тревога. Комроты остановился.

— Что такое?

— Гляньте.

То, что заметил автоматчик, кажется, было уже видно всем на откосе; бойцы встревоженно замерли в своих окопчиках, никто не промолвил ни слова. Ананьев выждал, затем будто смекнул что-то, в несколько прыжков одолел насыпь. Я тоже быстренько взбежал по откосу и лег на бок недалеко от ротного.

С высоты опять донеслось далекое, явно не нашенское «ге-эй!», и на склоне у верхней границы зяблевого участка мы увидели двоих. Они не спеша шли вниз — один почти вплоты за другим. Задний при этом широко махал руками, судя по всему — подавал знак, чтоб не стреляли.

— Ге-эй! Нихт шиссен! Никс стгаляй!

Конечно, это были немцы, и мы все на насыпи застыли в немом удивлении, видя и не веря своим глазам. Но те и в самом деле шли к нам.

Вот только какие-то странные это были немцы. Хорошо взглядевшись, я перво-наперво заметил, что одеты они неодинаково: заднего трудно было рассмотреть, а на переднем была очень похожая на нашу серая, коротковатая, без пуговиц и без ремня шинелька. Да и шапка на нем тоже оказалась наша — зимняя, с растопыренными в стороны клапанамии. И тут меня вдруг будто что-то толкнуло: четко и уверенно, хотя еще и не видя его лица, я понял, что это...

— Чумак!

Я и сам удивился своему открытию и, наверно, удивил командира роты, который, однако, медленно приподнялся, став на колени. Двое на склоне не спеша сошли вдоль пахотной полосы чуть ниже и остановились. И тогда уже всей роте стало видно, что меж подтаявших пятен снега, уронив голову и виновато ссутулясь, в своей обвисшей, помятой шинельке стоял наш Чумак. Вплотную за его спиной, явно хоронясь, подавал знаки немец с автоматом на груди, в каске, с круглой противогазной коробкой на боку.

Как только они остановились, немец что-то прокричал через Чумакково плечо, но мы не поняли ни одного слова. Я взглянул на Ананьева, тот — в напряженной позе, стоя на коленях, — тоже, видно, не мог взять в толк, что там происходит.

— Шнейдер! — встрепенулся Ананьев, когда немец крикнул еще. — Где Шнейдер? Шнейдера сюда! Пулей!

Это уж относилось ко мне. Я вскочил на откосе, но Шнейдер был во взводе Пилипенко, и мне очень не хотелось снова бежать туда. Однако пилипенковцы тоже увидели двоих на склоне и, повставав в своих окопчиках, глядели на высоту. Тогда я крикнул:

— Шнейдер! Шнейдера сюда!

Там услышали, кто-то повторил команду, и я подался к командиру роты. Ананьев, совершенно пренебрегая опасностью, почти до пояса высунулся из-за насыпи.

С виноватой покорностью во всем своем неказистом облике между нами и немцами стоял наш автоматчик Чумак. Показалось сперва, что он будет говорить что-то, может, агитировать сдаваться в плен: такое уже как-то случалось и теперь не удивило бы нас. Но он молчал. Тогда стало казаться, что он намерился честно погибнуть, чтобы не оказать подлой услуги немцам, и это вызывало к нему сочувствие. Но шло время, и оба они неподвижно и молча стояли на склоне. Немец так плотно жался к Чумаковой спине, что выстрелить в него, не рискуя попасть в Чумака, было невозможно. Автоматчики в цепи загалдели, каждый по-своему понимая суть происшедшего:

— От гад! Предатель!

— Какой предатель? Влип он.

— Да тикать надо! Растяпа!..

— Где Шнейдер? — рявкнул, оборачиваясь ко мне, Ананьев.

Но Шнейдер уже бежал. Только этот длинный, нескладный человек просто, видать, не умел спешить. Бег его скорее напоминал ленивую ходьбу с прискоком — сгорбившись, он то вяло трусил, то путано сигал по мокрому полю.

— Бегом! — крикнул с насыпи командир роты.

Шнейдер наконец одолел открытое болотце, перескочил через лужу воды в канаве и с какой-то неуклюжей развалкой полез на откос. Ротный несколько мягче сказал:

— Что он кричит! А ну, послушай.

Шнейдер криво передернул губами.

— Что слушать! Того фрица выменивает.

Ананьев сполз ниже, а затем и вовсе отвернулся от высоты. Шнейдер взобрался наверх и, не зная, чем заняться, опустил на одно колено, оставив в сторону длинную, в стеганых брюках ногу. Кирзовое голенище его сапога было рвано распорото чем-то, похоже осколком.

Настала трудная пауза. Ребята в цепи притихли. Ниже под насыпью напряженно застыл пленный обер-фельдфебель, над которым в выжидательной позе стоял сержант Цветков.

Вдоль канавы к нам бежал Шапа.

Не зная, что и думать, я снова взглянул на склон, испытывая невольную жалость к этому невезучему Чумаку. И надо же было ему влипнуть в такое положение! Он и сам, видно, понимал это и терпеливо стоял, с виду совершенно безразличный к своей участи, напуганный, растерянный.

В цепи, перебивая друг друга, галдели:

— За Чумака — такого фрица? Нема дурных.

— Так что ж, Чумаку погибать?

— Тикать надо.

— Гляди, утикешь, когда на мушке держат.

— С пулемета тогда обоих. Все одно...

Ананьев то садился, то вскакивал и все время ругался. Но все же на что-то надо было решиться. После минутного колебания комроты снова обернулся к высоте.

— Пулемет ко мне! — приказал он.

— Пулемет — к командиру роты! — передал по цепи Шапа, и тут же под насыпью появился маленький узкоглазый Батурбаев с заряженным РПД в руках. Подбежав, он взобрался на откос, и Ананьев с безучастным, каменным видом выждал, пока тот укреплял перед ним на бровке пулемет. Наконец Батурбаев щелкнул затвором, определяюще взглянув на высоту, подвинул хомутик прицела, планка которого круто поднялась вверх — до цели оказалось довольно далеко. Пулемет был готов, боец отстранился, уступая место командиру роты. Автоматчики умолкли.

Вдруг Ананьев закричал:

— Ты что мне его суешь? Сам не умеешь?

Батурбаев сконфуженно переморгнул узенькими щелочками глаз.

— Умею, товарищ командир. Почему не умею?

— Умеешь! — передразнил комроты, вытягиваясь за пулеметом. Он полежал недолго, будто даже прицелился, и опять встал, опершись об откос. Пальцы на его широкой руке едва заметно подрагивали. — А он исправный?

— А как же! Исправный, товарищ командир.

— Где же он, к черту, исправный! — закричал Ананьев. — Он грязью забит!

Батурбаев виновато скovyрнул с приклада присохший комочек грязи.

— Убирай к чертовой матери свой драндулет! — прокричал Ананьев и отвернулся. Батурбаев с готовностью подхватил пулемет и сбежал вниз к канаве.

Слава богу, пронеслось в мозгу, хотя неисправность пулемета вряд ли что меняла в положении Чумака, который по-прежнему оставался на краю гибели, разве что теперь не от своей пули. Там, на склоне, прождав, видно, положенное время и не получив ответа, немец-конвоир стал пятиться назад, как и раньше, прикрываясь Чумаком. Еще минута — и они отдалятся настолько, что будут уже вне досягаемости нашего огня.

Ананьев, мучительно что-то решив, вскочил на ноги.

— Цветков, давай фрица!

Цветков послушно подтолкнул фельдфебеля, тот несмело еще поднялся и с готовностью запрыгал на одной ноге, падая рукой на откос. Ананьев повернулся к переводчику:

— Шнейдер, отвести! Разменять и с Чумаком назад!

Что-то похожее на вздох облегчения пронеслось над дорогой, и хотя многое еще было не ясно и не решено, тем не менее появилось ощущение, что главное в этом деле принимало благополучный оборот.

Шнейдер, однако, отреагировал на приказ почти неожиданно. Не сдвинувшись с места, он вдруг побледнел, но не от страха — от страха бледнеют иначе. В темных глазах автоматчика что-то вспыхнуло и погасло, он ступил по скосу ниже и тихо, но отчетливо сказал:

— Я не пойду!

— Что?

— Не пойду. Что хотите — не пойду!

— Это почему?

— Он меня оскорбил. Я не могу.

— Ах, не могу. Растакую вашу, белоручки проклятые! А я могу?

Комроты угрожающе двинулся к автоматчику, показалось — ударит, но не ударил — в последнее мгновение круто повернул в сторону.

— Щапа!

— Я.

— Отвести немца! — приказал Ананьев.

Щапа с готовностью дернул затвор автомата и подскочил к пленному:

— Марш!

— Да не марш! Бери под руку и валяй! И не трусь! Пулемет сюда!

Батурбаев, взбежав на откос, опять укрепил пулемет, за который, решительно отклонив пулеметчика, опять лег комроты. Щапа, подхватив немца под руку, взволновал его на дорожную насыпь.

14

Однако пулемет не понадобился. Через пятнадцать минут живой и даже повеселевший Щапа привел Чумака, который, сойдя с насыпи, стал у канавы, ни на кого не взглянув ни разу. Зато на него теперь смотрела вся рота. Ребята, забыв о своих недокопанных окопчиках, и даже, казалось, утратив всякий интерес к вещмешку с сухарями и консервами, все, как на чудо, с недоумением и любопытством глядели на бедолагу-автоматчика.

Ананьев, набычив взъерошенную голову, зверовато проследил исподлобья за его неуверенной, шаткой походкой и, как только Чумака остановился, медленно поднялся на откосе.

— Ну! — сказал командир роты, и все разом умолкли. — Ну, пленничек! Почему не застрелился?

Чумака, наверно впервые, поднял свой взгляд и как-то искоса, испуганно и жалостливо посмотрел на командира роты.

— Почему не убег? Почему врагу сдался? Отвечай, я спрашиваю! Проспал?

— Проспал, — простодушно подтвердил Чумака и вздохнул.

— Ах, проспал? А автомат где?

Чумака туловищем обернулся к высоте в своей коротенькой, неподпоясанной, почему-то без хлястика шинелишке и ткнул в пространство прокуренным, заскорузлым пальцем:

— Там.

Это его простодушие, в иных условиях способное рассмешить, теперь еще больше озлило ротного.

— Там? Гляди ты — помни! Тебя же расстрелять, дурака, надо! Ты же предатель! Ты врагу сдался. И оружие сдал. Ну?

Чумак только трудно, виновато вздохнул.

— Ах ты, размазня! Стрелять надо было! Обороняться! Автоматом, лопаткой, зубами грызть им глотки! А ты?

Автомат, конечно, у него отобрали; чтобы отбиваться лопаткой, надо было несколько больше ловкости, чем у Чумака. И вдруг я припомнил гранату, которую отдал ему ночью.

— А граната?

Чумак, будто глухой, недоуменно поморгал глазами, явно не понимая моего вопроса.

— Граната, граната? Помнишь, я давал тебе?

Вспомнив, он торопливо сунул руку в карман и осторожно вынул оттуда мою заряженную, с запалом и нетронутой чекой «Ф-1».

Ананьев сплюнул.

— Дурака кусок! Ну и черт с тобой! Не научил я — штрафная научит. Загримишь в штрафную! Понял?

Чумак опустил голову еще ниже. Щапа спокойно взял из его рук гранату. Ананьев раздраженно отбросил назад планшетку, которая непривычно путалась у его ног, сделал два шага и остановился.

— Ванина не видел?

— Не. Меня как скрутили, да в блиндаж. В блиндаже сидел.

— В блиндаже, растакую твою...

К счастью, однако, ротный, кажется, начал отходить и, потоптавшись, сел на откос. Все мы — я, Щапа, Шнейдер, несколько автоматчиков — стояли вокруг, не зная, радоваться или возмущаться.

Ананьев вытер о полу шинели грязные руки и метнул сердитым взглядом на Шнейдера:

— Ты! Забирай этого чмура! Чтоб я его тут не видел!

Шнейдер молча кивнул Чумаку, перескочил канаву и все так же неуклюже потрусил через болотце. Уже на бегу он оглянулся на высоту. Чумак, плюхая сапогами по лужам, направился следом. Этот не оглядывался. Озабоченный собственной участью и, видимо, еще не веря в спасение, он будто во сне шатко и слепо бежал за Шнейдером. У меня стало легче на душе: авось как-нибудь обойдется. Ананьев строг, но если уж отправил во взвод, то, пожалуй, под арест не возьмет, а там мало ли что может измениться. Мы проводили Чумака несколько повеселевшими взглядами, и как только оба они достигли кустарника, где можно было укрыться, Ананьев закричал на бойцов:

— А ну копать! А то и отсюда драпанете! Зайчачья порода!

— Не драпанем,— благодушно откликнулся кто-то в цепи.

Командир роты посмотрел в сторону кустарника.

— Его счастье, что этот фельдфебель попался. Хотя...— Он поискал глазами Щапу.— Донесение вручил?

— Так точно, товарищ старший лейтенант. Самому командиру полка.

— Что он сказал?

— Сказал: молодец Ананьев.

Ротный скривился, будто от боли.

— Лучше бы ты его потерял. Заблудился, командира полка не нашел. На какого хрена ты его вручил?

Щапа пожал плечами и сел. Ананьев горестно-протяжно вздохнул.

— Так всегда. Только постарайся, тут тебя как шархнет! На ногах не устроишь! Да еще этот чмур...

— Товарищ старший лейтенант,— подвинулся к нему Щапа.— Это взаправду его в штрафную?

Командир роты нахмурился:

— А ты что же думал? В бирюльки тут вам играть? Война — не хахоньки.

— Колхозник он,— сказал Щапа, будто это обстоятельство само собой все разъясняло.— Четверо детей...

Ананьев неопределенно поежился.

— Четверо, четверо...— И, вскочив, почти закричал на Щапу: — Что ты мне дудишь: четверо! Хоть сто!

Щапа не дудел больше, поднял от ветра воротник бушлата и боком прилег на откос.

— Вон комиссар бежит,— сказал он спокойно.

Странно, Ананьев, будто ожидая того, с заметной поспешностью оглянулся, и озабоченное лицо его омрачилось еще больше. Но это на одну только секунду.

— А вы чего? Чего развалились? А ну марш окапываться! Я вам покажу, умники!

Ну что ж, копать — дело нехитрое. Щапа отстегнул от ремня трофейную немецкую лопатку и, отойдя на пять шагов, сноровисто подрезал ею дерн. Мне же копать было нельзя, да и нечем, и я тихо сидел на насыпи, придерживая под полою шинели руку.

Однако Щапа преувеличивал, сказав, что Гриневич бежит,— замполит шел шагом, сильно хромая, то и дело поглядывая на высоту и на нас у дороги. Он заметно спешил то ли по какому-то своему делу, то ли опасаясь немцев, которые пока что миловали нас своим вниманием.

Я это понял еще до того, как замполит подошел к откосу. Еще издали на его лице можно было прочесть крайнюю меру озабоченности, даже тревоги, совершенно очевидно — он был расстроен, что, в общем, бывало с ним редко. И чем он, сильно хромая, подходил ближе, тем все больше мрачнел Ананьев. Наконец замполит, еще не дойдя до канавы, заговорил тоном, не оставлявшим никакого сомнения, что случилось несчастье:

— Ты сдурел? Или напился? Что ты наделал?

— А что? — сказал Ананьев, и всем у насыпи стало понятно, что он и сам отлично понимает это свое что.

— Как что? Он еще спрашивает! Обмен устроил! Ты понимаешь, чем это пахнет?

— Чем?

Гриневич остановился внизу и широко развел руками.

— Я просто не знаю! Он еще спрашивает — чем! — почти в отчаянии говорил замполит. На откос он не полез, а топтался под насыпью.

Командир роты вяло махнул рукой, с нарочитой беззаботностью откинулся на локоть, но тут же опять сел ровно.

— С ума сойти надо! Ты приказ два ноля девятнадцать знаешь?

— Пошел ты!.. — не очень решительно прокричал Ананьев.— У меня рота! Видишь? А вон немцы!

Гриневич внимательно снизу вверх посмотрел на ротного, тот вдруг отвернулся и выглянул поверх насыпи. В цепи опять заметно насторожились: автоматчики, перестав копать, прислушивались к ссоре. Я впервые видел, как Ананьев позволял заместителю так обходиться с собой,— это было совершенно на него непохоже. Видно, что он и сам чувствовал свой промах, понимал, что нарушил какой-то строгий приказ, теперь сознавал свою виновность и только характер не позволял ему согласиться с заместителем или промолчать.

С усилием одолев крутизну, Гриневич взобрался на насыпь и опустился на колени в шаге от ротного.

— Ну какого черта! — сказал он потише. — Было бы кого, а то Чумака! Из-за этого придурка такого гада отпустил. Надо же додуматься!

Ананьев повернулся к нему лицом:

— А что Чумака — не человек, по-твоему?

— Не о том разговор. Человек. Да какой?

— Советский, — сказал Ананьев. — Колхозник! Так что же его — на растерзание немцу?

Гриневич поморщился:

— Давай без общих слов. Давай конкретно!

— Твои же слова. Ты ими бойцам мораль толкаешь.

— Что я толкаю? — повысил голос Гриневич. — Я политрабоду веду. А ты за раз все насмарку!

— А воевать с кем? — крикнул Ананьев, совершенно срываясь. — С кем мне воевать — ты подумал? — Он вскочил на колени и рукою широко взмахнул над насыпью. — Вон видел: взвода по двадцать человек! А вон высота, видел? Раз не удалось, думаешь, все? Ошибаешься! Приедет Сыромятников, прикажет взять. А с кем брать? А?

Он в запале одним духом прокричал это; автоматчики в цепи, бросив работу, с любопытством и тревогой смотрели сюда. У меня в тоске жалось сердце — не хватало еще ссоры.

— Это не оправдание, — стоял замполит. — Этого Чумака теперь на километр нельзя подпускать к роте. А ты его во взвод отправил!

Постепенно приходя в себя после нервного взрыва, Ананьев опустил на откос. Невидящий взгляд его остановился на высоте.

— И пусть будет!

— Как это — пусть будет? — стукнул себя по колену Гриневич. На этот раз вскипел он. — Ты что — ребенок? Ты знаешь, чем это кончится?

— Чем бы ни кончилось!

Теперь он уже был прежний, хорошо знакомый всем нам Ананьев, который не уступал, хотя и ошибался и что-то сделал не так. Пути к отступлению он не признавал — как бы то ни было, он шел напролом. Правда, не всегда это кончалось добром. Но тут уж власти над ним у нас не было.

Наступила тягучая пауза. Командир роты двумя ударами каблука выбил в дернине ямку, чтобы удобнее было упираться, боком опустился на мокрую полу шинели и начал сосредоточенно смотреть на высоту. Вконец расстроенный Гриневич сгорбясь сидел рядом, и его тронутое легкой щетиной лицо было печально. Я не мог бороться в себе тягостного беспокойства от предчувствия еще и худшего, что незримо и неуклонно надвигалось на нас и с чем, судя по всему, справиться не было возможности.

Наверно, это понимал и Ананьев, иначе бы он просто прогнал лейтенанта. Но теперь вот и сам он неловко, почти виновато молчал.

Поодаль на откосе поднял голову Щапа.

— Товарищ лейтенант, зачем так? Жаль же Чумака.

— А тебе себя не жаль? — сказал Гриневич. — Ты к немцам ходил?

— Ну, я. Так и меня на цугундер? Пожалуйста! Хоть сейчас.

— А ну молчи! — строго прикрикнул Ананьев. — Не твое телячьё дело!

Гриневич беспокойно ерзал на откосе, кряхтел, будто от зубной боли, что-то думал, но, кажется, ничего утешительного придумать не мог. Ананьев же вдруг стал как-то необычно спокоен, даже безразличен с виду. И только его поджатые крутые челюсти красноречиво свидетельствовали, каким усилием давалось ему это спокойствие.

С самого начала ссоры было очевидно, что комроты уступал обособленной логике Гриневича, так как, наверно, сам того не желая, в чем-то

поступил не так — на авось, не подумав. И тем не менее я не в состоянии был понять, как можно было поступить иначе? Разве только если были соответствующие приказы, и тогда уж, разумеется, ничего не скажешь: приказы не обсуждаются. Тогда получалось, что командир роты допустил ошибку. Но, может быть, стоило понять и самого ротного, которому рядовой Чумака, при всей его незадачливости, был все же подчинен как боец и целиком зависел от его воли и власти. Каково было тогда Ананьеву обрекать бойца на заведомую гибель, хотя и заполучив в плен такого, видать по всему, оголтелого фашиста, как этот фельдфебель?

— Черт бы его побрал, — со страдальческим видом проговорил замполит. — Откуда его принесло на наши головы, Чумака этого? Да и фрица? Кто его в плен взял?

— Ванин взял, — сказал Ананьев.

— Вот еще и Ванин! — невесело вспомнил Гриневиц. — Еще одна история! Что об этом написать?

— А что писать? Погиб! Так и написать, — спокойно сказал командир роты.

— Ну да! А вдруг окажется в плену?

— Не дури ты: в плену! — как можно спокойнее сказал Ананьев и потянулся за флягой. — Такие, как Ванин, в плен не сдаются.

— Все может быть, — вздохнул Гриневиц.

— Ни черта не может. Я Ванина знаю.

Командир роты отвинтил флягу и протянул ее замполиту:

— Будешь?

Гриневиц секунду помедлил.

— А, давай. С горя!

Он немного выпил, слегка поморщась. Затем со вкусом глотнул Ананьев.

— Наделал ты делов, нечего сказать, — более миролюбиво заметил замполит. — Как теперь выкрутиться?

Ананьев, помолчав, негромко сказал:

— Нечего выкручиваться.

Гриневиц поежился, затем встал, посмотрел на высоту.

— Ну что же, надо идти. Сюда-то немцы пустили. А отсюда?

— А вы чуть повыше, — показал Щапа. — Во, под насыпью, а там свернете. Так скрытнее. За пригорочком.

Гриневиц молча послушался и, прихрамывая, пошел вдоль цепи над канавой.

«Может, как-нибудь обойдется», — подумал я.

15

Но — не обошлось.

Не пройдя и двадцати шагов, Гриневиц остановился.

— А Цветков где?

— Раненых повел, — ответил кто-то в цепи.

— Давно?

— Да только что. Пока вы там разговаривали.

Замполит круто повернулся и едва не бегом, сильно припадая на левую ногу, снова направился к Ананьеву.

— Слышал?

— Что? — спросил Ананьев, и тут уж было ясно, что он не прикидывался, а и в самом деле не понял, что встревожило его заместителя.

— Цветков смылся.

— Раненых повел. Я приказал. А что?

Гриневич замер под насыпью.

— Наивный человек! Кому ты приказал?

— Санинструктору. Кому же еще?

— Санинструктору! Ты знаешь этого санинструктора?

Ананьев с силой ударил оземь наверно уже опустевшей флягой. Подскочив, та плоско шлепнулась в грязь за канавой.

— Пошли они все к чертовой матери! Понял? — крикнул он, встав, и опять сел.

Гриневич на этот раз смолчал. В выражении его лица появилось что-то новое, что-то отчужденно-безучастное, взгляд замполита остановился на недалеком пригорке.

— Знаешь, Ананьев,— после минуты молчания сказал он.— Знаешь, Ананьев! Расхлебывайсь-ка ты сам! Сам заварил все, сам и расхлебывай! Я тебе не помощник.

Ананьев поднял голову.

— Что — смываешься?

— Не смываюсь, а на законных основаниях отправляюсь в тыл. Я тоже ранен.

— Давай дуй! — просто сказал Ананьев.

— И я тебе не завидую. Все же, прежде чем такое выкинуть, надо было подумать.

— Что я выкинул? — снова вскричал Ананьев.— Чумака вернул? Ну и вернул! Тебя не спросил! Сам сделал, сам и отвечать буду. Понял?

— Нечего понимать. Все и так ясно.

— А мне наплевать! Я командир роты! А вон немцы! Видел?

Гриневич вздохнул.

— Знаешь, мало прытко в атаку бегать. Надо еще и понимать кое-что.

— Что понимать? Надо человеком быть.

— Да? Ну-ну! Давай! Только долго ль пробудешь?

Это уже был скандал. Они явно и насовсем размежевались, только, признаться, перестал понимать, в чем дело. Было абсолютно неизвестно, почему замполита так испугал Цветков, почему его нельзя было отправлять в тыл? Что-то недосказанное угрожающе встало между ними, о чем, судя по всему, всегда помнил Гриневич и что только теперь начал понимать Ананьев. Я слишком хорошо знал обоих, и теперь не столько разгневанный вид ротного, сколько успокоенно-отрешенное состояние Гриневича свидетельствовало, что прав, наверно, Гриневич.

— Словом, я пошел,— сказал Гриневич.— Желаю успеха. Хотя какой там успех! — добавил он.— Пропадающая рота.

Замполит коротко взмахнул рукой и, налегая на здоровую ногу, пошел вдоль дороги в тыл за пригорок.

Ананьев остался на насыпи в своей прежней унылой позе: широко расставив ноги в грязных кирзовых сапогах, низко уронив взлохмаченную светловолосую голову. Казалось, он что-то рассматривал в жухлой, прошлогодней траве, перебирая на голенище грязными пальцами. Но он не рассматривал, вообще вряд ли он замечал что-либо вокруг — он думал. Та грубоватая самоуверенность, которая часто вспыхивала в его глазах во время ссоры с Гриневичем, теперь окончательно исчезла, уступив место трудной, непривычной для него сосредоточенности.

Опять заморосило, ребята на разрытом откосе начали натягивать над окопчиками свои никогда не просыхающие палатки. У меня же палатки не было, комсоставская накидка Ананьева тоже где-то пропала; мы постепенно мокли, хотя комроты это почти не беспокоило. Я подумал,

что надо, наверно, уходить — ведь он на рассвете уже отправлял меня из роты, — но теперь я просто не решался сказать ему об этом. К тому же мне почему-то не хотелось идти в тыл вместе с Гриневичем. Хотя я и понимал, что в этой стычке с Ананьевым замполит был, очевидно, прав.

Я выждал еще немного и встал, чтобы напомнить комроты о своей судьбе, — сколько же можно было торчать тут с моей раной?

И тут высота, несколько часов подряд настороженно молчавшая, вдруг огласилась басисто-неторопливой крупнокалиберной очередью. «Дуг-дуг-дуг» — простучало вдаль, и тотчас над нашими головами пронеслась, разрезая воздух, не длинная и не короткая — средняя пулеметная очередь, аккуратно отмеренная опытной рукой хорошего пулеметчика. И прежде, чем мы успели сообразить, куда это он, с высоты простучало еще точно таким же количеством выстрелов. Но, как ни странно, опять мимо — ни одна пуля не вошла в насыпь дороги — мы бы заметили ее. Недоумевая, я поглядел на Ананьева, который, пригнувшись, живо скатился под насыпь. Автоматчики встревоженно выглядывали из своих окопчиков.

— Досиделись! — оборачиваясь к высоте, с досадой буркнул комроты и выругался. — Скоро из минометов палить начнет.

Но из минометов пока не палили, а пулемет тоже умолк, хотя, конечно, его появление на высоте не сулило роте хорошего. Щапа, окопчик которого был в десятке шагов на истоптанной насыпи, вылез из него с лопаткой.

— Товарищ старший лейтенант! Вам где выкопать?

— Подожди ты!

Ананьев не спеша взобрался на свое прежнее место и осторожно выглянул над дорогой. Следующая очередь с высоты уже не была неожиданностью, комроты только слегка пригнулся, что-то раздраженно приговаривая про себя. И тут я стал догадываться о том, что произошло.

От самого дальнего окопчика сюда уже кто-то бежал вдоль канавы, негромко покрикивая и показывая рукой на пригорок. Ананьев повернулся в его сторону, наверно, тоже понял, в чем дело, и на руках и коленях подался по откосу к Щапе.

— А ну, ты и Грищук — бегом!

Щапа, как всегда смекнув с полуслова, молча подхватил автомат и побежал под насыпью вверх. Командир роты, вытянув шею, продолжительно и беспокойно поглядел ему вслед. В конце ряда наших окопчиков, где насыпь становилась все ниже, они поползли по канаве и скоро скрылись из виду.

«Черт, неужели подстрелили?» — подумал я, сразу приуныв: ведь и мне предстояло отправляться той же дорогой.

В томительном ожидании прошло около часа. Пулемет, однако, молчал, а дождь все густел, туманная мгла в облачном небе слалась низко, почти задевая пригорок. Я подумал, что это хорошо: непогода укроет нас лучше любого укрытия. Иначе из этой ложбины не вырваться.

Наше опасение, к несчастью, сбылось. Еще издали стало видно, что автоматчики кого-то несут вдвоем на палатке, неловко пригибаясь за невысокой вначале насыпью, пошатываясь под тяжестью ноши. Когда они подошли ближе, из крайних окопчиков кто-то подскочил к ним и на ходу ухватился за угол палатки — оскальзываясь, втроем они пошли быстрее. Ананьев сошел с откоса и туго сжал челюсти — теперь уже не было сомнения: замполит ранен.

Они опустили палатку у ног командира роты. Щапа устало сдвинул с грязного лба мокрую ушанку, другие двое смиренно остановились напротив.

— Вот,— сказал Шапа.— В голову. И каска вдребезги.

— Пулей?

— А черт его... Разрывной, видно.

На изжелта-бледном, каком-то странно успокоенном лице Гриневича с надвинутой на глаза повязкой вдруг проступило беспокойство.

— Ну что, комиссар? — с участливой грубоватостью спросил комроты.

— Вот, не получилось,— сдерживая стон, проговорил замполит.— Не прошел...

Ананьев опустился на корточки.

— Больно?

— Тошнит,— выдал из себя раненый.— Дрянь мое дело!

Командир роты поднялся.

— А ну, устройте лейтенанта поудобнее!

Шапа сбегал к ребятам, принес чью-то телогрейку, скоренько растелил ее на мокрой земле. Потом вчетвером мы бережно переложили на нее Гриневича и тщательно укрыли его палаткой. Под голову подвернули конец рукава.

— Дрянь дело,— облизывая бескровные губы, тихо сказал Гриневич.— Ты не обижайся, Костя. Сам знаешь...

— Сволочи! — выругался командир роты и отвернулся.

Он поглядел на высоту, которая все больше окутывалась дождливым туманом, оглянулся на пригорок, обстреланный крупнокалиберным. В ожившихся глазах комроты появилось какое-то намерение, и я подумал, что уж теперь он использует возможность отвести роту назад, на пригорок. С высоты, кажется, нас не увидят. Но Ананьев молчал, и я не мог подсказать ему это: такого рода подсказок от подчиненных он не терпел.

— Дай закурить!

Я не курил, он знал это и никогда не обращался ко мне за куревом. Но теперь, наверно, просто забыл, кто возле него. Правда, тут же он спохватился и повернул голову к Шапе:

— Ты, неси закурить!

— Пожалуйста,— прошепелявил боец.

Он услужливо подбежал к командиру роты и, опустившись на колени, натрусил из бушлата щепоть махорки. Затем достал и бумагу. Ананьев закурил, избегая наших сдержанно-вопросительных взглядов.

— Позови Пилипенку.

Мы оба рванули с места, старший лейтенант жестом вернул меня обратно.

— Шапа, ты!

Шапа бросился с откоса, командир роты затянулся два раза и внимательно посмотрел на затуманенную высоту. И вдруг он обернулся к цепи:

— Приготовиться к атаке!

У меня внутри будто оборвалось что-то, я стоял, сам не ощущая себя, не вполне веря тому, что услышал. Но Ананьев не шутил — это было слишком понятно каждому, командир роты был полон решимости добиться выполнения своей команды. А добиться он мог.

Кто-то выскочил из своего грязного укрытия, над окопчиками завопились палатки, клейменные трофейные одеяла, разное военное лохмотье. Откос моментально ожил — все слишком хорошо понимали, что для нас означает эта коротенькая команда.

Тем временем по болотцу уже мчался Шапа, за ним, отставая, грузно трухал Пилипенко с каской у пояса. Командир роты мрачно ожидал на откосе. Неуклюже перелезши канаву, старшина с излишней теперь

официальностью откозырял и остановился, беспокойно поводя плечами и бросая озабоченные взгляды на укрытого палаткой Гриневича.

— Сколько человек во взводе? — не глядя на него, спросил комроты.

— У мэне?

— Да, у тебя!

Пилипенко на минуту смешался. Разумеется, он уже считал себя рядовым и, наверно, понемногу свыкался с тем, а тут ротный, будто ничего между ними и не произошло, спрашивал про взвод.

— Пятнадцать, кажись,— неуверенно сказал старшина.

— Патронов есть немного?

— Трохы е.

— Приготовиться к атаке!

— Зараз?

— Да, зараз!

— Есть! — с непонятной, почти радостной решимостью гаркнул Пилипенко.

И ни удивления, и никакого вопроса — он воспринял приказ так просто, будто от него требовали строить взвод в баню или на ужин. Потом уже я понял, что тем самым Пилипенко без лишних слов возвращался к своей прежней должности, которая, оказывается, все же что-то для него значила.

— И давай всех сюда! В общий порядок!

— Ну видома, в общы,— подхватил Пилипенко.— Так мицнише вдарыты.

Командир роты смерил его придиричивым взглядом.

— И ты гляди мне! Чтоб не тянулись, как на базар! Броском!

— Нэ хвильютэсь! Побижать! Я их...

Ананьев, не дослушав, повернулся к Щапе:

— Принимай второй взвод!

— Я?

— Ты!

— Есть! — не сразу сказал Щапа, и было непонятно, обрадовало это его или обеспокоило.

— Что, не укомандуешь?

— Попробуем.

Командир роты немного подумал или, может, прислушался. Но на высоте было тихо, вокруг едва слышно шелестел мелкий, надоедливый дождь. Откуда-то из-за пригорка доносились далекие глухие разрывы.

— Пятнадцать минут на подготовку и — вперед!

Ананьев сказал это и замолчал. Новые взводные стояли не шевелясь,— напротив внизу Пилипенко и в стороне от него Щапа. Они ждали, что он скажет еще, но он лишь коротко бросил: «Все!» — и они оба сразу побежали — один через поле, другой в тот конец насыпи. Командир роты вскопал на откос. Меня он будто совсем и не замечал.

Что ж, атака на войне — обыкновенное дело, хотя, конечно, вовсе привыкнуть к ней невозможно. Сколько бы раз ты ни поднимался в атаку и ни осиливал в себе свой страх, но каждый следующий бросок будет такой же жутковато-знобящий, как и все прежние. Ох, как не хочется вылезать из своего спасительного окопчика в огромный ревущегрохочущий свет, пронизанный пулями и осколками, самого маленького из которых совершенно достаточно, чтобы прикончить твою единственную и такую необходимую тебе жизнь. Страшно вставать, но надо. Каждой атакой двигает приказ старшего командира, план боя. Иногда на нее вынуждает противник, который, если не уничтожить его, уничтожит тебя.

Тут же все, казалось мне, было по-другому.

Я переживал и не знал, как подступиться к командиру роты.

— Товарищ старший лейтенант,— сказал я.

Боком лежа на изрытом каблуками откосе, он наблюдал за противником и не повернул даже головы. Но он слышал мое обращение, что-то заподозрил в нем и насторожился. И я, стоя ниже, в трех шагах от него, тихо сказал, чтобы услышал только он, и никто больше:

— Напрасно вы!..

— Что?

— Напрасно, говорю.

Ананьев замедленно, будто впервые меня тут услышав, обернулся на локте.

— Что? — перескросил он таким тоном, что я весь подобрался.— А ты какого черта тут околачиваешься? Я тебе что приказал? А ну — в тыл! Бегом!!

Он кричал на меня впервые. Никогда прежде я не слышал от него злого слова, потому что изо всех сил старался не заслужить даже замечания, и он знал это. А тут крик! Сначала это меня ошеломило, и я молча стоял с таким чувством, будто под ногами зашатались и тихо опрокидываются куда-то и насыпь, и поле, и откос, и весь белый свет. Но очень скоро стало понятно, что вовсе не я был причиной этого крика. Скорее я подвернулся ему не вовремя. И мне не стало ни обидно, ни больно — было только тоскливо.

Между тем сюда уже бежал первый взвод. Полтора десятка автоматчиков гуськом трухали по взмежку. Пилипенко, размахивая лапами длинноватой шинели, уже перебежал болотце. Я опасливо взглянул на высоту — к счастью, вершина ее все еще была в промозглом тумане, иначе немного их достигло бы насыпи.

Ананьев сел на откосе и сдвинул кабур «вальтера» к пряжке.

— Дай каску! — вдруг сказал он уже без недавней свирепости, будто тем самым давая понять, что больше на меня не сердится.

Я стащил через подбородок мокрый брезентовый ремешок своей каски и отдал ее комроты.

— Только там донышко криво подвязано.

— Что?

— Донышко, говорю, неровно подвязано.

— Черт с ним, донышком!..

Он привычно надвинул каску на голову, но мокрый ремешок не налезал на его широкую костистую челюсть, и Ананьев завернул его на козырек каски.

— Жареному карасю кот не страшен! — со значением сказал он.— Понял?

Нет, я все еще мало что понимал в его намерениях и, недоумевая и досадуя, покорно стоял напротив. Сзади вдоль насыпи уже разбегались автоматчики первого взвода. Слышно было, как Пилипенко с привычной грубоватостью прикрикивал:

— Нэ высовуйся! Нэ лэзь попэрэд батька в пэкло! Чого нэ бачив?

— Вот так! — сказал Ананьев, будто говорить нам уже не было о чем, и крикнул: — Чумак! Ко мне!

Чумак поднялся из цепи и, неуклюже переваливаясь с боку на бок, подбежал к командиру роты.

— А ну ближе! Не бойсь: не укушу! Будешь ординарцем, понял? Я тебя выучу на героя, ядрена вошь!

Чумак молча стоял, явно не соображая, как воспринимать эти слова: всерьез или в шутку. Шинеленка его была уже подпоясана каким-то узеньким, наверно брючным, ремешком, на голову поверх шапки насу-

нута чья-то ободранная каска. И тут я невольно взглянул на его все те же довольно-таки исправные сапоги и почти содрогнулся от четкой и совершенно нелепой сейчас мысли: неужто и действительно сегодня они достанутся мне?

— Васюков, отдай автомат! — распорядился комроты. — И присмотри замполита.

Замполита — пусть, но автомат мне отдавать не хотелось, хотя Чумаку он был, конечно, нужней. С чувством некоторого сожаления я снял с плеча свой выдавший виды ППШ, и Чумак горопливо взял его, словно испугавшись, чтоб я не передумал. Правда, разбитый конец приклада ему вроде не понравился, но он тут же закинул автомат за плечо.

Ананьев взглянул вправо, влево — автоматчики вдоль насыпи все в напряженной готовности ждали команды, и командир роты дернул язычок кабура.

— Да, — спохватился он в самый последний момент и перебросил через голову узенький ремешок планшетки. — Держи!

Правой рукой я подхватил на лету ванинскую планшетку. Комроты вскочил на бровку дороги.

— Вперед!

16

Автоматчики быстро повскакивали и вдоль канавы бросились в сторону речушки. Несколько человек из второго взвода побежали по насыпи. Перед глазами замелькали их раскисшие сапоги, ботинки, мокрые, грязные полы шинелей со спутанной бахромой внизу, и я провожал каждого взглядом, словно навеки прощался с ними.

Кажется, я впервые оказался в положении наблюдателя из тыла, впервые рота пошла без меня, впервые Ананьев повел ее в атаку не со мной — с другим. Конечно, его слова насчет Чумака-ординарца не очень задевали меня (какой там из Чумака ординарец), и все же я не спускал с них глаз, ревниво следя, как они по дороге бежали к мостку, вместе переходили его по балкам. По всему было видно, что этот Чумак слишком уж всерьез взялся за исполнение своих ординарских обязанностей — похоже, и в самом деле поверил, что комроты сделает из него героя.

Автоматчики полезли в речушку; у дороги уже никого не осталось, вокруг сделалось непривычно тихо и пусто. Гриневиц, будто неживой, ровно лежал под насыпью, незряче подставив дождю бледное, в темной щетине лицо. Теперь в мою тревогу за роту вплеталось еще и беспокойство за лейтенанта — хотя бы он продержался до отправки в тыл. Сбежав вниз с откоса, я тихо спросил:

— Ну, как вы?

— Васюков, да? Плохо, брат...

— Дать воды!

— Дай немножко.

Воды в круглом котелке, оставленном возле раненого, было немного, да и ту я половину пролил, пока неумело одной рукой поил замполита. Сделав мучительных два глотка, он едва не задохнулся, чем почти испугал меня.

— Ну как?

— Все, хорошо, — справившись с дыханием, сказал лейтенант. — Рота пошла?

— Пошла. На той стороне уже.

Осторожно я поправил на его голове шапку, прикрывавшую от дождя пухлую, неумелую повязку, натянул выше палатку. Состояние замполита мне решительно не нравилось, но что я мог сделать?

— Не надо было вам уходить,— сказал я вроде бы даже с упреком за его недавнюю ссору с Ананьевым.

— Да, не надо. Погорячился. Но этот Ананьев!.. Не думает, что делает.

— А что он такого наделал?

Гриневич не ответил.

Возможно, я чего-то не знал или не понимал чего-то, что хорошо было известно им, более опытным на войне и в жизни.

Однако с раненым мне не сиделось. Очень тягостно было смотреть на его обескровленное, искаженное болью лицо, к тому же отсюда не было видно роты. Оставив лейтенанта, я взбежал на откос и присел, высунав голову над дорогой.

Дождик все сыпал, все шире расползлся туман в ложине, снегу на той стороне речки оставалось немного — рваные сизые пятна на мокром пологом склоне, по которому в третий раз бежали автоматчики. Со все разрастающейся тоской в душе я смотрел, как катастрофически быстро уменьшается в мгlistом пространстве коротенькая их цепочка. Давняя, привычная связь между нами рвалась...

Ананьев то бежал, то быстро шел наискось по склону, как-то нагнувшись, торопливо перевернул на спину тело убитого, забрал его автомат. Потом он минуту бежал, занимая свое место в цепи, а кто-то, что шел позади — возможно, Чумак, — ненадолго задержался над трупом — кажется, снимал сумку с дисками или гранатами.

Рота достигла середины склона. Уже непросто было и различить ее за мгlistой завесой дождя, которая, к счастью, скрывала автоматчиков и от немцев. Только надолго ли? С высоты их вот-вот должны были увидеть, и тогда...

Тем не менее немцы молчали. Трудно было поверить, что они и во второй раз зазевались настолько, что не замечают атаки. Плохо было видно отсюда, но мне казалось, что верх высоты уже совсем близко. Еще один, самый последний бросок — и можно будет швырнуть гранату, выскочить из-за обрыва и, если повезет, с ходу занять конец траншеи. Эх, если бы удалось хоть одним отделением ворваться в траншею!..

Внизу молча и одиноко лежал Гриневич, я не сразу понял, что и он ждет вестей с высоты. Видно, не дождавшись того, что хотел, замполит окликнул:

— Васюков! Где рота?

— Пошла, пошла.

— А почему не стреляют?

Этого я не знал. Не стреляли ни наши, ни немцы. Тем временем уже вся рота скрылась во мгле. Только пристально взглядевшись, можно было различить кое-где под самой вершиной маленький намек на движение. И по-прежнему не слышно было ни выстрела, ни крика, ни голоса — высота замерла, затаилась. Очень похоже было, что рота в самом деле достигла траншеи.

А может быть, немцы ушли?

Ведь было же такое, и даже не раз, когда немецкие позиции, за которые мы дрались день, два и даже несколько дней, вдруг оказывались незаметно покинутыми, и мы занимали их без всякого боя. Ведь мы не одни здесь, наши части где-то все же теснят фашистов, вон как грохает в стороне большака!

Ход моих мыслей вдруг приобрел другое направление, подумалось: какой же я размазня, в сущности, если столько передрожал понапрасну. Действительно, там же Ананьев, который умеет, знает, предвидит, как поступить наилучшим образом. В чем-либо другом он, может, и не

силен, в чем-то он уступит Гриневичу, Ванину, даже Цветкову, но в каком деле, как бой, он разбирается отлично. Тут он профессор, генерал...

В сознании моем затеплился желанный огонек надежды, который, однако, искал себе подтверждения. Так хотелось найти и еще какой-нибудь признак того, что все хорошо.

И тут грохнуло.

Сперва показалось, что это взрыв, но тут же мглистое небо над долиной туго вспороли пронзительные потоки пуль, вокруг защелкало, завывало — дождливое пространство в мгновение наполнилось звеняще-грохочущей сумятицей огня. В первые секунды явилось такое ощущение, будто высота не выдержит этого грохота, развалится на куски, но огненный напор и еще усиливался; послышался крик, возможно команда или ругань, однако на каком языке — было не понять. Боясь сморгнуть, я до рези в глазах вглядывался туда, пытаюсь хоть что-нибудь разглядеть в стегающе-клокочущей мгле, но мгла, как и прежде, была совершенно непроницаема для взгляда.

В непостижимом остервенении около получаса высота обрушивала на окрестности стоголосый лихорадочный гром, в котором и на слух ни черта невозможно было разобрать. Очереди смешались в сплошной стонущий гул, из которого раза два как бы невзначай выбился дальний басовитый стук крупнокалиберного, но затем почти залпом заухали гранатные взрывы — они заглушили собой все. Несколько шальных пуль тугими шлепками вошло в насыпь дороги, я опустил на откосе пониже, втянул голову в плечи. Огонь был ураганный, и казалось очень сомнительным, чтобы на такой были способны наши каких-нибудь три десятка автоматов. Что ж, значит — немцы? Но в таком случае рота непременно должна откатиться — это уже я знал по собственному опыту. И тем не менее шло время, а на склоне не было заметно никакого движения оттуда.

Скоро, однако, трескучий огневой напор стал явственно слабнуть, тем самым обозначая, наверно, перелом в бое; я опять пристально вглядываясь в притуманенные склоны, но — нигде ничего. Значит, не убегают, все там. Что же тогда — выходит, прорвались?

Опять долетел обрывок какого-то голоса, но опять невозможно было определить, кому он принадлежал, этот голос, — нашим или немцам. Автоматы беспорядочно потрескивали в разных местах, будто кто-то невидимый на высоте рывками раздирает необычной прочности ткань. Пули, однако, над дорогой уже не летали, и я подумал, что стреляют, по видимому, в ту сторону. Но это значит, что огонь ведут наши.

Все же полной уверенности в этом у меня еще не было, и я все вглядывался в проступавшие сквозь дождевую мглу раскисшие пятна снега на той стороне — я бы сразу заметил, если бы там кто бежал. Но с высоты никто не появлялся.

Спустя еще четверть часа разрозненный автоматный треск прекратился, как-то нерешительно все вокруг смолкло.

Я ждал терпеливо и тягостно: если рота отбила высоту — значит, Ананьев должен был кого-то прислать за нами. Еще не веря, что все обошлось, я уже выглядывал его, всегда желанного посланца из боя, который бы окончательно укрепил нас в уверенности, что победили. Но он задерживался, этот посланец, что, впрочем, можно было объяснить: только окончился бой и там тоже, разумеется, не обошлось без потерь.

Гриневич внизу, все время лежавший, как неживой, вдруг задвигался. Я вскочил, поскользнулся, подмяв полы шинели, сполз до канавы:

— Что, плохо вам?

С силой сжав зубы, он конвульсивно напрягся на земле, будто пытаясь разорвать на себе незримые путы, голова его запрокинулась, забинтованный затылок втиснулся в грязь. Минуту раненый боролся с болью или какой-то одолевавшей его недоброю силой, затем сразу обмяк и спросил:

— Где рота?

— Там рота. Кажется, взяли.

— Дай пить.

Я поднес к его сжатым зубам край котелка, опять пролил воду, но, кажется, немного выпил и он. Потом вроде успокоился, помолчал, с усиленным вдохнул и прерывисто выдохнул:

— Не идут?

— Кто?

— За нами не идут?

Нет, за нами еще не шли, по крайней мере отсюда не видно было, но я ухватился за этот брошенный им предлог, чтобы опять взобраться на насыпь.

— Нет никого! — прокричал я отсюда.

Вокруг было тихо, мокро и совершенно пустынно. В этой тишине слышнее стали звуки далеких и близких боев: где-то за пригорком прокотал пулемет, кажется наш «максим», с юга, ослабленное расстоянием, глухо доносилось мощное артиллерийское клочкотание — будто кто-то могуче катал там, смешивая и сталкивая на земле, циклопические каменные громады: го-го-го, гу-гу, гах-гах-гах... Я сел боком на откос, то и дело поглядывая то на туманные склоны высоты, то на Гриневича внизу.

— Ну, где же они? — опять начал он напрягаться под плащ-палаткой. Оставив свое насиженное, более-менее сухое место, я в который уже раз сбежал вниз.

— Сейчас, сейчас. Скоро придут, — утешал я, сам уже теряя уверенность в том, что говорил. Действительно, как бы там ни было, на высоте, пора бы уж вспомнить и о нас.

— Может, сбежать туда? — предложил я.

— Нет, — сказал он сквозь стон. — Ни в коем случае.

Я сидел на корточках у его ног и поднялся; это проклятое ожидание уже становилось невмочь. Да и моя раненая рука болела, хотя и не так остро, как ночью, — наверно, надо бы переменить повязку.

— Тошнит! — выдохнул Гриневич, встрепенулся и, как будто спеша куда-то, с торопливой решимостью произнес: — Васюков! Иди в тыл.

— А вы?

— Я уже. Отвоевался... Погляди, не идут?

Нет, ни на склонах, ни на дороге никого не было, всюду сыпал дождь, суживая вокруг и без того ограниченное ненастьем пространство. Опять зародилась смутная, безотчетная тревога.

Заметное беспокойство появилось и на небритом, осунувшемся лице замполита, когда я снова спустился к нему. Молча минуту я вглядывался в раненого, не желая беспокоить его своим тут присутствием, но он, видно, услышал меня и с тихой настойчивостью выдохнул:

— Ты тут? Не надо. И... это самое... Ведь мы земляки.

— Как? — сорвалось у меня. — Вы разве из Белоруссии?

— Именно. Из Борисова.

Боже мой, как же так получается? Четыре месяца мы провели бок о бок на фронте — и воевали, и ели, и спали, даже — случалось — он покрикивал на меня, а я даже и не подумал, что он — мой земляк.

Почему он не намекнул мне о том раньше: ведь нас, белорусов, в роте не было больше?

— Почему же вы не сказали? — упрекнул я с досадой, опускаясь подле него на колени.

— А зачем? Зачем отделяться?

На меня нахлынула вдруг почти нежность к Гриневичу, надо было что-нибудь делать, как-то спасти замполита, но я не знал, куда теперь можно податься.

Вдруг он напрягся, круче запрокинул голову и, вытянувшись, повернулся на бок. Шапка свалилась с головы, неуклюжая толстая повязка с грязными следами от пальцев на марле сползла на ухо. Я ухватил его за плечо, не давая ему вовсе скатиться с фуфайки, и почувствовал под пальцами неимоверный на холоде жар его тела. Гриневич задвигал ногами, будто пытаюсь скинуть с себя палатку.

— Что с вами? Что с вами? — испуганно заговорил я, но он уже не ответил. Я начал придерживать его на фуфайке, хотя одной рукой сладить мне с ним было трудно. К тому же, кажется, он перестал узнавать меня и не очень внятно, в нос, как никогда не говорил прежде, вскрикивал:

— Горохов! Горохов!.. Беги! Стой! Ну как же ты!.. Позовите Горохова!..

— Какого Горохова?

Он вдруг содрогнулся, оперся на руки и приподнялся, пристально и недоуменно взглянув мне в лицо широко раскрытыми, но уже вряд ли что выражающими глазами. И, как подрезанный, упал навзничь.

— Кажется, я все...

— Что вы? Товарищ лейтенант! Что вам?

— Ладно. Ты иди,— вдруг внятно произнес он.— Я умираю.

— Что? — вырвалось у меня. Но тут же я понял, что он не оговорился, и я не на шутку испугался. Надо было немедленно что-то предпринять, но у меня не было даже воды — пустой котелок лежал на земле, дождь легонько барабанил по его боку. Не раздумывая, я схватил котелок и вдоль канавы под насыпью кинулся к речке.

Громко чавкая сапогами в набрякшей влагой дернине, я подбежал к берегу. Вода тут была глубоковата. Чтобы дотянуться до нее, пришлось стать на колени, и я, вытянув руку, торопливо взмахнул котелком. Но легкий котелок непослушно выхлял на проволочной дужке, не желая погружаться в воду. Я склонился пониже, но тотчас в испуге резко вскинул голову и замер.

На том берегу напротив из туманной дождевой мглы у дороги выскользнул тусклый силуэт в каске, чуть поодаль появилось еще двое — я метнул взглядом в сторону и увидел почти всю цепь, настроенно и скоро шагавшую по истоптанному склону вниз...

Перевел с белорусского автор.



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

СТАРИК

Он не помнит, что было вчера.
Помнит четко, что было когда-то.
Коротая свои вечера,
Он уходит, уходит куда-то.

Через чашу событий и лет,
Расставаний, свиданий мороку,
Через тысячи жизненных мет
И замет — он уходит к истоку.

В глубину, в изначальную рань,
Где мешается крик с немотою.
К самым дальним пределам — на грань,
Где соседствует свет с темнотою.

Там кристальные светят ключи.
Так заманчиво пенье их льется.
Ты над ухом его не кричи.
Он ушел. Он уже не вернется.

* * *

Упало дерево в траву,
Я подошел к его вершине.
Устало приподняв главу,
Оно еще витало в сини.

Листва еще не пала ниц,
А все еще была в паренье,
Несмятая, как оперенье
У только что убитых птиц.

В ней жил еще простор и ветер.
Еще небесной высоты
И неизмеренного света
Туманились на ней следы.

Она еще свежо дышала,
Жила. Высокая душа
У самых ног моих лежала,
Доступностью своей страша.

* * *

Но вот мгновенье подступает —
И за сплошную чернотой
Изображенье проступает.
Черта восходит за чертой.

За снимком снимок моментальный
Всплывает болью старых ран,
Как будто фильм документальный
Мне демонстрирует экран.

Все то, что было за спиною,
Теперь стоит передо мной.
И не экранною стеною,
А грубой вещностью земной.

И всё места свои забыло —
Что было и что будет впредь.
И мне в мученьях то, что было,
Лишь предстоит преодолеть.

Томск.



БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

★

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значение природы
невеликая сумма деревьев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опроектировано медлит душа.

МЕТЕЛЬ

Февраль, любовь и гнев погоды,
и, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значение
и в драгоценность произвел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем?

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.



Л. ЗАВАЛЬНЮК

★

ПАМЯТЬ

Нужна большая мера одиночества,
Чтоб не забыть ни имени, ни отчества
Солдата с перекошенным мешком,
С полей войны бредущего пешком
В моем веселом, восхищенном обществе.
В ночных бочагах много карасей,
В лесных пределах земляники много.
Мы шли, и принимала нас дорога,
Как сановитых, праздничных гостей.
Мы по-хозяйски шли. И в деревнях
Чинили утварь и коней ковали,
Забитые колодцы открывали,
Спускаясь в глубь земли на связанных ремнях.

Я многое могу с тех давних пор.
Могу плохое принимать без вздоха,
На злую женщину могу смотреть в упор,
Поскольку хорошо в руке держу топор
И подшиваю валенки неплохо.
Кусок пути, тот маленький кусок,
По сути не имевший продолженья,
До сей поры вливает сильный сок
Во все мои порывы и броженья.
Потом уже, когда я в шахту лез,
Я вспоминал ту давнюю науку,
Как плеск ночных озер,
Как земляничный лес,
В порыве сказочном поднявший до небес
Веселым мужеством отмеченную руку.



НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ

★

ДВА РАССКАЗА

Проводы

Проводы проходили в зале. Узкий зал был почти пуст. Десятка два человек сидело в первых рядах, трое на сцене. Сцену отделяла от зала арка из трех кумачовых полотнищ. По ним вились белые узоры лозунгов. Под аркой стоял стол с плюшевой скатертью, графином и бледно-розовой гортензией в горшке. За столом сидели: широкоплечий мужчина с приветливым лицом — директор, и молодая рыхлая женщина в ярко-зеленом джемпере — предместкома.

А поодаль в старом канцелярском кресле сидела худошавая невзрачная женщина с глубоко запавшими глазами и венчиком жидкого перманента над выпуклым лбом. Она сидела неподвижно-прямо, и только худые руки скручивали и раскручивали носовой платок.

Анну Васильевну Косову провожали на пенсию. Собралась вся бухгалтерия да еще несколько самых старых работников комбината — кто ее знал. Была она тихой, молчаливой, почти двадцать лет просидела согнувшись за столом над ведомостями, счетами, счетами. Мало кто ее знал.

Первой выступила предместкома. Она сказала, что товарищ Косова — одна из старейших работниц комбината, всегда отличалась хорошей дисциплиной, никогда не опаздывала, не имела взысканий, а наоборот, имела две благодарности и что у такого хорошего производственника можно поучиться сознательному отношению к труду.

— Вы уходите на заслуженный отдых, товарищ Косова, — заключила она, — и мы желаем вам, чтобы он протекал благополучно. Дирекция и местком выносят вам благодарность в приказе за долголетнюю честную работу, а товарищи преподносят ценный подарок. — И она подняла лист бумаги, которым были прикрыты шесть чайных чашек, расписанных желтыми и лиловыми цветами.

Раздались редкие хлопки. Анна Васильевна поднесла платок к губам и заморгала, пересиливая слезы, давно дрожавшие в ней.

Директор поднял пухлую руку с обручальным кольцом. Он просил внимания. Встал и, опираясь на стол, заговорил негромко, мягким голосом:

— Дорогая товарищ Косова, сегодня мы провожаем вас на заслуженный отдых, как правильно здесь отметили. О вас уже сказали как о хорошем производственнике. Я хочу добавить несколько слов о вас как о человеке... — Он помолчал немного и продолжал: — Вы проработали в комбинате двадцать лет, а точнее двадцать один год и восемь месяцев. Я же пришел сюда, как вы знаете, два года назад. А за те годы,

что вы работали счетоводом, сменилось четыре директора. О чем это говорит, товарищи? Это говорит о завидном человеческом качестве Анны...— («Васильевны»,— подсказала предместкома),— да, Анны Васильевны — о ее постоянстве.

Он оглядел зал, увидел внимательные лица и продолжал:

— Поверьте, нелегко расставаться с таким человеком, товарищи, но в жизни каждого из нас, как говорится, пробьет этот роковой час. Мы не прощаемся с вами, Анна Васильевна, мы говорим «до свидания». Мы еще надеемся поработать с вами, когда это будет нужно вам и нам.

Он кончил под громкие, дружные аплодисменты. У Анны Васильевны тряслись губы, и она надолго прижала платок ко рту. «Как хорошо говорят они, как все меня уважают,— думала она смущенно и растерянно.— Уж скорее бы кончилось все это, сил нет».

Но еще попросил слова главбух. Он с трудом взобрался на сцену, вытащил из кармана платок, протер очки, сунул их было в карман, затем надел обратно на свой большой нос и сказал печальным, тихим голосом:

— Уважаемая Анна Васильевна, мы много-много лет работаем с вами. Вы очень хороший работник. И вы очень-очень хороший товарищ...— Он замолк, потом добавил совсем тихо: — ...извините, пожалуйста,— и пошел на свое место.

Анна Васильевна взглянула на него встревоженно. Но тут на сцену вскочила коротконогая рыжая девчонка, пылающая румянцем, веснушками, морковного цвета кудрями, тряхнула головой, стрельнула в директора быстрым взглядом и весело заорала в зал:

— Наш профком приглашает всех на чашку чаю от себя лично... и от тети Ани, конечно, так что просим к нам в бухгалтерию... всех вас просим...— Она опять взглянула на директора, хихикнула, спрыгнула вниз, вильнув бедрами, и уже на бегу закончила: — Самовар не варит, чайник отчаялся!.. Чашки новые несите, посуды мало!

Все встали, заговорили разом, затолклись вокруг Анны Васильевны и чинным шествием с цветастой посудой в руках двинулись из зала.

Директор по дороге извинился — дескать, дела! — и пошел к себе. «А эта рыженькая — огонь»,— подумал он, усмехнувшись.

Чаепитие длилось недолго. Женщины поглядывали на часы, на сумки, наполненные покупками в обеденный перерыв. Анне Васильевне тоже хотелось домой. Она устала, ей было жарко в ее выходном шерстяном платье. Сполоснули торопливо чашки, новые упаковали в коробку от торта, разобрали с вешалки плащи-«болоньи». На улицу вышли вместе, но тут же стали прощаться. Кому налево, кому прямо через дорогу на остановку трамвая. Анне Васильевне направо.

С ней пошла ее приятельница Марья Петровна. Они подружились давно. Обе работали в швейном цехе в войну — шили ватники на армию. Обе были солдатками. И в один год потеряли мужей. Пантелеева осталась с двумя ребятами, а Косова одна. У той теперь внуки, у этой нет никого.

— Не расстраивайся ты, Нюра,— сказала Марья Петровна, заглянув в запавшие глаза подруги,— о здоровье своем подумай.

— Кому оно нужно, здоровье мое? — ответила Анна Васильевна.

— Что делать, на все воля божья.

Анна Васильевна только вздохнула в ответ. В бога она не верила. В тот страшный год, когда обеих подкосило горе, Марья Петровна нашла утешение в церкви. Анна Васильевна — нет. Она исцелялась работой.

Она любила свое несложное дело. Никогда она не говорила об этом.

Да и что тут говорить? Смешно. Просто она никогда не жаловалась, не охала, как другие, не кляла свою скромную долю. Работала она охотно, ловко, споро. Никто не мог скорее обнаружить ошибку, найти какую-нибудь проклятую копейку, от которой в конце квартала лихорадило всех. И все постоянно обращались к ней с просьбами — проверить, доделать, помочь. Она никогда не отказывала. Работала, и все тут.

Работала до этого года, до этого месяца, до своих пятидесяти восьми лет. А сегодня ее проводили на пенсию, и она шла с работы домой в последний раз. Как же все это получилось?

А вот так. Сначала Маша Пантелеева сказала, что передала ей под секретом машинистка, будто ее, Косову, хотят вывести на пенсию. Маша не знала, достоверно ли. Машинистка не говорила, откуда эти вести. Они поговорили, да и успокоились: мало ли что болтают. Все ж с этого дня что-то легло Анне Васильевне на душу — теснило и не давало дышать легко. Когда ее вызвала предместкома Антонина Рожнова, она подумала: «Ну, вот и правда», — и сердце забилося, а в горле сдавило.

Рожнова спросила у Анны Васильевны, сколько лет она работает в комбинате, потом поинтересовалась ее трудовым стажем в целом. Стала Анна Васильевна считать и насчитала почти сорок лет, а может, даже и сорок один. Девчонкой еще пошла работать. Разговор шел будто ни о чем, будто Рожнова просто интересовалась Анной Васильевной как предместкома сотрудицей. А потом вдруг Антонина сказала:

— Товарищ Косова, мне администрация предложила выяснить насчет вас некоторые вопросы, так как существует мнение, чтобы предложить вам выйти на пенсию.

— Что ж, Тоня, разве я работаю хуже молодых? На меня вроде еще не жаловались.

— Никто этого не высказывал, что вы работаете хуже молодых. Просто вы много их старше. Они еще не достигли пенсионного возраста, а вы уже достигли.

— Так почему же я должна уходить, если я работаю не хуже их, объясни мне, Тоня?

— Да что вы в самом деле от меня хотите? — рассердилась Рожнова. — Я ведь вам не сказала, что вы хуже. Мы и не сравниваем вовсе, хуже или лучше вы работаете. Мы с вами совсем о другом говорим. Вы проработали сорок лет, а другие, молодые, совсем еще не работали. Вот и дайте им тоже поработать.

Перед этим доводом, непреодолимым, как могильная плита, Анна Васильевна смолкла. Что она могла возразить? Антонина, должно быть, права. Все же она высказала свое желание поговорить с главбухом — он ее работу понимал.

— Не выводите вы, Косова, главбуха из нормы. Видите, человек едва ходит, за сердце держится. Говорить с администрацией ваше право, конечно. Директор, кстати, сказал: «Если она — вы то есть — заявление подавать не захочет, проводи ее ко мне». Вы можете с ним не соглашаться, можете на него даже жаловаться, но я лично панику бить вам не советую.

Анна Васильевна вернулась к себе в бухгалтерию, написала заявление и тут же отнесла его в кадры. Было это две недели назад.

А налево пошли трое — главбух Яков Моисеевич Зускин, бухгалтер Людмила Харитоновна и счетовод Лелька Морковкина. Людмила, обстоятельная и спокойная, никогда не спешила, а рыжая Лелька, или Лелька-Морковка, всегда торопилась, опаздывала и бежала. Сейчас ей стоило больших усилий идти рядом с полутчиками. Но день был особенный, и было жалко Якова Моисеевича: старик совсем расхандрился,

факт. Лелька слушала вполуха его сетования да участливое поддаживание Харитоновой, а сама жадно обдумывала свои дела.

«Хорошо, если Юрка уже сбежал за Алькой в садик. А если Юрка заигрался и забыл? Что лучше — искать Юрку по дворам или самой бежать за Алькой? Обед сделаю побыстренько: поджарить котлеты, сварить макароны — одна минута. Кажется, Веньямин не играет сегодня. А вдруг играет? Играет или не играет? Забыла... Склероз! Факт — не успею выгладить ему белую рубашку. Пять вечеров в неделю требует он чистую рубашку. Ужас, как потеет на работе. А еще говорят: «Подумаешь, работа — в трубу трубить!», потрубили бы сами... Вот будет бенц, если не приготовлю рубашку!»

Муж терзал Лельку двумя страстями — чистыми рубашками и ревностью. Рубашки она проклинала, ревность — приветствовала. Ревность оведала ветром романтики ее до жути повседневную жизнь. Лелька вспомнила директора. Она обязательно расскажет Венчику про его сиропный взгляд... И как потом... когда они пили чай, директор положил руку на спинку ее стула и шепнул ей в самое ухо: «Налейте мне чаю — из ваших ручек он слаще...» Нет, не так. «В ваших ручках чай превращается в вино...» Или, может, так: «Ваш чай пьянит меня, когда я смотрю на вас». Ага, вот так!

Наконец-то ее угол! Все же на прощанье она пытается утешить Якова Моисеевича:

— Что вы так разгоревались об Анне Васильевне, как о покойнице все равно. Нехорошо даже. Вышел человек на пенсию... так ведь это же счастье! Да если бы мне сейчас дали пятьдесят пять рублей и сказали: «Вы свободны, товарищ Морковкина» — да я бы...

— Не болтай ерунду, — оборвала ее Людмила, — вот лучше сговоримся всей бухгалтерией, да и сходим к ней в гости на той неделе.

— Точно, — обрадовалась Лелька, — ну, пока!

Вскоре свернула и Харитонова. Яков Моисеевич пошел дальше. И как остался один, тотчас мысли его вернулись к тому майскому дню.

Сразу же после майских праздников директор комбината Шавров вызвал Якова Моисеевича к себе.

— Добрый день, Яков Моисеевич, — приветствовал его директор, протягивая ему руку и подвигая серебряный портсигар, — закуривайте!

— Благодарю вас, Павел Романович, я не курю, — отвечал Яков Моисеевич, притрагиваясь двумя пальцами к левой стороне груди, что означало: сердце не позволяет.

— Я хотел спросить, Яков Моисеевич, есть ли у вас в бухгалтерии сотрудники пенсионного возраста? Разумеется, не о вас речь. — Директор улыбнулся, он шутил: без Якова Моисеевича комбинат обойтись не мог, сам директор называл его «бухгалтером высшего пилотажа».

— Так как у вас насчет старушек в вашем гареме, а?

Яков Моисеевич отвел глаза. Не хотелось ему говорить об этом. Он попробовал отшутиться.

— В моем гареме все молоды, а те, кто постарше, еще моложе молодых, — сказал он уныло.

Но директор уже не был расположен шутить. Заглянув в какой-то листок, он перешел к делу:

— Есть у вас счетовод Косова с девятьсот седьмого года. Я думаю, ей пора на отдых. Какой у нее оклад — семьдесят? Ну, потеряет она немного — рублей пятнадцать — восемнадцать.

— Она хороший работник, — возразил главбух.

— У вас нет плохих, я вас знаю. А впрочем, если есть плохие, давайте от них избавляться. Так есть кто-нибудь конкретно на выход?

Яков Моисеевич молчал.

— Ну, хватит переживать,— примирительно сказал директор.— Как я понимаю, Косова самая подходящая кандидатура. Пора уж ей отдохнуть! Старику своему пироги будет печь, внуков нянчить.

— Муж у нее погиб на войне.

— Так это когда было! Двадцать лет как война кончилась. Она небось давно себе другого нашла.

— Нет у нее никого. Ни детей, ни внуков. А работник она хороший, отличный работник.

— Ну, Яков Моисеевич, давай не будем спорить.— Шавров начал выбивать пальцами дробь по столу. Всем в комбинате был известен этот признак наступающего раздражения.— Как это у нас в песне поется? «Молодым у нас всегда дорога, старикам у нас везде почет». Надо же растить новые кадры.

Яков Моисеевич спросил, имеет ли директор в виду конкретную кандидатуру.

— Посмотрим, посмотрим,— рассеянно отвечал Шавров, перелистывая бумаги в папке.

— Значит, договорились?

— Не хочется обижать хорошего человека,— вздохнул Яков Моисеевич.

— А вы не обижайте: вы ей проводы организуйте получше, ценный подарок сделайте...— Директор вытаскивал кошелек на молнии, зашуршал бумажками.— Вот,— сказал он, доставая трешник,— хотя нет, есть и без сдачи,— и он извлек из-под бумажек серебряный рубль.— Да и вы там смотрите не скупитесь!

— Нет уж,— возразил Яков Моисеевич,— пусть этим занимается местком.

— Ну, хорошо, хорошо,— согласился директор,— с тобой согласовано, остальное без тебя обойдется. И с Косовой поговорим без тебя.— И он набрал номер месткома.

— Алло! Рожнова? Шавров говорит. Слушай, Тоня, ты Косову из бухгалтерии знаешь? С девятьсот седьмого года она. Как ее находишь? Неактивная? Слышите, Яков Моисеевич, неактивная ваша Косова. Ну, ладно, ладно, зайди ко мне, Рожнова, есть разговор. Минут через десяток. Все.

Яков Моисеевич поднялся. Ему очень хотелось положить руку на грудь, болело сердце. Но он удержался.

— Да, Яков Моисеевич, ваше заявление я прочитал. Сейчас мы с Рожновой обговорим. Хочется пойти вам навстречу, но и о делах, конечно, забывать нельзя.

Это было заявление о дополнительном отпуске без сохранения содержания. Яков Моисеевич давно ждал решения.

«Ах, как нехорошо, как скверно,— думал главбух, спускаясь по лестнице,— стар я стал, совсем стар».

А навстречу ему уже шла Рожнова, одергивая джемпер, поднимающийся на толстых боках.

Анна Васильевна пришла домой, села на стул и долго сидела, не двигаясь, ни о чем не думая. Потом ей захотелось картошки с зеленым луком. Она с утра ничего не ела. И торт не могла есть — разнервничалась.

Анна Васильевна сняла парадное платье, надела халатик и пошла

на кухню. На кухне было пусто. Она обрадовалась: говорить ей не хотелось. Анна Васильевна поела, выпила чаю, вымыла посуду. Подумала поштопать чулки или почитать газету, но так захотела спать, что едва стало силы постель переодеть.

Она легла на свою старую кровать с растянутой сеткой, погасила свет, устроилась поудобнее на правом боку и, сладко вздохнув, закрыла глаза. В голову полезла всякая мелочь, как всегда перед сном. Не забудет ли Лелька-Морковка переделать счет на оплату приклада... Что-то тянет из кухни горелым, всегда эта толстуха начадит в квартире... А где же ее носовой платок? Нет его в сумке — потеряла, должно быть, жалко... Интересно, ревновал ли сегодня Лельку Венъямин за опоздание? Завтра расскажет — целый роман...

Но тут ее как током ударило — не увидит она завтра Лельку! Не идет она завтра на работу!

Анна Васильевна метнулась на спину так, что сетка чуть не сбросила ее на пол. Тревоги — большие и малые — кинулись на нее. Как она теперь будет жить? Что делать? Куда девать время? Пальто вот не справила в прошлом году, отдыхать поехала. Теперь, пожалуй, пальто ей не под силу. Если на питание в день положить... И Анна Васильевна принялась обдумывать новый бюджет. Потом пожалела, что не копила денег, все тратила. Правда, деньги у нее всегда были небольшие, где тут было копить. Вот если бы раньше, когда жили с мужем... А долго ли жили?

Замуж вышла она поздно. И совсем бы не вышла, не встретить она такого же, как сама, скромного, тихого, неустроенного человека. Первая жена разочаровалась в нем, недобытчике, развелась, отсудила у него полкомнаты, а потом выжила совсем. Снял он угол у старушки вот в этой самой квартире. Жила тогда Аня с матерью в большой комнате. Теперешняя ее комнатка — только кусок, отрезанный от той, большой. Вон и окно очутилось где-то в углу.

Она взглянула на окно — небо уже светлело. Сказала себе строго: «Надо спать, скоро утро». Но сон не шел.

В предраассветной полутьме разглядывала Анна Васильевна свою комнату, будто видела ее в первый раз. Узкая, скошенная. Вон, в головах пошире, к ногам поуже... «Что же это, на гроб похоже, ей-богу, на гроб». Ей стало страшно. Представилось, что стены сжимаются, потолок опускается ей на грудь. Дышать стало трудно. А тут еще на тополе под окном проснулась ворона, каркнула ржавым голосом три раза.

«Не к добру это, вот уж не к добру», — с тоской подумала Анна Васильевна. Слезы опять задрожали в ней. Но мысли снова не дали заплакать. Вспомнились последние томительные дни.

В бухгалтерии много говорили об уходе Анны Васильевны, строили разные предположения, жалели ее, потихоньку осуждали Якова Моисеевича, ругали Рожнову. От этого сначала Анне Васильевне полегчало, обида будто стала отходить. Но вскорости эти разговоры сделались ей невозможны — душа уставала. А тут еще время остановилось — не идут дни, и все.

Потом всем прискучило жалеть Анну Васильевну, и заговорили о другом — кого же им бог пошлет.

— Начальство знает, кого бог пошлет, — хихикнула Лелька.

Начали думать и гадать, какая будет она, новая сотрудница? «Небось фря какая-нибудь», — сказала Харитоновна. Лелька стала представлять ее, эту будущую — фрю. Складывала губы трубочкой, едва цедила слова, суюкала, ходила, не сгибая колен, на цыпочках, считала на счетах, растопырив пальцы рогульками, и говорила, томно закатывая глаза: «В итоге имеем миллион копеек и сто тысяч рублей». Все смея-

лись; с Лелькой, известно, не соскучишься. Но у Анны Васильевны щемило сердце — они ее уже забывали.

Заснула она ранним утром. Вершина тополя засветилась — взошло солнце. Проснулись птицы, двор наполнился щебетом, звоном, писком. Заняли голуби на карнизах. Дворничиха зашорхала метлой по булыжнику, загремела железом. Анна Васильевна этого не слышала.

Ожило радио в открытых окнах — пробил кремлевские куранты, бодрый марш позвал на зарядку... Раздались громкие голоса, детский плач, где-то протарахтел мотоцикл. Женщина крикнула нетерпеливо: «Ваня, скоро ты?» Люди отправлялись на работу. Анна Васильевна спала.

Разбудил ее громкий звон. Звенел будильник — весело, отчаянно, пристукивая металлическими ножками по столу и медленно разворачиваясь круглым корпусом.

— Ты что, очумел? — ласково спросила его Анна Васильевна сонным голосом. Никогда не заводила она будильник, всегда просыпалась вовремя. Но стрелки показывали уже восемь часов. «Опоздала?!» — ахнула она и быстро села, сразу же сунув ноги в тапочки.

И только теперь вспомнила: ей никуда не надо идти. Не надо вставать. Ничего ей не надо.

Она сидела на краю кровати, опустив вялые руки. А будильник звенел и звенел. Казалось, конца не будет этому напрасному звону.

1966 г.

У Никитских и на Плющихе

В январские крепкие морозы двадцать третьего года Таля переехала к отцу. От него до первой опытной школы МОНО, где она училась, было семь минут, а из дому почти сорок. У отца просторная светлая комната в три окна на три части света. Через восточное видна Спиридоньевка до поворота к Никитским. Большое цельное стекло такое прозрачное, будто его нет совсем.

В это окно они провожали и встречали друг друга. Кто провожал — стоял у окна; кого провожали — оглядывался и махал рукой. А тот, кого встречали, видел, что его ждут, и еще издали начинал улыбаться. Таля любила это окно.

В комнате было много книг — они стояли на полках, лежали на письменном столе, на стульях и даже на полу. Около стола висела фотография в деревянной рамке. На ней большая группа. Это госпиталь, в котором работали когда-то, очень давно, отец и мать. Вот они совсем молодые: он — высокий, без бороды, в военном мундире и фуражке с кокардой — военный врач, а она на другом конце группы — тоненькая, в длинном платье, белом переднике и сестринской косынке, крепко охватывающей круглое миловидное лицо с прямыми бровями.

Тале у отца нравилось. Жилось ей весело, беззаботно, празднично, как будто все еще продолжались каникулы. Утром они пили вместе ароматный кофе, отец варил его тут же на плитке. Она собиралась в школу, он — на работу. Таля уходила раньше. Отец еще был в ситцевом фартуке, который надевал для уборки. Она смеялась над ним, а он дурашливо махал посудным полотенцем, изображал прислугу и называл Талю «матушка-барыня». Прощаясь, отец давал ей горстку серебряных монет — сколько вынется из кармана. Если вынималось больше, гово-

рил: «Богатый день», если меньше: «Бедный день». Но денег всегда хватало, чтобы по дороге из школы поесть в молочной у Никитских, в доме, где на стене сохранились темные следы снятых букв «Чичкинъ» и «Бландовъ».

Таля приходила домой, читала, лежа на диване, или перебирала пачку старых журналов, смотрела картинки. Потом делала уроки.

Отец возвращался с работы к вечеру. Она поджидала его, поглядывала в окно. Наконец его высокая фигура появлялась из-за поворота. Шел он не опеша, немного сутулясь, наклонив голову. Еще издали он поднимал руку — и она махала в ответ книжкой или тетрадкой.

Он приносил в комнату запах снега, хорошего табака, йодоформа. Тале отец нравился. Он был красивый, с мягкой каштановой бородкой, высоким лбом, ясными карими глазами.

Он знал все на свете — как называются звезды, видные вечером в большое окно, про жизнь богов на Олимпе, про Микеланджело и Рафаэля, про Галилея и Коперника, про всемирный потоп и Ноев ковчег, и куда улетают на зиму ласточки и журавли. А о каждой стране мог рассказывать так, будто жил там много лет и все видел сам.

Вечером они читали — каждый свое или что-нибудь вместе, вслух. Отец знал на память много стихов. Он читал ей Гейне на немецком, мягко грассируя, почти не выговаривая «р», или Брюсова, Бальмонта.

Отец хорошо рисовал. Когда он рассказывал Тале о чем-нибудь, он делал быстрые маленькие рисунки. Таля слушала его, стоя на коленях на стуле, опираясь подбородком на сложенные руки и внимательно следя за карандашом. Она любила отгадывать с первых штрихов, что появится на бумаге.

Еще у них была такая игра: нарисовать верно по памяти любое животное или птицу. Таля выбирала. Они садились на разных концах стола. Таля рисовала медленно, неуверенно, часто останавливалась и, вытянув шею, пыталась заглянуть к отцу в блокнот. У нее получался тягелый пряничный конь, «першерон», как говорил отец, с вывернутыми ногами, в которых все суставы сгибались наоборот. А отец рисовал легких быстрых коней — бегущих, скачущих, стремительных. Талины рисунки смешили их обоих.

Потом они пили чай, заваренный по особому способу, — горячий, душистый, с вкусными бутербродами, мягкими сдобными булками. Если у Тали не ладилось с уроками по физике или математике, отец охотно помогал и объяснял просто и ясно, используя для наглядности все, что оказывалось под рукой: термометр, угольник или маленькие медные весы с крохотными гирьками — давнишняя принадлежность его врачебной профессии.

А потом сдвигали два низких кресла, Таля стелила себе постель и ложилась спать, укрывшись клетчатым пледом, от которого тоже пахло табаком и лекарством. Отец гасил верхний свет, оставалась гореть только странная лампа с металлическим резервуаром и абажуром козырьком. Отец говорил, что при такой лампе писал свои сказки Андерсен. Отец сидел под светом старой лампы. В ночной тишине слышался скрип пера и шелест страниц.

Из своего угла Таля смотрела на отца, на его лысеющую голову, на длинные тонкие пальцы, которыми он ворошил бородку, и думала: как ей хорошо с ним и как жаль, что они не живут все вместе.

«Завтра я спрошу его непременно, — думала Таля, засыпая, — почему он ушел от нас?»

Но проходил еще день, а она все не спрашивала.

В субботний вечер отец приготовил ей сюрприз. Когда они сели за вечерний чай, она обнаружила на своей тарелке под бумажной салфет-

кой часы. Это были мужские ручные часы с надписью «Мозер» на красивом плоском циферблате, окруженном четкими цифрами, с тоненькой быстрой секундной стрелкой. Таля от радости завизжала, затрясла каштановыми кудрями, захлопала в ладоши, но этого было мало, и, вскочив на диван, она перекувырнулась, прижав голову к острым коленкам и высоко взбрыкнув ногами. Отец засмеялся, крикнул «браво», а потом привлек ее к себе — худую, длинноногую, как все девчонки в тринадцать лет, и такую же кареглазую, как он.

— Ну, верблюжонок, значит, я тебе угодил? — И он помог надеть часы ей на руку, для чего потребовалось повертеть в ремешке еще одну дырочку. При этом он говорил, как нелегко сейчас достать хорошие часы, а маленькие часики и вовсе невозможно.

А еще через день этой веселой, беспечной жизни пришел неожиданный конец. Таля вернулась из школы, повалилась на диване, потом встала делать уроки. Посреди письменного стола она увидела надорванный сиреневый конверт с именем отца, а рядом сложенный вчетверо листок такой же сиреневой бумаги. Она взяла его неприязненно, листок развернулся, как будто нехотя, и Таля прочла: «Я влюблена в тебя, как девчонка». Она продолжала чигать, хотя поняла сразу, что это с т ы д н о е письмо. Щеки и уши у нее горели. Письмо кончалось множеством поцелуев — и подписью: «Рита». Потом Таля стала читать письмо с начала, и читала опять и опять, как будто хотела продлить ощущение боли, им вызванной. Особенно обижали ее слова: «Жду не дождусь, когда ты опять будешь один». Но еще нестерпимее была фраза, в которую Таля долго вчитывалась, чтобы понять ее тайный смысл: «Когда ж наконец зажжется волшебная лампа на нашем окне?»

Вдруг Таля почувствовала ужасную усталость. Она легла на диван, подтянув колени к подбородку, и закрыла глаза. Полежав так немного, Таля вскочила, оторвала чистую страницу от письма и вывела на ней четко карандашом:

«Я ухожу домой. Возьми свои часы. Они мне не нужны.

Таля».

Она стала снимать часы и заторопилась. Наступало время прихода отца. Таля дергала ремешок, но он не расстегивался. Вдруг она услышала, как хлопнула входная дверь. Это он! Таля простояла несколько секунд в каком-то оцепенении, потом сунула письмо под бювар, скомкала в кулаке записку и бросилась на диван, зажмурил глаза, стараясь зарыться, закопаться как можно глубже в подушки.

Отец прошелся по комнате и остановился над ней.

— Ты что, верблюжонок, спишь? — спросил он.

Таля молчала. Отец отошел, потом вернулся, присел возле и тронул рукой ее лоб. Таля вся сжалась — она чувствовала, как щекоцут в носу слезы, боялась заплакать.

— У тебя что-нибудь болит? — встревоженно спросил отец.

— Да, живот,— жалобно простонала она, уже веря в эту боль.

Отец забеспокоился, стал расспрашивать, что она ела, просил показать, где именно болит, высунуть язык, повернуться, раздеться — он хотел ее осмотреть.

— Я ведь врач, верблюжонок, пожалуйста, не брыкайся.

— Оставь меня, оставь! — крикнула Таля и совсем как маленькая захныкала: — Я хочу к маме, хочу домой.

Отец понял ее состояние по-своему. Может, и правда девочке сейчас лучше быть с матерью.

— Ну что ж, поедем. Я тебя отвезу.

Она не хотела, чтобы он ее провожал, помог собраться и одеться, отталкивала его руки, мотала головой — и все это молча, зло, насупившись.

Он повез ее домой на Плющиху на извозчике. Обычно она любила эту езду на санках, но сейчас сидела, как деревянная, повесив голову и уставившись в одну точку — дыру на суконном фартуке, прикрывавшем их ноги.

Мамы еще не было дома. В непроветренной комнате пахло пылью, на столе стояла невымытая посуда. Отец не решался уходить, спрашивал, чем может помочь, просил Тялю лечь.

— Ничего мне не надо, я здорова, здорова, здорова! — крикнула девочка.

Извозчик еще стоял у ворот — с ним отец и вернулся домой. Только ложась спать, нашел он на диване комок сиреневой бумаги. С трудом развернув его, он прочел Талину записку и тогда все понял. Пошарив на столе, увидел под бюваром письмо. Надо же было распечатать его, торопясь на работу! «Ах, как все глупо вышло», — думал он с досадой. Потом перечитал письмо, улыбаясь, хотел бросить его в корзину для бумаг, но передумал, открыл ящик письменного стола и положил к другим письмам.

Тяля сидела на стуле и ждала, когда захлопнется дверь за отцом. Теперь дома ей снова хотелось заплакать. Чтобы удержаться, она подняла голову — пока слезы в глазах, не считается, что плачешь. Темный потолок в трещинах дрожал и переливался под ее взглядом. Слезы действительно проморгались, прошли. «Почему у нас в доме так плохо?» — думала Тяля.

Посреди комнаты все еще стояла железная печка-«буржуйка», пахнущая остывшей гарью, хотя батареи давно давали тепло. У двух стен под углом — железная некрашенная кровать и деревянный топчан под серыми байковыми одеялами. На квадратном столе, покрытом газетами, чашки, пустая сахарница, тарелка с засохшим хлебом. Окна без занавесок упираются в кирпичную глухую стену. Вместо шкафа — два ящика один на другом, покрытые какой-то полосатой тканью, рядом горка из корзины и двух чемоданов...

Тяля поднялась, открыла форточку, вынесла в кухню посуду, потом сорвала со стола и скомкала газеты. Она схватила было веник, но передумала и принесла ведро с тряпкой.

Тяля вспомнила старый разговор с мамой. «Почему мы не стелем скатерть каждый день?» — спросила как-то в праздники Тяля. «Разве это так важно — скатерть?» — ответила вопросом мама. — Не в этом счастье». Тяля тогда особенно не вдумывалась в ее слова. «Мама так мало бывает дома, вот ей и все равно», — решила она. Сейчас она объяснила это по-иному. «Мама не любит наш дом, потому что в нем нет папы». Ей вспомнился какой-то другой дом, не этот, на Плющихе, и не тот, у Никитских, а третий, далекий дом раннего детства — солнечный и теплый.

Рано утром, когда Тяля только начинает просыпаться, мама уходит на работу. Она фельдшерица на медпункте большого завода. Но, кроме работы, у нее еще куча всяких дел и нагрузок. То она на заседании ячейки, то на общем собрании, то ведет политзанятия, то в женотделе, то ее вызывают в райком, то она едет на субботник... Даже в выходной у нее дела — надо идти кого-то «обследовать», у кого дети не устроены, кто ждет очереди на жилплощадь, кому надо выдать пособие.

Тяля знает о маминих делах, у них так принято — говорить, кто куда уходит и когда придет. А еще мама рассказывает о многом, что

видит за день. «Ты представь себе,— говорит мама взволнованно,— открывает мне дверь вот такой мальчуган, на табуретку влезает, чтобы замок достать, а в комнате на полу сидит девчушка — совсем кроха, оказывается, он еще за ней смотрит, пока мать на работе, и кормит из соски. Оба мокрые, холодные,— ужас!»

Мамины дела идут за ней следом. Нередко прибегают к ней взволнованные женщины — молодые, пожилые,— им нужен срочно мамин совет. Иногда мама просит Талю выйти почистить на кухню, иногда уводит туда свою гостью. Они говорят вполголоса, а потом, провожая посетительницу, мама скажет громко что-нибудь вроде: «Так ты уж не сдавайся, делай, как решила», или «Вот узнаем все у юриста, тогда будем действовать», или же просто: «Не вешай нос, держись!» Таля не спрашивает, она знает — чужих дел мама не рассказывает. И так Тале ясно — мама нужна очень многим людям и отдает им все свое время. Редкий день приходит она домой раньше девяти-десяти вечера, а тут еще надо что-то постирать, зашить, сварить. «Вот тебе и скатерть!» — размышляла Таля, протирая пол мокрой тряпкой.

Но все же, когда была вымыта посуда и даже вычищен старый эмалированный чайник с забитым носиком, Таля открыла чемодан и достала голубую скатерть — единственную в их хозяйстве. Она застелила стол, поставила на него чашки, вымытую до блеска сахарницу, полный кипятку чайник.

В кухонном столе она взяла горстку вермишели и сварила ее с солью. Масла нигде не было. Зато нашлась нераспечатанная пачка чаю. Съев половину невкусного варева, Таля выпила свежесваренного чаю вприкуску. Было уже больше десяти вечера. Таля вырвала листок из тетрадки и написала:

«Маманюшечка, где ты пропадаешь? Я без тебя соскучилась, но больше ждать не могу — засыпаю. Не уходи завтра без меня, разбуди пораньше. Целую тебя 100 раз.

Твоя дочка Талка.
Ужин на столе».

Девочка заснула мгновенно и так крепко, что не слыхала, как через несколько минут стукнула дверь.

Мать сняла меховую папашку, сбросила на стул пальто, оглядела комнату и у порога стащила с ног бурки. В одних чулках дошла до стола и прочла записку, улыбнулась, подошла к дочери и поглядела на нее. Вернувшись к столу, попробовала остывшую вермишель, прошептала: «Черт знает что за гадость» — и тихонько засмеялась. Она тоже очень соскучилась, но до этого вечера даже не представляла как.

Потом она вытащила шпильки из туго свернутых на затылке светлых волос, помотала головой, распуская их, стянула темно-синий свитер и черную суконную юбку. Глаза у нее закрывались от усталости. В полотняной рубашке с круглым вырезом, открывающим крепкую белую шею, сидела она на краю своего топчана и плела длинную косу. Потом подождала минуту, как будто собиралась с силами, чтобы дойти до выключателя, и погасила свет.

Утром Таля проснулась оттого, что мама кончиком своей косы пощекотала ей лицо. Девочка села на кровати, не открывая глаз, обхватила мать за плечи и вместе с ней упала обратно на подушку.

— Эй, Талка, не спи,— сказала мама,— уже поздно.

Таля сразу проснулась.

— Ну вот, я же просила разбудить пораньше! А что же ты еще с косою?

— А у меня сегодня выходной!

— Весь день выходной?! Мам, ну позволь мне не ходить в школу — я так без тебя соскучилась! — взмолилась Таля.

— Ишь, нашла важную причину пропускать занятия, — засмеялась мама, — вставай-ка, вставай. Придешь из школы, пообедаем вместе. И знаешь, давай сбегает в киношку! Выходной так выходной, а?

Таля быстро собралась. У мамы завтрак был уже готов. На столе стояли хлеб, масло, сахар. Мама принесла чайник.

— Не ждала я тебя, Талка, честно говорю, заняла все у Александровны. Но сегодня все будет, и обед тебе будет. Только мне надо еще к докладу приготовиться: у меня завтра доклад важный.

Таля рассмеялась. Знала она мамины выходные дни! И обеды ее знала! Сварит суп густой-прегустой, ложка стоит, и скажет: «Это сразу первое и второе».

— Мам, а косы мыть? — Так они называли мытье маминых длинных волос. Мама давно бы остригла их, но Таля упростила ее оставить и теперь помогала.

— Ох, дочь, как надо косы мыть! Обязательно надо.

— Мне еще надо у тебя узнать кое-что.

— Например?

— Ну, например, почему мы так плохо живем?

— Плохо? Мы? Что именно ты называешь «плохо»?

— Ну, грязно и... бедно.

Мама оглядела комнату.

— Может быть, у нас и грязновато. Но, дочь, мы с тобой сами виноваты — обе большие. Давай сделаем чистоту.

— Печку снимем, и потолок надо побелить.

— Печку давай, а потолок отложим до весны. Что ж, назначай субботник! Но вот «бедно»... с этим я не согласна! Тебе чего-нибудь не хватает? Скажи!

Спроси ее мама: «Что ты хочешь?» — и Таля назвала бы сразу множество предметов: вязаный берет с помпоном, как у Люды Чесноковой, шерстяные перчатки, серую юбку, джемпер с галстуком... Но сказать, чего ей не хватает, было труднее. Ну, вот, пожалуйста, — ей не хватает ботинок с коньками... Мама удивлена: ведь Таля ходит на каток в своих обычных ботинках и «снегурки» у нее есть?! Зачем человеку две пары ботинок? Вот мама сказала, и действительно получается, что вторые ботинки — лишние.

— Мы еще поговорим с тобой о бедности, Талка. Сейчас я тебе скажу одно: у нас еще очень многие живут трудно — недоедают, не имеют самого необходимого. Мы должны устраивать нашу общую жизнь, чтобы всем было хорошо, понимаешь? А о себе мы, большевики, должны думать в последнюю очередь. Вот какое дело... Ну, беги!

Таля в пальто и ушанке, с книгами, перетянутыми ремешком, была уже в дверях, но вдруг вернулась.

— Мам, а почему мы не живем с папой? — спросила она.

— Опять двадцать пять! — воскликнула мама. — Мы уже говорили об этом, Наташа. — Строгая морщинка появилась у нее между пушистых бровей. — Он ушел от нас давно, тебе пяти лет не было.

— Это не ответ на вопрос, — нахмурилась Таля, — я серьезно хочу знать, и ты мне сегодня вечером скажешь, я уж не маленькая.

— Мы же в кино собирались, — каким-то детским голоском протянула мама, но лицо ее вдруг стало строгим, серые глаза потемнели. — Я не хочу об этом, понимаешь, совсем не хочу об этом говорить, — сказала она горячо. — И ты не говори со мной об этом, пока я сама не скажу, не захочу сама...

— Ну, хорошо, хорошо! — Таля прижалась к матери. — Не сердись, я не буду. Посмотри, мне папа часы подарил.

Мама взглянула мельком и продолжала так же взволнованно:

— Очень хорошо, очень хорошие часы. Он, отец твой, очень хороший человек. Слышишь, девочка? Ты мне веришь, что он хороший? — Мама повернула к себе Талино лицо, сильно сжав ее щеки ладонями. — Он прекрасный человек, и ты люби его, непременно люби!

Тале казалось, что мать сейчас заплачет. Это было необычно и страшно. Таля дернулась, пытаясь освободиться.

— Хорошо, мама, ну, хорошо, — отпусти же меня, я опаздываю!

— Ну, беги, беги. — Мама подтолкнула ее к дверям и крикнула в коридор: — Осторожно с трамваем!

От Плющихи к Никитским ходил пятнадцатый номер. Таля сидела в полупустом прицепе, промерзшем и белом от инея. Трамвай шел медленно, скрипел и постанывал от мороза. Нахмутив брови, такие же прямые и пушистые, как у матери, Таля сосредоточенно терла ледяной пятачок, продышанный кем-то в окне. Но в окно она не смотрела.

Все за окном было ей хорошо знакомо. Все от самого дома до большой розовой церкви на Арбатской площади, где с железным скрежетом трамвай поворачивал на бульвары, до желтого дома с колоннами, где ей выходить.

Таля думала о матери, об отце... Они оба хорошие, папа, конечно, тоже. Она любит их обоих, и папу тоже, несмотря на вчерашнее письмо... Но мама — как она говорила о нем сегодня... Мама любит его до сих пор, и как любит! Как же тогда... значит, мама несчастна?.. Но эти два слова невозможно было сочетать. Таля представила мать — ее быстрый, легкий шаг, порывистые движения, звонкий заразительный смех, глаза, меняющие цвет, — то сине-серые, то голубые, всегда блестящие. Несчастные не бывают такими! Но как мог он разлюбить ее? Что же случилось?

Сняв варежку, Таля скребет и скребет пальцем иней — кривая бороздка похожа на вопросительный знак. А в ледяной глазок уже виден желтый дом с белыми колоннами.



Н. КИСЛИК

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Проходил человек по местам партизанским,
по своим заметным следам,
по стоянкам лесным да по избам крестьянским,
как по вновь наведенным мостам.

По ночам, когда память бессонней и резче,
нелегко равновесье сберечь:
чуть задремлешь — овчарки забрешут в зарежье,
завучит чужеземная речь...

Спишь — идешь, пробудился — идешь из разведки,
тень беды за спиною бредет,
и качается жизнь на тонюсенькой ветке,
прикоснись — и она упадет.

Но из бездны над сонной стрехой сеновала
только спелые яблоки падали в ночь,
за дощатой стеною корова дышала
так тепло и печально, что слушать невмочь...

Но какую надежду он брал в проводницы
в этом странствии странном своем?
Что в свой срок не сбылось, так тому уж не сбыться,
а потери — все были при нем.

И спускался он вниз, и, садясь на порожке,
к косяку прислонившись плечом,
папирску прикуривал от папирски
и все думал и думал...

О чем?

Пахло хлебом и хлебом — всей прочностью быта,
жизнь творила себя, как и следует быть:
чему должно забыться — все было забыто,
не забылось — чего не забыть.

* * *

Восходящие ступени,
неотложные дела...
Понимаю иступленье
закусивших удила.

Понимаю самолеты,
понимаю поезда,—
есть у них свои расчеты,
светит им своя звезда.

Совладать с собой не могут,
ускорение растет...
Ну, а я уже не молод,
у меня иной расчет.

Перемен необычайных
ни в природе, ни в судьбе
никому не обещаю,
не пророчу сам себе.

Мне б нежадными глотками
пить неспешные часы
под седыми облаками
среднерусской полосы.

Роща светится сквозная,
тронутая желтизной,
и уходит, как связанная
между вечностью и мной.

Разве ж нужно, разве можно
проноситься второпях?
Сам с собою разминешься
на подобных скоростях.

Мне бы так, чтоб длилась, длилась,
не кончалась никогда
зарев дивность, станций дымность,
леса дальнего гряда.

Чтобы шли и шли березы,
некичливы и легки,
как вдоль самой кромки прозы
некрикливые стихи...



ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

В СОРОК ВТОРОМ

Из воспоминаний

Кранк — по-немецки больной.

Утром все из барака уходит на работу. Это минута тревожного счастья для кранка. Счастья — потому что именно в эту минуту он по-настоящему ощущает, насколько ему под одеялом лучше, чем всем, кто сейчас наматывает портянки, дрожит от холода, заправляя койку, переминается с ноги на ногу перед собственным шкафчиком, хотя нечего тут переминаясь: шкафчик пустой, полки из прессованного картона голы, гладки и вызывают болезненную изжогу, когда трогаешь их рукой или хотя бы только взглядом. Хлеб — остаток пайки, который лежал здесь вечером, сберегаемый на завтрак, — съеден. Съеден самим же хозяином, о чем хозяин не может не знать. Вчера сам положил, замком прихватил дверь шкафчика, старался думать о чем-то другом, забыть, что рядом, в шкафу, лежит хлеб. Но куда бы ни шел — все возвращался к шкафчику, открывал дверцу, обманывая самого себя, что нужно ему тут что-то такое достать или осмотреть, но доставал только остаток пайки. Дышал на хлеб, нюхал его, клал на место, не тронув, но потом все-таки брал в руки опять и надрезал с того края, где горбушка была неровной, — подравнивал. Все дело было в том, чтобы подрезать хлеб и все-таки оставить его размерами точь-в-точь таким, каким он был раньше, когда его только положили в шкаф. Эту неразрешимую задачу владельцы паек неумоимо решали каждый вечер. Пайка подравнивалась и укладывалась на ту же гладкую полочку — вторую сверху — из прессованного картона. Вторая полка и выделена была специально для хлеба и для других припасов: маргарина, картошки — если удастся украсть, — брюквы. Вторую полку в этих банных шкафчиках никто, конечно, не предназначал специально для продуктов. Но кто-то первый положил на нее хлеб, и все остальные в лагере тоже стали класть. Но выбрали ее для продуктов не случайно — полка эта как раз на той высоте, которая и должна быть выбрана в лагере для хлеба: откроешь дверцу — и сразу все видно. Правда, и опасается лагерник тоже: хлеб надо прятать, класть его куда-то совсем наверх, чтобы вор не сразу его нашел. И есть такие осторожные, что поначалу кладут свой хлеб не на вторую полку, а на самую верхнюю и засовывают его подальше вглубь. Откроешь дверцу — ничего не видно. Только гладкая полка из прессованного картона. Надо стать на цыпочки и засунуть в глубину руку. Но ведь пока станешь на

цыпочки, пока нашаришь вслепую на верхней полке пайку — сердце десять раз кровью обольется. Особенно если забудешь, в какой угол сунул пайку. Поиграешь с собой несколько раз в такую жуткую игру — и все. Хватит. В следующий раз положишь — если будет что класть — на вторую полку. Открываешь дверцу — и все сразу перед глазами.

Но пайка редко лежит с вечера до утра.

Вечером после баланды пайку несут в барак. Кто совсем целую — не портить же вкус хлеба баландой! — кто слегка надрезанную. Несут в барак потому, что хлеб разумно оставить на утро, когда есть совсем нечего. Несут потому, что твое великое наслаждение — вот оно, все взвешено и измерено. Больше его у тебя не будет ровно сутки. Двадцать четыре часа. И ты, естественно, отодвигаешь это наслаждение как можно дальше. Чтобы как можно дольше оно было у тебя все еще впереди, а не позади уже. Несут в барак еще и потому, что кто-то ведь обязательно принесет. А это невероятная мука, если он будет есть у тебя перед глазами — а где же ему еще есть! — а у тебя в шкафу будет пусто.

И вот приходят люди в барак со своими пайками, половинками паек, двумя третями и глазами взвешивают чужие пайки в чужих руках. Столько ли другие съели, сколько и ты, или меньше. И какая пайка им досталась: большая или маленькая. Есть такие удачливые, которым всегда достается большая пайка.

Потом укладываются на койки поверх одеяла, закуривают, если кого есть закурить, стреляют бычка у тех, кто курит, — хлеб и сигареты в лагере все получают одинаково, но если можно выкурить свои сигареты и попросить окурок у более бережливого, то кусочек хлеба не попросишь; разговаривают о чем-то — о делах на фронте, о лагерных делах, — в карты соберутся играть, но не в «дурака», не в «шестьдесят шесть» — в лагере в неазартные игры просто не играют, — а мыслью все кружат и кружат вокруг своих паек.

Кто-то не выдерживает, открывает шкаф... И вот утром стоят у пустых шкафчиков.

У кранка и подавно в шкафу ничего нет. Пайка у него поменьше, а времени свободного — весь день. И пайку ему выдают еще днем, вместе с теми, кто работает в ночной смене. Можно, конечно, подождать и получить пайку вечером, с теми, кто придет после дневной. Но кто ж удержится! Кранк свой хлеб получит днем и днем же его съест. Кранки себя не обманывают. Целый день лежать на койке и мучить себя мыслью о хлебе, который лежит рядом! Хлеб съедают сразу. Тем более что кранки — люди лихие. Аристократия лагеря. Люди, которые идут на членовредительство, чтобы не работать.

Поэтому кранк утром испытывает не просто счастье человека, избавленного от непосильного каторжного труда, но еще и удовольствие от мысли, что он все-таки ловчее и умнее всех этих кряхтящих, измученных голодной изгойей, невыспавшихся людей. Они идут туда, куда их гонят, а он сам распоряжается своим телом, сам кует свою лагерную судьбу. Но кранк еще испытывает и страх, потому что длительное кранкование подозрительно, потому что долгих кранков рано или поздно из лагеря куда-то отправляют. Уже нескольких отправили, и они, говорят, объявились в Освенциме. Впрочем, утренний страх кранка не имеет точных очертаний. Просто страшно: все уходит, а ты остаешься один. Заглянет полицай — а ты один.

Наконец все уходит, барак пустеет. Затихают голоса полицейских — они сделали свое утреннее дело, выгнали всех на работу. Теперь у кранка есть несколько сравнительно спокойных минут. Полицейские отдыхают. Потом они придут с проверкой. Заглянут в комнату, пересчитают тех, кто

остался в бараке. Спросят, почему остались. «Ночная смена? Хорошо!» Ночных беспокоить не будут. Но кранков обязательно сгонят с коек. В болезни полицаи не верят. Больных, освобожденных от работы, полицаи классифицируют по-своему. Улечь под одеялом имеет шансы только тот, у кого высокая температура, бред, очевидная беспомощность. Люди, у которых на перевязи рука, хромые, вынуждены прятаться весь день, иначе полицаи загонят их на работу. Люди с больной ногой или рукой — это, как правило, профессиональные кранки. Они болеют долго, с редкими перерывами. Когда кранковать становится опасно, кранк выздоравливает и отправляется на работу. Месяц, иногда полтора он встает вместе со всеми в шесть утра, бежит в умывальник и в уборную, заправляет койку, запахивает на голой груди спечовку — во время кранкования, сидя в теплом бараке, обходился без рубашки, обменял ее на хлеб — и, сжимаясь от холода, мелко дрожа от непривычки, оттого, что и фабрика и дорога к ней давно для него стали тем, с чем нельзя, униженно смиряться, идет в цех, берется за тачку и кривляется, показывая всем встречным, что это вынужденное отступление, что он не станет грязной тачкой руки пачкать. Дикое, ужасное значение работы в чужом цехе, на чужой фабрике, под началом немцев, которые с утра до ночи и с ночи до утра делают здесь мины, снаряды, гусеницы для танков, в первый день особенно ясно открывается кранку. Особенно подавляющим открывается ему в первый день значение каторжного труда — труда, не только не имеющего смысла для него лично, но и направленного прямо против него. Правда, то, что он делает сам, имеет ничтожнейшее значение. Он всего лишь возит на тачке землю из одной кучи в другую: из кучи на дворе в кучу, возвышающуюся в цехе, у мюлли.

Землю машина перемелет, пересечет, соединит с песком и с другими материалами, так что только в конце этого процесса получится формовочная масса. Эту формовочную массу другие рабочие — русские, поляки, украинцы, французы — тачками отвезут к формовочным станкам. Немцы, работающие на формовочных станках, лопатами набросают эту землю в формы и будут трамбовать ее на своих станках, а готовые формы составят в ряды, так что эти ряды образуют улицы и переулки, по которым можно будет бегать с фанами — высокими ведрами, внутренность которых выложена огнеупорным кирпичом. Ведра эти, налитые до краев жидким металлом, весят килограммов семьдесят—восемьдесят, а носят их вдвоем на длинных металлических ручках — специальных носилках для фан. Впереди одна ручка, сзади две. Тот, кто бежит впереди, держит носилки за одну ручку, второй — за две. Второй — главный, он не только несет, но и разливает металл по формам. Он прицеливается ведром в узкую воронку в форме, наклоняет ведро и следит за тем, чтобы вовремя, как раз в тот момент, когда из контрольного отверстия формы покажется металл, отвести ведро и бежать к новой форме. Поэтому второй — немец, а первый кто угодно, и очень часто — русский. Так они и бегают вдвоем, и русский и немец, от большого ковша, который только что привез цеховой мостовой кран, к своим формам. Бегают потому, что металл не ждет — несколько лишних минут, и он перестанет литься, затвердеет в ковше или в фане, остановится на полдороге в форме, — и потому, что у каждого свои формы, их все равно надо залить. Чем скорее зальешь, тем скорее освободишься. Немец с утра формовал, теперь заливает формы, а пройдет полчаса, опущенные металлу на остывание, и немец выбьет штыри, закрепляющие обе половинки формы, а русский ударами молотка разобьет в формах землю, отделит ее от мин, в которые запекается в земле металл. И все это — и заливка и разборка форм — всюду, на всех заводах, называется горячей работой. Так же она называется и на

этом немецком заводе, потому что это действительно работа с огнем, с металлом, который разогрет до полутора тысяч градусов и который, остывая, отдает эти градусы земле, запекая и высушивая ее, заполняя поры этой земли дурно пахнущим газом. Разбитые формы, разваленная земля, сизо-черные болванки мин, связанные воедино металлической пуповиной, — все это сразу же наполняет воздух в цехе дурно пахнущим газом. И люди, наклоняясь, чтобы подхватить крючком связку болванок или сгрести лопатой горячую землю, наклоняются как будто специально затем, чтобы глубже вдохнуть в легкие этот газ. Они травятся этим газом, но если посмотреть на них со стороны, то кажется, что работать им весело. Ибо ни одного движения они не делают медленно. Ни в каком другом цехе не работают так быстро, так бегом, с такими криками, как в литейном. И никогда там быстрее не работают, как в то время, когда идет заливка. И было бы на них совсем весело смотреть, если бы в литейном не было бы так много черного цвета земли, копоти, если бы не были так закопчены и болезненно потны лица работающих, если бы свет, их освещающий, свет закопченных электрических ламп, а главное, красный, весь в искрах, пульсирующий свет металла, от которого они отворачивают лица и который им все-таки бьет в лица снизу, не был бы так мрачен и как будто даже опасен. Иногда металл в фане или выплеснувшийся из фаны на мокрую землю ведет себя, как бенгальский огонь: шипит и взрывается сотнями искр. Но это не бенгальский огонь, а искры весят столько же, сколько весят тяжелые дробины. И люди, держащие ведра, вздрагивают, когда раскаленные дробины бьют их сквозь одежду — вздрагивают, но не выпускают ручек носилок: выпустишь — взорвется весь металл. Так и бегут они: впереди истощенный русский, явно исходящий потом не только от жары, от опасности, но и от слабости, а за ним более сытый, но тоже худой и закопченный немец — толстых немцев на заливке не бывает. То, что русский бежит-догоняет свою смерть, — это всем видно. Немец же кричит, погоняет его, немец делает свою работу, это он свои формы заливает металлом, это он на своей горячей работе получает освобождение от фронта и прибавку к хлебным карточкам, это он стремится побыстрее занять очередь к большому ковшу, из которого льется металл в фаны, это он кричит и шутит. Кричит и шутит потому, что его работа — чертова работа, что дым, которым он дышит вместе с русским, — это дым, которым никакой нормальный человек добровольно дышать не будет, а металл, струя которого падает из ковша в ведро, опасен. Не подставь ведро точно под струю — струя ударит об пол, расшибется о край ведра, и ты же первый получишь порцию тысячеградусных искр и в грудь, и в лицо, и за пазуху, откуда их не вытряхнешь, как мусор. Немец кричит, шутит и убегает — убегает от фронта, от раскаленного металла: скорее сделаешь — скорее освободишься. Убегает, а сам догоняет русского. Когда-то болванки, которые они отлили, превратятся в мины, когда-то ими выстрелят на фронте, а русский и немец уже получили тут, на заводе, свое.

Но еще раньше, чем начнется заливка, в цехе уже становится сумрачно и страшно — начинают дуть два конвертера. В цехе четыре конвертера и большая электропечь. Два конвертера всегда на ремонте, а два дают металл. И электропечь с ее толстыми, будто вертикально плавающими в расплавленном металле электродами, и конвертеры расположены в ряд. Войдешь в цех через главный вход — и видишь в глубине цеха вначале электропечь, а затем наклоненное горло конвертера. Если бы воздух в цехе был прозрачным, то можно было бы увидеть и другие конвертеры вплоть до самого последнего, который стоит там, далеко, метрах в двухстах—трехстах от входа. Последний конвертер стоит у са-

мого выхода, такого же широкого, как вход. Все это один цех — литейный.

И вход и выход из цеха так велики, что свободно могут одновременно пропустить три-четыре больших грузовика, но не грузовики доставляют конвертерам и электропечи металл для плавки. Цех поднят на высокий фундамент, а вдоль всего цехового фасада идут железнодорожные пути. Грузовые вагоны подходят вплотную к разгрузочной цеховой платформе. Кран-магнит выбирает из полувагонов металлический лом, кран-экскаватор вычерпывает песок и глину. Все это сбрасывается в подвалы рядом с конвертером и электропечью. В подвалы же идут и шлаковые ямы, которые загружаются каждый день отбросами плавки, а выгружаются периодически, когда приходят специальные вагоны, когда есть время, когда ямы бывают до предела загружены. В этих подвалах работают самые большие неудачники в лагере, они голоднее и истощеннее всех.

В подвалах концентрированный подвальный холод и сырость. Темнота здесь постоянная, греться можно только у неостывшего шлака, но главное то, что работают они где-то внизу, в подземелье такого страшного цеха, как литейный. Хуже всех в лагере приходится тем, кто работает в литейном, но еще хуже тем, кто ползает где-то в подполье литейного, под теми, кому хуже всех. Это уже не работа, а карцер, не рабочие, а черви. Им не нужно никакой квалификации. И кажется, что погибают они там не только от чрезмерной работы, от голода, холода и страшных постоянных сквозняков, но и от презрения со стороны немцев.

В подвал иногда спускаются и те, кто работает в самом литейном, — испечь в шлаке ворованную картошку и съесть ее там, в темноте, подальше от немцев. Спускаются, как в преисподнюю, с опасением нащупывая ступеньки железного трапа. Хотя, может быть, на самом деле труднее всего все-таки в литейном. Подвальных презирают, их чаще бьют. Однажды, когда в лагерь привезли итальянцев, недавно снятых немцами с фронта, в подвальных стреляли только за то, что они грелись у шлаковой ямы, а не работали. Но подвальные работают все-таки не так, как наверху. Их губят сквозняки, сырость, но они по крайней мере не заглатывают газ так, как его заглатывают верхние, не носят таких тяжелых и в таком бешеном темпе, как это приходится верхним.

Литейный — это единый цех. Но перегородки в цехе все-таки есть. И конвертеры и электропечь, стоящие в ряд спиной к фасадной стене, отделены друг от друга небольшими перегородками. Огромный цех под огромной крышей разделен на меньшие цехи. Конвертеры и электропечь дают разный по качеству металл, и разные марки этого металла идут на разные заготовки. Цех, где льют большие мины, отделен невысокой, в рост человека, стенкой от цеха, где льют металлические звенья танковых гусениц, а тот от цеха, где льют средние и мелкие мины, от шишельного и обдирочного цехов. И над каждым маленьким цехом ходит под потолком свой мостовой кран. А вдоль фасадной стены над конвертерами и электропечью ходит большой многотонный мостовой кран. Он принимает большие ковши с металлом от конвертеров и электропечи, и он же, если надо, снимает со станин для ремонта сами конвертеры и электропечь.

В литейном все время и в десятках разных мест горит огонь. Синим огнем горят газовые горелки, на которых разогревают перед заливкой фаны, горит огонь в сушильных печах шишельного цеха, горячими вытаскивают из этих печей железные этажерки с шишками из специальной смеси песка, глины и земли, режут огнем, в который мощный вентилятор нагнетает воздух, конвертеры, скрипит огонь где-то внутри электропечи. Эти тысячи и тысячи градусов огня, горящего одновременно в разных

концах цеха, кажется, должны были превратить литейный в гигантскую сушильную печь, в которой никто не мог бы жить и дышать. На самом деле в литейном холодно. Огромные сквозные входные и выходные двери, подвальные проемы, связывающие цех с железнодорожной приемной платформой, десяток других дверей в задней стене цеха, вентиляционные устройства создают в литейном и постоянные и временные течения воздуха, какую-то странную разреженную атмосферу, какой-то космический холод, который бесполезно разогревать мощными печами — печами, около которых даже толком погреться нельзя. Зимой в литейном холод всеобъемлющ. И это, может быть, самое тяжелое: нет ни одного места с умеренной, привычной для человека температурой. Или простудный, подвальный холод от цементных полов, металлических опор, земли и песка, или сжигающий, опасный для жизни жар расплавленного металла.

Сквозняки, уносящие тепло, не очищают воздух от пыли и газа. Когда работают конвертеры, цех заволакивает. Дым, задержанный потолком, сначала скапливается наверху, потом оседает на пол, расползается по цеху. Становится темно, и в этой темноте конвертер наклоняют, и из жерла его в огромный распределительный ковш летит металл. Ковш подхватывает большой кран, передает меньшему, а затем фанами этот металл расхватывают люди, разносящие заливку.

Но еще раньше, чем разносить заливку, они работали на формовочных станках, вручную соединяли половинки форм и, приседая под тяжестью железа и земли, бегом носили эти формы и ставили их столбиком одну на другую — так экономнее используется полезная площадь пола цеха.

Они работали на формовочных станках, встряхивающих, уплотняющих землю, станках, которые дают не просто пыль, а насыщают воздух плотными комочками земли, дышали этим воздухом, вытирали лица руками, выпачканными землей и копотью, дышали газом и копотью. В течение дня загрязненность воздуха постоянно менялась. Утром, когда он был наиболее чистым, люди ежились от холода и сквозняков. Потом он загустил, стал пыльным, скрипучим, потом прибавилось газа и дыма, и, наконец, он немного согрелся огнем заливки. И все время воздух был насыщен ревом и грохотом. Во всем литейном цехе нет ни одного станка, который работал бы тихо. В этом пыльном и загрязненном воздухе, которым люди дышали по двенадцать часов в сутки, дышали с интенсивностью бегунов, не смог бы работать ни один тонкий механизм. Только машины с грубыми мощными деталями, с огромными подшипниками: барабаны, в которых очищаются от земли литейные заготовки, огромные гильотины, наждачные обдирочные камни электроточил.

В таком цехе, в котором половину работы приходилось делать вручную, и взрослым нельзя было бы долго работать, но немцы загнали туда и русских детей.

Загнали их туда прежде всего потому, что в литейном больше работы для не имеющих никакой квалификации. Вообще-то все операции на фабрике так раздроблены, что почти за каждым станком, почти на любом месте в любом цехе могут работать совсем не квалифицированные люди. Машины сложны только для тех, кто их создает; для тех, кто ими управляет, они совсем просты. Высококвалифицированных слесарей, наладчиков, инструментальщиков, литейщиков на заводе было совсем немного. Для того же, чтобы работать в токарном цехе, где нарезался пояс на мину, в контрольном, где мины и снаряды проверялись на гидростанках под водяным давлением, на сверлильных станках, на гильотинах, для того, чтобы водить электрокары, мостовые краны, требовалось

лишь два-три урока и минимум сообразительности. Но детей все-таки отправили не в механический, а в литейный цех, потому что работа там была совсем уже простой.

В литейном для ребят все было слишком большим. Слишком высоким и широким был вход в цех. Дома, на родине, ребята еще нигде не работали, не видели вблизи больших заводских зданий, и вход этот — гигантский проем в огромном здании — подавлял их. Подавляли их и огромные холмы земли, песка и глины в первом после входа складском помещении, подавлял запах, шедший от этих холмов, — маслянистый, дымный и смоляной. Запах этот мог идти и из самого литейного, от конвертеров и электропечи, но ребятам казалось, что так удивительно и неправдоподобно пахнут песок и глина. И запаха этого ребятам было слишком много. Через много лет после войны те из них, кому удастся уцелеть и вернуться на родину, будут ушибаться об этот запах, вздрагивать где-нибудь на перекрестке улиц, где ремонтные рабочие, починая трамвайные пути, что-то сваривают электросварочным аппаратом. От дуги электросварочного аппарата, в которой горит электрод и плавится металл, будет пахнуть точно так же, как в литейном. Они долго будут тревожиться, различая в трамвайном вагоне или в троллейбусе ужасающий запах технической смазки, и странной личной ненавистью ненавидеть гайки, шурупы, плоскогубцы, молотки, одноколесные, с глубоким металлическим кузовом тачки, в которых возят землю, песок, заготовки мин, и двухколесные, с металлической лопаткой внизу, на которых перевозят ящики, железные или плетеные корзины и на которых вокзальные носильщики возят чемоданы и другой багаж. Впрочем, в литейном цехе было гораздо больше тачек одноколесных. Двухколесные тачки — это уже механический цех, это уже куда более легкая работа. Ляйгт арбайт!

В первый же день пацанов приставили к одноколесным тачкам, которые берут и двести и двести пятьдесят килограммов. И тачки эти были слишком велики для мальчишек. Такую тачку должен везти высокий длиннорукий человек. Тогда вся тяжесть ляжет не на руки, а на колесо, и колесо это легко будет катить по ровному цементному полу. Невысоким же пацанам вся тяжесть ложилась на руки, а руки приходилось расставлять слишком широко между слишком широкими для них ручками тачки. И тачка не катилась, а опрокидывалась. Она опрокидывалась совсем неожиданно на каком-нибудь повороте, на какой-то кочке — это при условии, что ее удавалось сдвинуть с места, — и валила пацана.

Было что-то унижительное в том, что тачка эта, рассчитанная все-таки на средние человеческие силы, была не по плечу пацанам. Словно их ввергали в страшный мир, в котором им уже ни за что не приспособиться и ни с чем не справиться. В первый день пацанам еще прощали опрокидывавшиеся тачки, во второй стали бить. На третий тех, кому тачка была явно не по плечу, перевели глубже в литейный цех, туда, где оббивалась земля и обдирались с заготовок особенно крупные заусеницы, оставшиеся после литья. Здесь стояли станки с дутьем, вращающиеся барабаны, ряды электроточил. Это был грохочущий, пыльный и холодный цех. Рядом со станками возвышались то увеличивающиеся, то уменьшающиеся горы болванок снарядов, мин и гусениц. Их здесь еще не складывали рядами, как в механическом, а просто бросали на пол в кучу.

Металл в болванках еще не блестел — темный, он, ударяясь о другой такой же металл, и звенел глухо. Первые блестящие полосы проводили по нему электроточила, но это были пока только царапины,

скребки. Камень электроточила, вращавшийся со скоростью тысячи двухсот оборотов в минуту, не только стачивал, но и сжигал, запекал металл, так что поверхность его становилась вороненой. В барабанах болванки обкатывались, оббивались друг о друга и о специальные остроугольные стальные звездочки; из барабанов болванки выходили уже слегка блестящими, но это еще был свинцовый, серый блеск — блеск самой первой и самой грубой обработки. И все в этом цехе было серым, тяжелым и грубым. Сама пыль под ногами была здесь тяжелой, грубой, металлической — пыль, оббитая с боков металлических чушек. Искры, летевшие от электроточил, казались опасными — тяжелые стальные искры. И работа здесь была тяжелой, холодной и опасной для слабых пацаничьих рук. Одежда на мальчишках изорвалась мгновенно, потому что металл, который они поднимали, был весь в заусеницах. Кожа на руках и на лицах у них быстро стала серой и больной — от постоянного голода, от непосильных нагрузок, от безысходной тоски и ненависти, от пережатой земляной и от железной пыли. Их лица серели и пачкались, казалось, от одного соприкосновения с цеховым воздухом. С утра они уже становились трупно-серыми. И обдирочный этот цех все так же был слишком большим, слишком высоким для пацанов. У них не хватало ни сил, ни любопытства пройти его из конца в конец, от стены до стены. Однако не сами размеры цеха были слишком большими для пацанов — в эти размеры каким-то образом вкладывалось расстояние до дому, до фронта, гигантское расстояние в тысячи и тысячи километров.

А это был еще не самый тяжелый цех в литейном. Пройти дальше по литейному мальчишкам мешал страх. Дальше, за шишельным, шла сама литейка. Оттуда-то и заползал и в шишельный цех и в обдирочный дым плавки, запахи жидкого металла, распаренной и сожженной земли, доносились пулеметные очереди еще не известных мальчишкам пневматических формовочных станков. Там два раза в смену поднимался крик, беготня, виднелась сквозь дым всплески красного пламени. Оттуда в это время шло тепло, и мальчишки, может быть, и двинулись бы на тепло, но они уже твердо знали, что и в лагере и в цехе бьют, и боялись не только самих немцев, но и всех движущихся предметов: тачек, электрокаров, крюка подъемного крана. Они были уверены, что ни один из этих предметов, управляемый немцем, не свернет, если на его пути окажется русский мальчишка. Едва освоившись в проходах между станками и кучами металлических болванок в обдирочном, едва присмотревшись к нраву своих начальников — то есть всех встречавшихся в цехе немцев, — они пока не рисковали выходить далеко за пределы собственного цеха.

Однако и оставаться все время в цехе было мучением. И мальчишки начали прокладывать частую дорогу в соседние уборные. Часто ходить в одну и ту же уборную было бы слишком опасно. Уборные литейного были грязны и мрачны, как сам цех. Окна их не закрашивались, это было не нужно: на стеклах плотным слоем оседала литейная пыль. Уборные были тем местом, где мальчишки плакали в одиночестве или курили вдвоем, строили планы побега и показывали друг другу фотокарточки. А цех в это время грохотал за стеной, сотрясал пол уборной, заставлял дребезжать стекла в ее окнах. И слезы в этой дребезжащей, грохочущей, воняющей не только клозетом, но и цеховым дымом уборной были безысходными, саднящими, полными страшной ненависти, которая тоже отливала в этом цехе.

Хозяин

Рассказ

Брюшко комара, который сидит у него на щеке, уже начинает розово светиться. Старик очень стар, нервы его притуплены, боли он не чувствует. Я говорю:

— Комар у вас на щеке, сгоните.

— Да,— соглашается он,— садятся,— и вяло машет рукой возле щеки. Говорит: — Я жил здесь, меня не заливало. Соседи мне говорили: «Уходи, а то завтра поплывешь со всем, что у тебя есть». А я сижу на порожке, смотрю на воду и только наметил себе вот здесь.— Он показывает на две черные карандашные линии, прочерченные как раз там, где в других домах бывает чердачное окно.— Думал, если потоп будет увеличиваться, вырежу вот здесь, залезу на чердак и буду смотреть на потоп. Так и не ушел, пересидел дома. А соседней заливало,— добавляет он с гордостью.

Он очень стар, ему уже восьмой десяток. Я спрашиваю, как его здоровье. Он отвечает:

— А что здоровье? Теперь какое есть. На этом приходится основываться.

У него очки со слуховым аппаратом. Толстые заушники, над правой дужкой проволочка в белой изоляции. Очки со слуховым аппаратом — дело обычное, но он вдруг поражает меня тем, что протыкает пальцем стекло в очках и протирает этим же пальцем в углу глаза. Я не сразу сообщаю, что в оправе нет стекол: старику они не нужны. Он говорит:

— Тут сад хороший был, деревьев много. Только после потопа они все посохли. Одно, правда, вот это, за домом — оно выше других стояло,— оно и уцелело. Болеет тоже, а стоит. А выросло из сливовой косточки. Сначала ветка была, я ее хотел срубить, а теперь смотри, какое дерево.

В своем доме он стоит, как чужой, не присаживается, не хочет мне мешать, говорит:

— А вы здесь работаете, что же — значит, так надо.

Я молча киваю, тем более что «так надо» он произносит без вопроса, утвердительно. Сам я вопросов не задаю, не «завожу» его, чтоб он поскорее ушел. Но ему надо поговорить.

— Я этот дом у капитана купил. Раньше тут жил капитан,— рассказывает он и смотрит при этом на стены, на низкий потолок, как будто ищет там подтверждения или приятных воспоминаний.

Мне трудно представить себе, что в этой ничтожной хибаре мог жить такой значительный человек, как капитан, и я спрашиваю:

— Какой капитан?

Старик не сразу понимает, почему я переспрашиваю. Капитан — это капитан. Он говорит:

— А на пароходах. Он и сейчас на пароходах... Потом он купил себе участок в городе, построился, а я у него эту хату купил. Я тоже хотел после войны купить в городе, но тут, на левом берегу, у меня сестра жила. И жена. Жена жила вот в том размытом доме. Вот в том, что солома торчит.

Дом этот и впрямь размыт совершенно. Остались две стены — ни пола, ни потолка. Потолок обрушился когда-то на пол, и потому на полу кучи глины, соломы, тряпья, консервные банки, бутылки и еще какой-то хлам, который кидают сюда, как в мусорный ящик. Крыша тем не менее местами сохранилась, висела на уцелевших стропилах. Дом этот угло-

вой, им начинается улочка, и его смертное зияние видят все: и те, кто плывет рекой, и те, кто идет берегом.

— Жена умерла,— говорит старик,— а мне за мой дом надо было в год семьдесят шесть рублей старыми платить. Страховка, аренда земли, налог. Мне это было тяжело, и я полдома продал. За четыре с половиной тысячи. Вот этой стены,— показывает он в сторону печки,— тогда не было. Дверь там была. Вот этот шкаф сюда сквозь ту дверь пронесли. А продал племяннице. Дом стеной переделили и все переделили. Сад, огород. А потом и племянница померла, а на ее половину вселилась другая женщина. Дрянь,— говорит он без особого выражения, без сожаления об умерших.

Он слишком стар для сожалений и просто отдыхает. Смотрит на стены, на выкрашенный в красную пожарную краску самодельный шкаф из дикта, в большую и малые дверки которого вставлены два куса зеркала. Кусок побольше и кусок поменьше. Оба куса зеркала давно помутнели, в самой глубине этих кусков густой туман.

— Да... Эта женщина печку поставила. Теперь в доме две печки...— Он задумывается или отдыхает, потом показывает на потолок: — А дом каждый год садится. Раньше он выше был, а все время садится. В кашу эту, в грязь. Как потоп, так и грязь.

Старик чужой в этом маленьком рыбацьем поселке и потому упорно говорит «потоп», а не «разлив».

— Его, конечно, можно бы отремонтировать,— говорит он о доме,— немного. Новым его не сделаешь. Когда еголомают, тут мало чем можно будет пользоваться. Так, несколько досок на растопку — в строительство они уже не будут годиться: труха. Но если тут зиму жить, можно было бы отремонтировать немного. Печку почистить. Она сейчас горит: на короб сажии напало и еще в колене забито сажей. Но зачем я его буду ремонтировать, если его все равно ломают? Средства вкладывать...

Дом этот, как и все дома на улочке, должны скоро снести. Этот участок берега давно отдан строительной организации под базу отдыха. Строительная организация выделяет хозяевам домов квартиры в городе, а дома их или сносят, если они совсем ветхие, или ремонтируют, если есть, что ремонтировать. Домик моего хозяина обречен на снос. Он давно уже разваливается, и сам хозяин уже два или три года живет в городе на квартире. Снимает за десять рублей угол у какой-то женщины. Ему трудно жить здесь, на левом берегу. В город добираться далеко: полчаса ходьбы здоровому человеку — летом через мост, зимой по льду через реку. А здесь ни магазинов, ни базара.

— Если бы магазины тут были,— говорит он,— я бы еще тут жил. Купил бы себе то, что мне надо, и сидел бы себе дома, доживал. Людей здесь только нет, совсем нет людей. Летом, правда, идут по дороге на пляж, я мог бы сидеть и на них смотреть, а зимой совсем никого. Но я бы тут жил, если бы магазины были, мне тяжело платить за квартиру десять рублей. Сколько же можно? Пенсия у меня шестнадцать. Вот теперь немного добавят.

Старик чаще сюда ходит в последнее время. Отмечается. Хочет получить за свой домик квартиру в городе, как и все, чьи дома сносят. А кто-то уже сказал прорабу, что он здесь не живет, что он переселился в город и что вообще ему пора в дом престарелых или на кладбище, а квартиру пусть отдадут тем, кто помоложе.

— Но это же все так, разговоры. А закон один. Дом этот мой. Я его купил за девять тысяч. Есть свидетели, документы, акт. Потом у меня домовая книга. Я в ней прописан. А домовая книга — это закон. Я пошел к прорабу, который будет здесь строить — он сейчас в городе работает,—

и говорю: «Когда вы будете ломать?» А он мне отвечает: «Вы у меня спрашиваете? Может быть, вы мне скажете?» Отобрал у меня домовую книгу. «А то, говорит, к вам заходили, а вас нет дома. А где вас искать?» Расписку мне оставил. В случае чего я всегда могу предъявить расписку — вот здесь моя домовая книга. Участковый мне говорит: «Ты обязан жить там, где прописан». А если мне пройти сюда, как десять вагонов с углем разгрузить? Неживой идешь. Смотришь только, где бы скорее сесть отдохнуть. Ведь это же восьмой десяток.

Лицо его почти не меняется во время разговора. У него мало сил, и он уже не тратит их на мимику. Не хмурит брови, не морщится, не улыбается — ровное выражение лица. А вообще он волнуется. Боится, что квартиру ему не дадут. Просто приедут, сломают бульдозером дом, за который он когда-то заплатил девять тысяч старыми, — и все. Вот он и говорит, что домовая книга — это закон. Говорит, что вот на краю улицы поселились милиционеры с семьями, два года всего живут, а квартиры тоже хотят получить. А он здесь пятнадцать лет прожил. Но милиционеров поддержит райотдел, квартиры им дадут, а о нем уже говорят, что квартира ему не нужна, что он хочет ею спекулировать.

— Попробуй поспекулируй, — говорит он все так же ровно, — мне на работу отсюда далеко.

Над домиком то и дело низко проходят самолеты — идут на посадку на городской аэродром. Отсюда, с улицы, они прекрасно видны: «АНЫ», «ИЛЫ», «ТУ». Здесь они проходят уже с выпущенными шасси, наклонив нос в сторону аэропорта. И я прекрасно вижу и шасси, и закрылки, и дым от турбин, и слышу, как меняется, как переходит из фазы в фазу рев самолетных моторов. А с правого берега доносится не заглушенный ничем мощный голос портового диспетчерского динамика: «Эрбете девять», включает рацию! «Эрбете девять», включите рацию!» Мужской голос вызывает буксиры со спокойной угрозой, а женский — с визгливой интонацией.

— А где вы работаете? — спрашиваю я старика с удивлением и еще раз окидываю взглядом его серенький чистенький пиджак, наглаженные, но будто пустые изнутри брюки, его фуражку-сталинку цвета хаки. Фуражка новенькая, недавно купленная, а пиджак и брюки не новые и не старые, из очень дешевой материи, с каким-то сиротским форменным рисунком на ткани: на сером фоне продольные черные полосы.

— В бане я работаю, — говорит старик, — банщиком.

Это меня сильно удивляет. Не знаю почему. Банщики — это люди, которые выныривают откуда-то из серого банного дыма, когда вы кричите: «Банщик, двадцать второй!» И, открыв ваш ящик, опять исчезают в сером парном дыму. Потом вы уходите, баня остается на месте, а банщик исчезает.

Старик называет мне и баню, в которой он работает. Я знаю ее, бывал там, помню ее по обычному для бань тошнотворному запаху мыла и потеющих паром холодных крашеных стен. Вот и у старика такое лицо, будто он всю жизнь умывается не водой, а паром. Лицо его чисто и бледно, словно вместе с грязью с него давно смыт какой-то необходимый жизненный слой. Однако тянет вот уже восьмой десяток.

Он рассказывает:

— Это ж сколько бегать надо. Он выходит из бани, выльет на себя шайку горячей воды, с него вода еще бежит, он сразу и кричит: «Банщик, открывай!» Это чтобы я быстрее открыл. Пока оденется, вокруг него лужа. Лужу надо затереть, а тут еще один выходит. И внимательным надо быть. Надо смотреть, чтобы трамвайный билет тебе вместо банного не подсунули. А стараются. Скажешь ему: «Это трамвайный». Он лезет в карман. достает настоящий. А если я кину в копилку трамвайный би-

лет, потом ее откроют и с меня высчитают. Так до двух рублей в месяц высчитывают.

Не то чтобы он жалуется или хочет, чтобы о его работе думали, что она труднее, чем на самом деле. Он говорит:

— Не то чтобы там что-то особенное, а бдительным надо быть. Надо все время иметь внимание. А мне это уже тяжело.

Он замолкает надолго. Говорит:

— М-да...

Когда он рассказывал о своей работе, о проделках клиентов, он впервые немного одушевился. Он не гневался, не улыбался, но голос его сделался живее, и паузы между фразами были не такими продолжительными. А теперь он опять погас. Я не поощряю его вопросами, а ему не хочется уходить. Он спрашивает:

— Так вы думаете, они не имеют права просто так сломать дом?

— Нет,— говорю я.

Он еще стоит, смотрит на пол, пробует ногой угибающуюся половицу и прощается:

— Пойду еще к соседям пользоваться слухами.



САЛОМЕЯ НЕРИС

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ (1926—1943)

С литовского

Поэзия Саломеи Нерис (1904—1945) пользуется в Советской Литве широкой известностью и подлинно народной любовью. Русскому читателю ее стихи знакомы с 1940 года в переводах известных русских поэтов и переводчиков.

В ознаменование двадцатипятилетия Советской Литвы и шестидесятилетия со дня рождения Саломеи Нерис Союз писателей СССР и Союз писателей Литовской ССР провели конкурс на лучшие переводы ее стихотворений на русский язык.

Ниже мы печатаем стихи Саломеи Нерис, переведенные поэтами — победителями конкурса.

* * *

Мгновение: нажму на сталь однажды —
Душа взлетит, как ласточка во мгле,—
И успокоюсь я, а там — неважно,
Сожгут в костре, зароят ли в земле.

Что упадет слеза — вполне возможно.
Но вы не вздумайте трагедию играть!
Мы наглотались лжи и надышались ложью —
Так, может, смерть не научилась врать?

НИКОГДА

Облик милый растаял
В паровозном угаре,
Свет надежды растаял —
Это больно забыть.
В сердце скорбь нарастает,
Горечь в каждом ударе.
Я хочу, словно стая
Паровозов, завывать.
Убегает береза.
Мысли тянут обратно.
О, дорога большая!
Возвращусь ли сюда?

Ты моя ли, береза?
И гремит многократно,
Голос мой заглушая:
Ни-ко-гда! Ни-ко-гда!

Перевела Юнна Мориц.

* * *

Что нам пророчат ненастные ночи?
Смерть ли нам суждена,
Или родятся в пепле столетий
Новые времена?

Шел бы и шел бы, темный, сквозь темень,
Не подымая глаз;
Тихо шепча (все равно не услышат):
— Умираю за вас!

Листья осины зябко трепещут.
Что-то нас ждет чуть свет?
Стонет чащоба, волк завывает.
Дальше дороги нет.

Кто же дорогу ночью отыщет,
На осеннем ветру?
Там, в темноте, на суку скрипучем
Ветер качает труп.

А ведь кому-то ненастные ночи
Пророчат свободы свет —
И возродится новое время
Из пепла прошлых лет.

Перевела М. Квятковская.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

На горе тоскуют сосны.
Час молитвы. Тишина.
Плачет скрипка, и несносно
Плачет у меня душа.

Белый лебедь, сделай чудо!
Приплыви, расправь крыла —
Унеси меня отсюда,
Где я в сумерках жила.

Где нависшие теснины
Белых стен монастыря
Мыслей мне не прояснили,
Не открыли мне меня.

К солнцу вознеси кругами
Или свергни в мрачный ад.
Здесь мне душно! Под ногами:
Змеи черные кишат!

СОКОЛЫ

Утро. Солнце. Лазурь чище синего снега.
 Бор. Охвачены сосны огнем.
 Выше сосен — одно только синее небо,
 Только соколы, соколы в нем!

Небо, землю обнявшее, полное солнца.
 Горы, к небу прильнувшие лбом.
 Где-то — небо сквозь пальмы. Здесь — небо сквозь
 сосны,
 И свободные соколы в нем.

Ты забрось башмаки и дырявую кепку!
 Подставляй себя солнцу смелей!
 С песней, соколы! Пусть ничего у нас нету —
 С песней, синие соколы! Эй!

БЕЗ КОСТЕЛА

Без помолвки и венчанья,
 Без костела и ксендза...
 Лишь коней безумных ржанье —
 Пыль от звезд летит в глаза!

Ветер волосы ласкает.
 Не слышать молвы людской.
 С неба нас благословляет
 Тот, кто свел меня с тобой.

Он нам дал стремленье к счастью,
 Дал весну хмельней вина.
 Он сердца наполнил страстью —
 Он грехи простит сполна.

Ни помолвки, ни венчанья...
 Ржанье бешеных коней,
 Тьма ночная — и желанья
 Мчатся бешеные в ней!

БЕЛАЯ ТРОПИНКА

Там смотрит в окошечко мама
 Куда-то вдоль старой межи.
 Все дальше, все прямо и прямо
 Вдоль белой тропинки во ржи.

Глядит с сожаленьем и грустью...
 Что делать! Тужи, не тужи —
 Обрато уже не вернусь я
 По белой дороге во ржи.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

В лесу, где мертвых листьев шум пугает,
Ты кутаешься в жалкий плащик.
Деревья руки простирают,
Как нищие осенних кладбищ.

Жизнь — песнь кузнечика простая
Растоптана в грязи кровавой.
Береза гнется, причитая,
Сосна в слезах, поникли травы.

Уходят люди — в землю, в землю...
И так их много — к телу тело.
И встречу ли тебя, гадать не смею.
Молчат созвездья — им какое дело!

Неужто безысходно горе?
Уже не в силах сердце верить.
Несет, несет нас море крови...
Когда какой нас примет берег?

УЧИТЕЛЬНИЦУ УВЕЗЛИ

По снегу сани их визжали —
По сердцу их полозья шли:
В село жандармы приезжали,
Учительницу увезли.

Их приводил тогда Иуда —
Исчадь ада, сон дурной...
Хочу забыть, но всюду, всюду
С тех пор он ходит вслед за мной.

Я поняла тогда впервые,
Что всех обид нельзя простить
И что не могут мне родные
Учительницу заменить.

На карте мира полустертой
Видны моря и острова,
Все берега, заливы, порты...
И наша бедная Литва.

Литва и то село, откуда
Учительницу увезли.
Их приводил тогда Иуда —
Исчадь ада, не земли.

* * *

Мы шли; в полях стояла
Такая тишина!
И клевером дышала
Родная сторона.

Пора зардеть рябине,
Пора созреть зерну.
И нет войны в помине,
Намека на войну.

Перевела Н. Астафьева.



А. МАРЬЯМОВ

★

СЕВЕРОМОРЦЫ

Очерк

1

Вгадывание становилось мучительным: «Тут ли начиналась дорога на Пенченгу?.. Не на этот ли причал мы высаживались, когда он перехватил Машуновскую дорогу и старовойтовский батальон остановил его где-то в двух десятках километров от города и нужно было срочно перебросить Старовойтову подкрепления? Туда шли добровольцы с Подплава и из корабельных ремонтных мастерских — один полуавтомат на десятерых, да и с тем они обращались не очень уверенно. А Саша Окунев тоже тогда уходил на передовую? Или он ушел раньше, еще с десантниками, которые высаживались в июле сорок первого возле Ура-губы?.. А куда же девалась та высокая дымовая труба городской бани, что торчала над городом и манила к себе все «юнкеры», представляясь приметой важного промышленного объекта? Не видно трубы. А она всю войну выстояла и продолжала торчать над необозримым пожарищем, в какое был превращен весь этот город».

Нет, не видно трубы. А ведь и теперь стоит, наверно, только спряталась среди высоких домов, которые поднялись по каменным сопкам вокруг фиорда от старой Колы до Росты. Раньше это были два городка. От одного до другого было не так уж близко. А между ними стоял третий — сам Мурманск. Нынче все слилось, и троллейбус идет по асфальту, и ничего здесь не узнать.

Вот только у причала почти по-прежнему.

Флотский лейтенант у диспетчерского окошка допытывается:

— Не будет ли оказии в Гиблую губу?

А женщине с узлами нужно в губу Оленью, и она тоже надеется на попутный катер.

И тут же вспоминается старая здешняя прибаутка военных лет: «Губ много, а целовать некого».

Губ здесь по-прежнему много, они все на месте, и те же слышны названия: Мотка-губа, Сайда-губа, Волоковая губа, Оленья, Ворья... И длинные фиорды, охваченные черными скалистыми берегами, отраженными в светлой воде, тоже не переменялись.

А на берегах все по-другому.

Впрочем, и на воде тоже.

Идем к выходу из Кольского залива. Навстречу — рыбачий мотобот в синем пульсирующем облачке выхлопов. Мотор его тарыхтит немилосердно, как тракторный, и самый вид невзрачного суденышка снова вызывает в памяти старую всячину четвертьвековой давности.

На таких же рыбачьих посудинах приходилось пробираться на полуострова Рыбачий и Средний, дожидаясь сумерек, чтобы проскочить через Мотку: стоило там показаться даже малой лодочке — и на нее сразу обрушиваясь кин-

жальный огонь вражеских батарей. Но сумерки наступают здесь не всегда; полярный день длится целое лето, и в такую пору прорываться бывало труднее. Покрытые прочно присохшей рыбьей чешуей, суденышки шли напролом, то и дело меняя курс между всплесками рвущихся снарядов и стараясь не дать под прицел. Оружия на них бывало лишь один или два «максима», и из них случалось отбиваться даже от «юнкерсов» и «мессершмиттов», заходивших на ботишки с бреющего полета.

Забирались эти кораблики порою очень далеко. Высаживали разведчиков и на норвежские берега. Ходили с десантниками во вражеские тылы. Вывозили раненых. Вылавливали из воды подбитых летчиков. Перевозили снаряды, ящики с патронами и тушенкой, доставляли почту. Можно сказать, что в сорок первом и сорок втором годах этим призванным на действительную службу пожилым рыбакам приходилось так же круто, как самым боевым кораблям военного флота. Они делали все, хоть нередко даже не успевали войти в число «боевых единиц» и поднять военно-морской флаг. Они выполняли свой долг негромко и безотказно. И негромко погибали, если выходила такая судьба.

Мы поравнялись с мотоботом и ушли вперед, оставляя посудину далеко за собою. Рядом со мной стоял у борта молодой матрос. Парусиновая рабочая роба имела на нем щегольской вид, золотые якорьки на черных ленточках лихо трепыхались на ветру за посаженной набекрень бескозыркой. Кивнув на удаляющийся ботишко, я сказал ему:

— Самые боевые корабли были во время войны.

Все, что вспомнилось, оставалось при мне. Ведь не станешь рассказывать встречному — ни с того ни с сего, — как шли на «Голубке» (точно такой же был бот) из Лопаткиной к Тюва-губе и на ящике с надписью «Зубной кабинет. Стул» сидела Зина Драчук в ватнике и в каске, а пулеметчик Лебедев лениво ее донимал:

— Вот ты теперь называешься «краснофлотец». А что у тебя, Зинка, морского? Ну, скажи ты мне, Зинка, что морского у тебя?

— Юбка-кlesh, — беззлобно отвечала она, похлопывая ладошкой по своим толстым ватным штанам. А потом с внезапной злой издевкой сказала: — Душа. Душа у меня морская, Витенька.

«Голубка» сняла нас в Лопаткиной с берега, когда десант отходил после трехнедельных боев. Сперва мотобот должен был следовать по другому маршруту, на него погрузили тюфяки и оборудование для какого-то госпиталя, а потом, не дав разгрузиться, приказали немедленно идти в Лопаткину. Там положение обострялось, и времени терять было нельзя. В Мотке начался сильный обстрел. Лебедева убило осколком, а Зину Драчук ранило. Весь ящик залило кровью. И оттого — всю в пятнах крови — я так запомнил ту надпись: «Зубной кабинет. Стул».

И еще разные помнились случаи.

Но я сказал только:

— Самые боевые корабли...

Матрос глядел на прибрежные скалы, на птицу, ныряющую за рыбой. Он не обернулся. Выражение лица его не оставляло сомнений: ироническое «болтают тут штатские» явственно читалось на нем. Однако ответил он с непроницаемой вежливостью:

— Теперь время другое.

У него было очень чистое мальчишеское лицо с тонкими чертами и очень белой кожей. Я подумал, что — флотский первогодок, быть может, сам недавно присившийся на морскую службу в своем районном военкомате, — он еще по-школьнически играет в любимую игру, прилаживаясь к необношенной форме, и силится ощутить себя заправским моряком, каким привык его видеть по собственным сложившимся представлениям. Служба на посыльном катере для такого паренька должна была оказаться тяжелым ударом. Нет, не понять ему моего почтения к мотоботу. Да разве это военный корабль?!

Военные корабли в заливе можно увидеть часто.

Они в самом деле совсем непохожи на прежние — на те, что несли боевую службу в военные годы.

Те были легки, изящны, обладали плавной стройностью линий. Недаром в английском языке, где всякий неодушевленный предмет существует лишь в среднем роде и все неживое — «оно», только о корабле говорится всегда, как о женщине: «она вошла на рейд и бросила якорь». Так говорят даже о тяжелом линкоре.

В новых боевых кораблях ничего женственного не осталось. Корпус огрузнел и потерял прежнюю стройность обводов. Мачты перестали быть мачтами и превратились в угловатые и сложные металлические конструкции. Они нескладно торчат вверх и в стороны множеством усов, углов, вертулюгов, шаров, стальных дуг. Родства с парусниками вовсе исчезло, появилось новое родство: со спутниками, уходящими с Земли в межпланетные пространства. Наверно, матрос прав: время другое.

Но слова паренька заставили не только на корабле посмотреть по-иному.

Ведь и люди вокруг принадлежат уже этому новому — другому — времени.

Матрос, что стоит рядом, еще и не родился в ту пору, когда здесь происходило все то, о чем заставляют меня то и дело вспоминать все узнаваемые и неузнаваемые приметы на кольских берегах. Даже разрушения войны были залечены к тому времени, с какого может он себя помнить (и да не придется ему никогда такое увидеть). Значит, о войне он узнавал из школьных учебников, читал в книгах, посмотрелся в кино, наслушался на сборах у пионерских костров. Он знает лишь ее, так сказать, парадную сторону: славные легенды, памятники, вечный огонь у хранимых могил, звезды и ордена, доставшиеся старикам в то время, от которого его отделяют уже десятилетия. А это давность, которая, как он считает, принадлежит поре ископаемых мамонтов, чинных балльных танцев, старомодных нарядов и далеких от окружающей жизни преданий.

Он знает еще затейливые приключенческие сюжеты, которые предпочитал в книжках и фильмах. Но ведь и их он не может связывать с той подлинной жизнью, которая ему самому предлагает обстоятельства совершенно иные. Сюжеты эти воспринимаются им не более как общепринятая литературная условность, прихоть фантазии.

Разве не то же испытывали ребята, которым исполнилось столько же лет перед войною? Для тех в область истории отошла гражданская война, и, рассматривая выставленные у входа в кино кадры нового фильма, они порой говорили лениво:

— Опять про войну. Надоело...

Однако вскоре выяснилось, что это вовсе не помешало им стать достойными участниками и героями новой легендарной эпопеи, когда война стала для них единственной реальностью жизни.

Так что огорчаться не следует. Твои воспоминания тебе и останутся. Только грустно чувствовать себя мамонтом, вылезшим из-под ледника и на каждом шагу убеждающимся, что «время другое».

И что имена друзей превратились уже в названия улиц или большими, до блеска надраенными буквами написаны на бортах кораблей.

А с самим человеком уже не встретишься, не поздороваяешься, не спросишь: «Как жизнь?»

Но слишком уж сильно было желание: взять старые записные книжки, что переключивались когда-то из полевой сумки в ящик письменного стола, да так и пролежали четверть века, отодвигаясь все дальше, и снова отправиться к тем местам, а памятью и к тем датам, которые в них обозначены. Желание вновь пройти по собственным старым следам приходит с возрастом и рождено иллюзорным представлением, будто возможно возвращение к своей молодости. Но почему у стольких людей такое желание связывается именно с воспоминаниями о войне? Ведь, кажется, такое было трудное время, что лучше его наглухо позабыть, чем к нему возвращаться. Есть тут, видимо, кроме молодости, еще одна причина: человек

помнит, что в это трудное время был там, где следовало ему быть, и делал, что должен был делать. Таким и хотел бы он опять себя видеть.

Не по той ли причине через двадцать пять лет после войны так упрямо разыскивали друг друга по всей стране бывшие разведчики Северного флота? Бывший командир взвода Герой Советского Союза Макар Бабинов отыскал бывшего комиссара Василия Дубровского. Тот работает в Гатчине, в Главном военно-морском архиве; у него под рукою все личные дела. Пошли письма. Из Омска откликнулся другой командир взвода — и тоже Герой — Александр Никандров; третий — Семен Агафонов — отыскался в Евпатории, у теплого моря; четвертый — Андрей Пшеничных — откликнулся из поселка Аксуёк в Казахстане. В Ейске нашелся Серега Воронин, в Архангельске — Константин Тярсов.

Первый командир отряда Николай Инзарцев поселился в Севастополе, а сменивший его после ранения Леонид Васильевич Добротин, который еще и в гражданскую воевал в коннице, оказался в Москве.

В Одессе нашелся Сергей Григоращенко, в Улан-Удэ — Михаил Колачинский, в Донбассе, в Кадиевке, — Дмитрий Кожаев, радист, который несколько месяцев держал связь с разведотделом флота, скрываясь с несколькими разведчиками в дальних вражеских тылах, на норвежской земле. В Риге нашли Виктора Таразанова, по старому прозвищу — Тарзан, а в Ялте Ольгу Параеву — нынче она по мужу Иевлева, но это она и есть — та самая Ольга Амосовна, которая пришла в отряд переводчицей, а была и бойцом и сестрой, и того же Тарзана, битого-перебитого, с простреленным легким, вытаскивала с пикушевских сопок и — в мыслях уже похороненного — тащила к берегу, на ботишко.

В общем, списались тридцать человек — со всей, можно сказать, географической карты страны. И, кто самолетом, кто поездом, «за свои пречистые», отправились в те места, где в землянках, в снежных норах, в боях сводила их и разводила война.

От них и я получил письмо; случилось нам в военную пору не раз встречаться, и то, что встречи эти им помнились, было мне как дорогим подарком. Их письмо и решило все дело. Наконец-то я подчинился давнему своему желанию и тоже собрался в дорогу.

Мы встретились в Североморске, нынешней флотской столице, дивясь всему, что нас там окружило.

Нам помнилось на этом месте поселок Ваенга: два каменных дома, несколько деревянных бараков и халуп на окрестных скалах, а от причала — тропа, которая то ныряла в болото, то поднималась крутыми витками по каменным осыпям, среди карликовых заполярных осинок и сосен. Теперь вокруг оказались большие дома — в девять, а то и в двенадцать этажей. Между домами темнел гладкий асфальт. Очереди чинно стояли у автобусных остановок там, где и вездеходу прежде нелегко было пройти.

Прямо от залива, от оживленных пирсов, шла широкая улица Сафонова и упиралась в фасад Дома офицера, поставленного у подножья высокой скалы. Вероятно, тут и проходила дорога, по которой я в июле сорок первого года пробирался на КП истребительного полка. Борис Феоктистович Сафонов еще не стал тогда его командиром. И целый год еще оставался до тех пор, когда полку — после гибели Сафонова — будет присвоено его имя. Но слава лучшего летчика, ведущего самый длинный счет сбитым вражеским самолетам, у Бориса Феоктистовича уже была.

Мне случалось бывать в этом полку еще и в мирное время, незадолго перед войною. Эти записи тоже сохранились в старой книжке. Там есть про двух капитанов Кузьминых. Служили такие в полку. Оба — Николай Антонычи. Чтоб не путать людей, один пожертвовал собою, отпустил бородку и с тех пор так и откликался по телефону: «Говорит капитан Кузьмин с бородкой», «Капитан Кузьмин с бородкой слушает вас...»

Записано, как вывозил меня в мирный воздух капитан Раздобудько. Он попробовал на мне традиционную шутку: не предупредив, исполнил каскад фигур

высшего пилотажа, а в заключение на небольшой высоте протащил над самыми сопками на перевернутой кверху колесами машине. Когда мы сели, он посмотрел коварно и испытательно. Но со мною такие шутки и прежде шутили.

— Все нормально, — только и сказал я ему, причинив тем самым разочарование и испытав при этом счастливое чувство мести.

Записан тогдашний разговор с лейтенантом Василием Родиным.

Ему было двадцать четыре года, на Север его перевели из Белоруссии во время финской. Но ко времени его прибытия в полк боевые действия уже кончились, и Родин все говорил о том, как мечтает, чтобы с ним случилось «что-нибудь энергичное». Ему это нужно было для самопроверки: «Испугаюсь ли?»

Как «женатик», он получил комнату в каменном доме, том же, где жил Сафонов.

Мы сидели у него в этой комнате, потом вышли к сопкам; тут же, недалеко от дома, развели костер. Похожая на пионервожатую жена его, милостивая белоруска, жарила колбасу, нанизав ее на прутья.

В новый свой приезд, в августе сорок первого года, я не застал обоих. Жена в начале войны была эвакуирована, а Родин погиб. Он успел полетать вместе с Сафоновым, стать кавалером двух боевых орденов. Когда «энергичное» наступило, он встретил его как надо.

Прибрежный лесок оставался таким же: нечастые кривые березки — больше похожие не на лес, а на убогий плодовый сад. Лезут из земли недоразвитые, крохотные сосны. Нога то и дело проваливается в сухие кочки, а на валунах по темному — пятна желтовато-белого ягеля, словно лежит на камне сброшенная змеяная кожа. Это все по-прежнему. Только лесок весь перекопан укрытиями. Люди живут здесь же в землянках и палатках.

Сюда же полевая кухня привозила обед. После боя — аппетит волчий. Обычно — сразу же в столовую, под навес. Там теперь открыто круглые сутки, и Валя с Ниной — официантки — все понимают: хоть с едой и негусто, железная дорога почти перерезана, узкий перешеечек от Кандалякши до Лоухи все время под бомбежкой, подвоз плохой, суп варят из пшеничного зерна с консервами, но две тарелки этого супа ведь всегда найдутся, а компота хоть и три стакана, пожалуйста. А потом песни в землянке под гитару и каменный сон — до тревоги.

Тут, на валуне, сидели и мы с Сафоновым после боя. Борис Феокистович рассказывал мало. Больше показывал руками: так он заходил, так «мессер» норовил его с хвоста обойти. Но у того не вышло... Это у Сафонова не то девятый, не то десятый...

И так же, вспоминается мне, летчики, ходившие на морских бомбардировщиках, обозначенных буквами «МБР», что читалось «амбар», на пальцах же объясняли преимущества своего медлительного «амбара» над быстроходными «мессерами»:

— Я за скалу зайду, постою, а он мимо проскочит. Тут я ему в хвост и вмажу...

Шутка, конечно. Но тогда много шутили.

Странно сказать, но не знаю я места с более веселой, беззаботной, забубенной атмосферой, чем аэродромная землянка между тревогами, или снежная нора морских пехотинцев на Рыбачьем, или отсек подводной лодки, пока акустик не услышал поблизости еще не распознанный шум винтов. В этой забубенности крепка была бескорыстная, честная дружба, и чувство одной общей судьбы (особенно у подводников) связывало людей прочными узами братства.

Живая память об этом и ведет людей на поиски своего старого, уже стертого временем следа...

В самом начале улицы Сафонова, в стороне, поближе к заливу поднимается бетонный постамент. Вокруг — просторная смотровая площадка. На постаменте — старое береговое орудие. Под ним памятная табличка. Это привезли сюда и сохраняют как памятник ту самую пушку, что стояла на Среднем, в 221-й артиллерийской батарее. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, выстрелом из этой

пушки артиллеристы потопили вражеский транспорт, который, выйдя из Печенги, направлялся к норвежским берегам.

Батареей командовал старший лейтенант Павел Космачев; так ее и называли потом — «космачевской».

Там в первые дни войны бывал Василий Дубровский.

У пушки он стал вспоминать вслух давних друзей-батарейцев. Они сдружились, когда над малым клочком северной земли неугомонной каруселью ходили вражеские бомбардировщики. Рядом с настоящей батареей выросла тогда фальшивая; ее разносило в щепки — строили новую. А действующие пушки удавалось прятать в укрытиях. К первому потопленному транспорту прибавились еще два и несколько сбитых самолетов.

Порою давали на батарее до двадцати воздушных тревог за сутки.

Трудно было вывозить раненых.

Ботишки ходили за ними через ту же проклятую Мотку, и дойти удавалось не всегда.

С одним из таких рейсов пришел Дубровский и прожил у батарейцев две недели.

Но у поднятой на торжественный постамент пушки, похожей на сотни других таких же пушек, ему приходили теперь на память не героические эпизоды, а разные забавные случаи. Если думать на войне только о смерти, то и без пули превратиться до времени в покойника.

На космачевской батарее в самую трудную пору смеялись так же много и бесшабашно, как в сафоновской землянке. И тот, кто там побывал, предпочтет теперь на людях вспоминать лишь о смешном, а остальное оставит при себе. Дубровский вспомнил про того зайца с перебитой осколком ногой, что прижился на батарее. Может, то был и кролик. Но батарейцы уверяли, что именно заяц. Он все усвоил. Заслышав удары в рельс, он первым ковылял к укрытию, а после отбоя стремглав кидался к кормушке.

На площадке у памятника вечерами людно. Полярный день уже начался. Светло, тепло. Спокойный залив виден далеко. К полуночи солнце опускается к скалам противоположного берега и, не прячась, поднимается снова. Идут заливом корабли, добрасывая длинные усы от винта до самого пирса. От космачевской пушки на все это хорошо глядеть, и можно догадаться, что новая ее площадка уже успела здесь стать традиционным местом свиданий. Приходят сюда и школьники, и ребята с гитарой, какие встречаются и в подмосковном лесу, и в Кижском погосте, и при взгляде на них еще виднее, как все здесь переменялось. В военное время во флотских базовых городках малышей совсем не было видно, все были эвакуированы, а девушки если и попадались, то больше в матросской форме, издали и не отличишь от парня. Вокруг Дубровского, когда он говорил, собрались люди и, так как рассказывал он живо и весело, слушали его со вниманием.

Но потом — с той же вежливой интонацией, как тот матрос про «другое время», — кто-то заметил:

— Героический был заяц...

А заезжий матрос-балтиец, случившийся тут же, сказал:

— С кем поведешься...

Потом мы с разведчиками возвращались по улице Сафонова и дошли до перекрестка, где эта улица встречается с улицей Головно.

Есть теперь в Североморске такой перекресток. Два имени встретились тут, и общий перекресток связал их по праву, хоть люди, носившие эти имена, непохожи ни судьбой, ни человеческими чертами, и при жизни им случалось встречаться нечасто, раза три-четыре, вряд ли больше. Общим было у них, несомненно, одно: редкий самородный талант, который создает крупную личность, неповторимо отличая ее от других.

У Сафонова этот талант раскрылся внезапно и ослепительно в первой же встрече с опасностью. Последующие месяцы заставили увидеть, что это именно

победы подлинного таланта, а не ухарство, не рисковость, не случайная удачливость. Даже в последнем бою — 30 мая 1942 года — Борис Сафонов вслух анализировал каждое свое движение, сам себе диктовал в ларингофон, что он должен сейчас исполнить. Слова его слышали все, кто был тогда на командном пункте. Он будто не в бою был, а испытывал и себя и машину, следя за поведением обоих со стороны с лабораторной придирчивостью. Последнее, что услышал штабной оператор, дежуривший в тот день, было обращенное Сафоновым к самому же себе беспощадное ругательство: он поймал себя на ошибке.

Бой шел над заливом, сафоновский «томагаук» оставался в поле зрения, все было видно и слышно в одно время.

Ошибка оказалась непоправимой: пилот «мессера» успел воспользоваться неосторожным маневром, за который обругал себя Сафонов.

И тут же он сказал злым голосом, словно о досадной помехе:

— Иду на вынужденную, мотор пробит.

Из стеклянной скворечни наблюдательного поста увидели другое: машина командира полка перестала подчиняться управлению, резко вошла в пике и, устремившись вниз, с огромной силой врезалась мотором в воду...

В короткие сроки, отмеренные войною, этот драгоценный талант сверкнул зарницей по горизонту, но сила его обаяния была так велика, что ее не смогла уничтожить ни физическая смерть, ни прошедшее затем время. Она до сих пор продолжает покорять людей — теперь уже тех, кому не привелось его ни знать, ни видеть.

Когда Сафонов погиб, успев в своем последнем бою сбить два «юнкерса» и довести, таким образом, счет уничтоженных им вражеских самолетов до двадцати пяти, ему было двадцать семь лет.

Тюю же силой обаяния обладал и талант Головки. Но это был талант иного рода. Он притягивал людей, ничем их не связывая и не лишая собственной воли. К нему тянулись, испытывая при этом необходимость поступать в любых обстоятельствах наилучшим образом, потому что прямота и умение поступать наилучшим образом были единственным способом завоевать его расположение. Искательство, лесть, наговоры на других, чтобы себя выставить в лучшем свете, он разгадывал сразу, и тому, кто замечен был в этих грехах, трудно было удержаться на флоте. Выходило так, что они сами старались добиться перевода по службе. Потому для стольких людей и осталась нелегкая служба на Севере в военные годы дорогим воспоминанием о доброй дружбе и чистоте отношений, которые отличали каждый из коллективов, составлявших Северный флот. Шло это от командующего — от Арсения Григорьевича Головки, от доброго и сильного его таланта.

До сих пор помнится последний праздничный вечер перед войною: флотские командиры собрались в своем клубе, чтобы встретить первомайский праздник сорок первого года.

Еще лежал в Полярном плотный и чистый снег, скрипели от мороза деревянные мостки, проложенные для пешеходов по сопкам. С утра объявлялась по флоту зимняя «форма пять», и над Екатерининской гаванью, согретой Гольфстримом, клубился пар. Но солнце уже вело себя по-весеннему: смеркалось поздно и ненадолго. Воздух был легкий, и командиры, сходясь к Дому флота, не торопились входить.

С того вечера осталась в записной книжке случайная картинка: в одной из групп, собравшихся у входа, лейтенант с эсминца «Куйбышев» разыгрывал приятеля.

— Ночью, — сказал он, — в «Последних известиях» передавали: Финляндия объявила войну Греции.

Тот поверил.

А отчего бы и не поверить, если в мире уже пошла кутерьма вовсю и диктор в самом деле говорит по вечерам о бомбах, сброшенных на Коринф, о гитлеровских моточастях в Фермопильском проходе, о боях у Багдада, десантах

в Норвегии и авиационных налетах на Вестминстерское аббатство. Правда, от Финляндии до Греции не близко. А от Германии — близко? И чем черт не шутит?!

Флот существовал по нормам мирного времени, моряков было не так уж много, почти все командиры со своими женами могли свободно разместиться в большом зрительном зале, у составленных «покоем» и празднично накрытых столов.

Во главе стола занял место командующий. Он сказал:

— По грузинскому обычаю на празднике должен быть тамада. Не будем возиться с выборами, доверьте мне это дело, я справлюсь.

Он сумел задать празднику непринужденный и дружеский тон, который, однако, не позволял и распускаться сверх меры. И хоть на столах исправно убывало шампанское и питьевой спирт (водки на полуостров не завозили), но не было и пьяных. Время от времени поднимался занавес, и из зала выходил на сцену кто-либо из флотских «любимцев публики». Свой коронный номер — арию герцога из «Риголетто» — исполнил флагманский штурман бригады Подплава Жора Аладжанов; трое артиллеристов с эсминца «Стремительный» мастерски сработали акробатический номер; старшина с подводной лодки-малютки показал нанайскую борьбу: ноги и руки в унтах, на спине пришиты две меховых шапки. Он прыгал на четвереньках, и казалось, будто два маленьких человечка схватились, нос к носу. Потом долго не отпускали со сцены старшего лейтенанта Андрея Стоянова, морского бомбардировщика, он пел Тореадора; и еще никто не представлял себе, как скоро и круто повернутся судьбы всех, кто был тогда в зале.

Андрея Стоянова я видел в последний раз год спустя. У него уже было два боевых ордена Красного Знамени. Больше мы не встречались, и судьбы его я не знаю. А в тот вечер мы сидели рядом за одним столом, в большой, дружной и патриархальной семье. И «патриарху» нашему не исполнилось еще и тридцати пяти лет.

От того вечера сохранилось не только милое воспоминание. Сколько раз потом — уже и во время войны — я убеждался, что ту же атмосферу дружеской непринужденности стремятся сохранять в корабельных кают-компаниях все командиры, которые сидели тогда за тем же праздничным столом. Конечно, не у всех получалось. Но самый дух флотской жизни, даже в наиболее трудную военную пору, был проникнут этим теплом, прямою, бескорыстием, нравственной, я бы сказал, определенностью, и потому до сих пор так неизгладимы и дороги воспоминания той поры.

Вот что думалось на перекрестке улиц Головки и Сафонова в городе Североморске.

2

Вместе с разведчиками мы пришли в порт Лиинахамари.

Здесь же встречались мы утром 13 октября 1944 года. Я потом расскажу, как это было. А сейчас хочу сказать о другом.

Мы уже переправлялись через фиорд к Крестовому перевалу, карабкались там по сопкам, вспоминали каждый свое, стояли у памятника, вернулись на пирс, походили по кораблям. Обедали тоже на корабле — красивой белоснежной плавучей базе.

Мы ступили на трап, миновали вахтенного, отдав честь кормовому флагу, и нас проводили в кают-компанию. Перед обедом листали корабельный альбом. И вот тут среди многих фотографий мне бросилась в глаза одна. На меня смотрели знакомо прищуренные глаза. Скуластое лицо. Несомненно, это был он — Столбов Николай Гурьевич, Коля... И вовсе не он. Потому что не было в прищуренном взгляде всегдашнего обжигающего любопытства, не осталось той живости, которая каждую минуту меняла его лицо, исчезла окраинная шоферская лихость, что сквозила в каждом его движении, в ленивом и задорном его говорке, в манере носить нахлобученную кое-как фуражку с надломленным «нахимовским» козырьком.

в привычке перебрасывать из угла в угол рта изжеванную до половины папироску.

Капитан-лейтенант Столбов Николай Гурьевич был командиром подводной лодки «Щ-402», на которой мне запомнилось каждое лицо и каждый закуток.

В ноябре и декабре сорок первого года я провел на этой лодке пять недель. Пошли в заданный дальний квадрат и, не покидая его, ходили вдоль и поперек, вглядываясь в перископ и прослушивая море акустическими приборами. На поверхность поднимались раз в сутки, чтобы подзарядить аккумуляторы, по двое вылезали на мостик для короткого перекура, видели лилово-багровые тучи, непокойное море, косые заряды снега, зыбкие сполохи по тяжелому, низкому небу и снова уходили под воду.

Перед выходом швартовались к тральщику «Пушкин», и, пока подавали от туда на лодку горячую воду, команда успела посмотреть, наверно в десятый раз, «Свинарку и пастуха». Чтобы не скучать, попросили механика последние части прогнать задом наперед. Но и так уже раньше бывало.

Потом подошел катер. Флагсвязист привез командиру приказ. Пакет вскрыли в море, узнали заданный квадрат и легли на курс к Нордкапу. Столбов спохватился: не забыл ли помощник получить по наряду сахар, хватит ли на поход папирос? Не успели людей сводить в баню. Инженер-капитан-лейтенант Большаков привычно ворчал, что опять ему не дали хозяйство привести в порядок, а батарея на лодке старая, снова придется в походе с нею возиться.

В том походе мы так и не встретили цели, вернулись на базу с невьпущенными торпедами и — что всех приводило в уныние — без победного салюта. Только от самолета пришлось раза два уходить на срочное погружение да однажды неприятельские охотники засекли нас по шуму винтов и долго сбрасывали глубинные бомбы.

Поход был обыкновенный, без приключений.

На лодке было холодно. Спать ложились, не снимая ватной одежды, которая к исходу второй недели превратилась от сырости во влажный компресс. Весь жилой отсек по ночам дружно чихал и кашлял. Отсек невысок, а койки в нем подвешены в три яруса, и если на верхней и нижней уже легли спать, то на среднюю втиснуться трудно. И, поворачиваясь во сне, толкаешь соседей сверху и снизу.

Изо дня в день мы трудолюбиво бродили в глубинах недалеко от Танафиорда. Акустик Васильев — до флота учитель физики из Тамбова, высокий, худой, с болезненным желтым лицом — часами сидел в своей тесной выгородке у приборов. За время похода он несколько раз докладывал:

— Слышу шум винтов!

И называл пеленг.

Объявлялась тревога. Время сжималось. Алексей Бахтиаров и рыжий Женья Ивашев, по прозвищу Ржавкин, пронеслись к носовым торпедным аппаратам в первом отсеке. В седьмой отсек, к кормовому аппарату, стремглав мчался торпедист Мельников. Лодка поднималась на перископную глубину. Вертикальщики отрывисто репетовали команды. Столбов оттеснял вахтенного и сам принялся к перископу.

А когда умолкали хриплые и частые звуки ревуна, подающего тревогу, и весь экипаж оказывался на своих местах, время начинало бесконечно тянуться. Столбов вращал перископ, налегая на длинные ручки, изредка подавал команду и наконец бросал устало и почти брезгливо:

— Отбой.

Потом он рассказывал: в тусклом рассвете видел вдалеке дым. Но корабль показался вне предела досягаемости и уже уходил из нашего района.

Так случалось за эти недели раз шесть. Однажды тревога длилась целый час; Столбов пытался приблизиться к двум небольшим портовым буксирам, которые тащились у берега, но те, наверно, заметили перископ и скрылись в фиорде. Николай утешался:

— На них и торпеды жалко.

Но остаток дня он провел в тяжелой ипохондрии. Бороздя небольшой квадрат Баренцева моря, мы сделали уже около трех тысяч миль, и на штурманской карте завязывалась такая путаница линий, что в ней, казалось, самому черту не разобраться. Каждые пять дней этот лабиринт переносили на кальку, старые линии с карты стирали, но тут же начинали напутываться новые. Это был пятый боевой поход «Щ-402». В первом лодка потопила транспорт, в третьем — танкер, в четвертом — еще один большой транспорт, тысяч на десять тонн. На этот раз торпеды оставались невыстреленными, и это доставляло Столбову терзания почти физические.

Как-то Васильев доложил про шум винтов. Но когда подвсплыли под перископ, оказалось, что на этот раз охота идет за нами. Едва успели снова убраться на глубину, как с трех немецких катеров, бродивших в нашем квадрате, полетели глубинные бомбы. Вода усиливала звуки разрывов. Похоже было, что бомбы рвутся у самого борта. По обшивке что-то отвратительно скрежетало. От сильных толчков из-под заклепок проступала вода. В центральном посту трюмный Ваня Вангатов громко считал разрывы. Погас свет. Но повреждение не было серьезным, только слишком сильно трянуло, электрики управились с этим за несколько минут. Счет у Вани пошел на четвертый десяток, когда вдруг взрывы прекратились и опять наступила тишина. Выходит, Столбову удалось обмануть охотников, путив в ход самые примитивные, испытанные ухищрения: вытолкнули на поверхность две-три матросские бескозырки, пустили масляное пятно, выбросили несколько досок.

Охотники ушли, и жизнь у нас продолжалась заведенным, привычным порядком.

Штурман Леошко поддразнивал корабельного фельдшера Заседателева.

— Какие сны, Кира-Маря? — осведомлялся он.

Прозвище производилось от слова «кимарить» — спать — при помощи вставленных по-школьному слогов.

Подводники — народ крепкий. Особых хлопот с ними у Заседателева не было. Большую часть суток он спал, поднимаясь с койки лишь для того, чтобы направиться на камбуз «снять пробу», а затем пойти в кают-компанию и подзаправиться снова вместе со всеми.

По тому, как человек обращался к Заседателеву, можно было безошибочно определить его настроение. Если «доктор» — значит, все в порядке; если «лекпом» — значит, настроение чем-то испорчено. Сам же Заседателев был безропотен, тих, и как-то не вязалась с его щуплой внешностью слава одного из лучших лыжников бригады. Большинство его приятелей-лыжников отпросилось во флотскую разведку. Не один рапорт с такой же просьбой подал и Николай Заседателев, но только теперь Столбов разжалобился и обещал после похода удовлетворить его просьбу. Николай попал в тот самый отряд, с бойцами которого я встретился в Североморске четверть века спустя. Но его на встрече не было. Он погиб в бою на Крестовом через год после нашего плавания.

С наступлением вечера повторялась обычная процедура. Из центрального поста слышалась команда старшины трюмных Сергея Кукушкина:

— В нос-су! По местам стоять, к всплытию!.. В кор-рме! По местам стоять, к всплытию!

Различие могло состоять лишь в том, что иногда в эту пору на вахте в центральном отсеке оказывался не Кукушкин, а домовитый, обстоятельный боцман Добродомов, и тогда не высокий кукушкинский голос, а его глухой и вкрадчивый бас подавал те же команды.

Продувалась средняя цистерна. Балластная вода уходила из нее в море. Стрелка на глубиномере начинала крениться налево и вниз, и когда она достигала нуля, командиры принимались отдраивать люки.

Легкий толчок в ушах. Изменилось давление, в лодку с ходового мостика ворвался морозный воздух. А Столбов уже там, наверху. Он принимает неизбеж-

ный ледяной душ под струями, льющимися со всех надстроек. И торопливо вытирает пальцы, чтобы можно было достать папироску и закурить поскорее. При отдраенных люках можно курить и в центральном. Но спички тут начинают загораться не сразу. Слишком еще мало кислорода. Огонек сперва — зеленый и тусклый. Он гаснет тут же, не успев разгореться. Проходит по крайней мере минута до первой затяжки.

Команды теперь поступают с мостика.

— Стоп продувать! — передает вахтенный, поднявшийся вслед за Столбовым.

— Закрывать кингстоны — второй и пятый!

Вангатов и Вовочка, как неизменно именуется электрик Сергеев, повторяют эту команду в переговорную трубу по отсекам: Вангатов — во второй, Вовочка — в пятый. Там вахтенные вращают никелированные штурвалы кингстонов.

Затем:

— Принять пятьсот литров в нос!

И наконец:

— Дизель на винт!

Лодка идет теперь в надводном положении. На мостик переносится телеграфное управление. Открываются переборки и клинкетки вдувной вентиляции, и по отсекам проносится сквозняк, охлаждающий батареи, а заодно пробирающий до костей и всех нас в наших отсыревших ватниках.

Наверху больно сечет по лицам крупа заряда, плюхают в кожаные регланы тяжелые брызги морской воды. Лодку сильно качает, и по белым, слегка фосфоресцирующим гребешкам видно, как высоки черные волны, на которых — с кормы на нос и с борта на борт — переваливается наш корабль.

Вдалеке мигают береговые огни и маячные проблески, и мы так уже к ним привыкли, что умеем отличить ритм проблесков у старинного рыбацкого порта Берлевог от огня Маккаура и огонь Вейнеса от огня Бос-фиорда.

Ступать там на берег нам не приводилось и, наверно, не приведется никогда. Только из лодки я знаю, что у входа в Берлевог стоит в море красная бочка, а огонь там зажигается в железном домике на деревянном фундаменте. И что Маккаура — небольшая деревня норвежских рыбаков, где есть телефон и почта.

«Конгс-фиорд расположен непосредственно к югу от Рис-фиорда и в восьми с половиною милях к югу от маяка Хьёлнес. Вход в него — между огнем Вейнес и мысом Вестернес. При входе в Конгс-фиорд находятся острова Хелёй, Конгсёй и Скархольмен, покрываемые красным сектором огня Вейнес. Острова Хелёй и Конгсёй славятся своими пастбищами и наличием множества морских птиц. Остров Хелёй окаймлен прибрежным рифом, который выступает от его восточной оконечности на три кабельтовых к востоку и от его западной оконечности — в юго-западном направлении на два кабельтовых...»

Нам хорошо виден красный сектор огня Вейнес. Видно «множество морских птиц». И когда утихает заряд, опять становится видно, как мчатся, почти прилегая к штормовой поверхности моря, тревожные тучи, расцветенные в пурпур и фиолетовую черноту.

Хорошо бы прийти сюда по-другому и пройти своими ногами по прославленному пастбищу острова Хелёй.

Но это нам не дано.

В одно из всплытий, когда на мостике оставались вдвоем помощник командира старший лейтенант Сорокин и боцман Добродомов, небо внезапно осветилось. К морю падал яркий огневой шар с большой светлой шапкой.

Добродомов занес ногу над люком.

— Погружение?

— Чего ради?

— Да ведь ракета!

— Какая там ракета, — отмахнулся Сорокин. — Это метеорит.

Продолжали курить, всматриваясь в море.

Вскоре красная полоса протянулась по юго-восточной кромке горизонта — зимняя здешняя заря, которая не предвещает появления солнца. Начинался шторм. А перед погружением выяснилось, что боцман был прав. В тусклых сумерках стали различимы отдаленные корабельные дымы. Ночной «метеорит» был — точно — ракетой, которую выпустил какой-либо из кораблей охранения, освещая море на пути своего конвоя.

Конвой прошел далеко, и наши торпеды не могли ему угрожать.

Столбова этот случай патолкнул на мысль: поглядеть, а не ходят ли караваны в нашем квадрате, выбирая самое темное ночное время и придерживаясь при этом поближе к берегу? Он пригляделся к побережью, высмотрел там скалы потемнее, чтобы не выделялись на их фоне силуэт лодки. Мы туда направились часа в двадцать два и, не выходя вполне из воды, показав только рубку, принялись курсировать вдоль береговой линии.

Командир и вахтенные сигнальщики стояли на мостике — одной ногой в люк, готовые к срочному погружению. Внизу все было приведено в первую боевую готовность.

Ходили долго. Но не встретили никого.

Повторили тот же маневр на следующие сутки, потом снова. И опять никого не нашли.

Около полуночи, во время всплытия, радист Хромеев связывался со штабной рацией. К этому часу шифровальщик Новицкий готовил ему шифровки, где снова не содержалось никаких победных реляций. После сеанса Хромеев приоткрывал дверь рубки, подзывал Новицкого и, протягивая ему синий бланк с только что принятой закодированной радиограммой, всякий раз говорил одни и те же слова:

— Тебе письмо.

Это была самая веселая шутка из всех, какие он себе позволял.

И теперь уже Новицкий запирался в своем чулане, принимаясь за расшифровку.

После ужина в третьем отсеке пристраиваются за столом торпедист Алексей Бахтиаров, он же корабельный парторг, и мичман Кукушкин. Они делают стенную газету, и Кукушкин ревниво следит, чтобы все было в аккурате, чтоб электрик Парфентьев писал ровно и чисто, а Васильев покрасивее рисовал заставки.

Однажды с Кукушкиным случился памятный конфуз.

Из переговорной трубы послышался с мостика голос командира:

— В центральном! Как курс?

И вдруг Серега Кукушкин тонким своим голосом откликнулся от компаса:

— Нет курса!

— Как это «нет курса»?!

Оказалось, что стрелка компаса стоит на нуле, и Кукушкин — трюмный, привычный больше к индикаторам машин, чем к компасу, — позабыл, что может быть и такой курс. Нуль — значит, руль в покое, никакого курса нет. Так и доложил.

Над этим вся лодка долго потешалась, и Леошко никогда не отказывал себе в удовольствии лишний раз позабавиться, напоминая Кукушкину об этом.

Вечерами в отсеках царит домовитый уют.

В отсеке электриков теплее всего, там просыхают, греются те, кто вымок на мостике. Развешаны на теплых трубах ватники, торчат снятые салоги и стоит тот спертый дух, что бывает осенью в общежитии лесорубов или у рыбаков на зимней путине. Рядом, в шестом отсеке, в тесном окружении своих приборов живет Большаков, корабельный механик, по-морскому — «дед». В общей «травле», как называют флотские досужую болтовню, он никогда не принимает участия. В свободное время сидит у своего крохотного столика и пишет. Я знаю, что он ведет дневник, и даже выпросил как-то на прочтение эту толстую тетрадь, озаглавленную «Некоторые заметки». Записи изо дня в день, точные, деловые:

«20 октября. 01.00. Идем курсом на о. Арнэй. Около двух часов ночи набили воздух в торпеды и в группу (один раз лопнул манжет). Около пяти закончили зарядку аккумуляторной батареи.

Нервы чертовски взвинчены у всей команды, это я сужу по себе. Почти всякий день снятся кошмарные сны, а это говорит о переутомлении всего организма и нервной системы.

В 6.20 погрузились. Сегодня ничего не видели и не слышали. День прошел спокойно.

В 20.00 всплыли. Включились на зарядку.

За время похода прочел книгу Ванштейна «Конструирование двигателей внутреннего сгорания», ч. II, и проработал с составлением конспекта книгу Засса «Бескомпрессорные двигатели Дизеля» — разделы: топливо, горение, смесеобразование и распыливание. В этой отрасли у меня были пробелы...

27 ноября. Около 03.00 была выпущена большой силы осветительная ракета (вероятно, с берега), которая осветила большой участок моря. Утром, до погружения, был неприятный разговор с командиром из-за корпуса в сети вспомогательных механизмов — корпус оказался на подстанции № 2 в третьем отсеке. Корпус быстро ликвидирован.

В 08.45 ушли под воду. Примерно в 10.15 во время всплытия под перископ лодку выбросило из-за большой волны. Командир психанул на рулевых, а затем опять попало бедному Захарову как вахтенному командиру.

Перед самым погружением на море поднялся настоящий ураган — невозможно было стоять на мостике, из-за чего очень медленно уходили под воду.

В 10.50 обнаружили дымы и самолет. Сигнал торпедной атаки. Ложимся курсом на дым. Дым не приближается, так продолжаем идти до 12.15. Затем отказываемся от атаки, т. к. дымы удаляются — следовательно, корабли уходят, погоня бесполезна. Отбой торпедной атаки; команде обедать. В 16.45 всплыли, лодку клало до 25°. Во время всплытия у кока произошла авария: выскочили из духовки листы с омлетом, пришлось срочно готовить на второе колбасу.

Изядно качает, ходим такими курсами, на которых качает меньше.

Сегодня закончил читать книгу С. Вольского «Завоеватели». Франциско Пизарро очень ярко описан».

Дневник — как личный вахтенный журнал.

Так же аккуратно ведет «дед» и свои конспекты.

Делает чертежи хорошо заточенными цветными карандашами, клеивает их в тетрадку резиновым клеем, бутылка которого попала ему на лодке.

Правда, времени на свои дела у Большакова остается немного. Не зря он ворчал перед походом. Слишком часто барахлят старые батареи, нелегко нагонять нужную плотность, ток уходит на корпус, и возни со всем этим что ни день, то больше. При шторме расплескивается аккумуляторная жидкость, приходится поднимать деревянные рыбыны, вскрывать в отсеке палубу и приниматься за доливку и щелочение, да так, чтобы лодка оставалась в постоянной готовности. Этим заняты Большаков, вся пятерка корабельных электриков и трюмные.

На сон у «деда» остается совсем мало времени. Спит он на узком диванчике в том же шестом отсеке, крепко обернув вокруг запястья прибитую к переборке тесьму, чтобы не скатиться на палубу во время качки.

В жилом отсеке верхний свет гаснет около полуночи. Пустуют койки вахтенных. На остальных еще долго переговариваются, бормочут. Дизелист Жора Данилов, в мирной жизни начинающий парикмахер, мужчина с пушкинскими бачками и лермонтовскими усиками, царапает в тетрадке невообразимые стихи, мучительно подбирая рифмы. Электрик Саша Горячев торопится, пока Добродомов не вырубил свет, дочитать «до главы» еще страничку «Школы» Гайдара. Перед самым выходом в море он вернулся на лодку с «губы», отсиживал трое суток за легкомысленное пренебрежение уставом. В первый же шторм укачался, и его дразнят, что, дескать, ослабел он на скудной «тюремной» пище. В море Саша притих и,

чуть выдастся время, уединяется в уголке с книжкой. Дольше всех читает на койке Ваня Бызов, тоже электрик. Прилаживает по ночам у подушки лампочку-переноску, чтобы не мешать светом соседям, и принимается за номер журнала, в котором напечатан новый роман Пристли «Они бродят по городу».

— Смотри ты, им тоже достается,— замечает он, сравнивая описание воздушной тревоги в Лондоне с Мурманском, где побывал недавно во время бомбежки и, выйдя из убежища, увидел, что из квартиры приятеля, где он остановился, упала на улицу стенка и кровать висит на этаже, зацепившись за щербатый кирпич в проломе. В одной из разрушенных квартир продолжало гореть электричество. Желтое пятно обыкновенного электрического света падало из дыры на снег, и после осточертевшего затемнения это вдруг придало пустой и жуткой улице неожиданно мирный и даже праздничный вид.

Вообще же о жизни, оставленной за пределами корабля, вслух говорилось мало. Слишком это была спокойная и трудная тема. Письма и без того шли долго, в походе мы были наглухо отрезаны от всего. У многих оставались родственники в блокированном Ленинграде. У моториста Степаненко, вертикальщика Максименко, у штурмана Леошко родители оказались в захваченных областях Украины и Белоруссии. Представить себе, как они там живут, было невозможно, что ж толку об этом чесать языками. В те часы, когда лодка находилась над водою и Хромеев мог принимать и транслировать по отсекам Москву, все старались не упустить ни слова из сводок Совинформбюро. Но сводки в те дни были глухими. После успешных боев под Москвой, а потом под Калинином и Ростовом все названия из сводок исчезли почти начисто, говорилось лишь о том, что «наши войска вели бои с противником на всех фронтах». И операции упоминались только частные — например, что подразделения командира Козика, действующие на Ленинградском фронте, захватили много пленных или что бойцы части товарища Дарбиньяна на Юго-Западном фронте истребили четыреста вражеских солдат и офицеров.

В одной из сводок было сказано, что «наши корабли в Баренцевом море потопили три транспорта противника общим водоизмещением в девятнадцать тысяч тонн и один танкер в пять тысяч тонн».

— Это наши поработали,— сказал лейтенант Захаров.

Он только в прошлом году окончил училище имени Фрунзе. На Севере служит меньше года. На подбородке у него ямочка, на щеках пушок — с виду совсем мальчонка. И если подумать, то удивительно, что именно он командует торпедными аппаратами и пушкой — всем смертоубийственным огнем нашего корабля. Я чувствую, что его замечание о кораблях, потопленных другими лодками, Столбов воспринял как скрытый упрек по своему адресу: другие, мол, топят, а мы тут ходим без толку. Но обидя дает себя знать только мгновенной нервной гримаской и колочим — исподлобья — взглядом. И тут же Столбов выходит из-за стола, разрешая тем самым и остальным покинуть кают-компанию.

Традиция оставалась на кораблях нерушимой и в военное время: сесть к столу после других и выйти из-за стола до времени можно было, только испросив разрешение у «отца семейства», то есть у командира лодки, и пожелав при этом всем присутствующим приятного аппетита.

Это хорошая традиция. Как всякий заведенный от веков ритуал, она способна гасить в зародыше многие бури не хуже, чем привычка считать до пятидесяти, чтобы не произнести необдуманное слово.

После сообщения о трех кораблях, потопленных на нашем военном театре, в жилом отсеке с особой горячностью заводят свой разговор три дружка, которые подали перед походом рапорты с просьбой о переводе в сухопутную разведку: Вангатов, моторист Горожанкин и наш кок Алеша Антонов.

Они перешептываются на соседних койках, и слышно, как Антонов «подводит базу»:

— Там свою работу без перископа видать.

Моторист Мацура, живой нервный паренек с красивым тонким лицом, в острословии не уступающий штурману, любимец всего экипажа, откликается без промедления:

— Твоя работа и тут без перископа видна. Как понесет всех в галюн, так и видно: опять наэкспериментировал Леха Антонов...

А экспериментировал Леха действительно смело и неожиданно. Когда запас продуктов на лодке стал уже подходить к концу, он огорошил нас ухой из копченого окуня. Потом дело дошло до супа из консервированных бычков в томате. И только в самые последние дни, когда антоновскому воображению уж решительно не за что было зацепиться, он вынужден был кормить нас всухомятку: галетами и паштетом из последних консервных банок. В коках он очутился неожиданно для себя. В одном из лыжных походов случилось ему соорудить на привале затейливое блюдо: на воздухе и с устатку оно показалось чудом. Это было еще в мирное время, но потом приятели долго и со вкусом рассказывали об этом. Столбову их рассказы припомнились, когда пришлось списывать с лодки предыдущего кока. Вот он и назначил Антонова на его место. А тот, не сумев отбиться, принял по доброму свойству природы стараться изо всех сил у своей плиты в седьмом отсеке, служившем по совместительству корабельным камбузом.

В один спокойный день, когда продуктов еще оставалось вдоволь, а штормовая погода не вселяла никаких надежд на возможность торпедной атаки, торпедист Мельников и Миша Мацура надоумили Антонова закатить команде блины. Они принялись за дело втроем. Лодку немилосердно болтало. Кипящее масло плескалось на раскаленном железном листе. Когда Мацура спешил перевернуть потемневший, зажарившийся с одной стороны блин, под него тут же, как ртуть, подползало сырое тесто. Блины бегали по листу, за ними было невозможно угнаться, их называли «блины штормовые». К столу их подавал вестовой Виктор Музы́ка, о чьей виртуозности ходили легенды по всей базе. Его затащили как-то к себе официантки береговой старшинской кают-компании.

— Правду о тебе говорят?

Музыка взял на кухню восемь тарелок супа и понес к столам на одной руке. Смертельный номер! Не хватало барабана, чтобы выбивал дробь, покуда он шел.

Рассказывают: в один из вечеров он мчался из седьмого отсека с подносом и угодил в открытый люк. «Только рука с подносом и торчала из люка. Не уронил ведь, удержал, артист!»

Он принес горячие блины и из необъятного кармана комбинезона достал бутылку разведенного спирта, чтобы разлить по кружкам «наркомовские сто граммов». В сырости и холоде походной жизни появление этой бутылки всякий раз встречалось дружным хором бессменных незатейливых шуток. Сочетание со «штормовыми блинами» приободрило и усилило хор. И так получилось, что все за столом, начиная от Коли Столбова, пустились вспоминать годы детства, масляницы, пасхи, наивные полязыческие обряды, милые сердцу.

Командир рос под Нижним. У них еще хаживали «стенка на стенку», он отправлялся к Волге с отцом. Драка начиналась без зла друг на дружку, но с азартом, при котором недалеко было и до смертоубийства.

Столбов показывал шрамик, прикрытый негустой рыжеватой бровью.

— На всю жизнь осталось. И ведь ничем. Просто ребром ладошки двинуто было.

Комиссар наш Долгополов Коля — с Северной Двины, из тех мест, что между Котласом и Великим Устюгом. Большие старые села — Красавино, Приводино — стоят в лесах. Там у них привозили в село стволы высоких сосен, окоряли их, клали бревна — рельсами — по горе. Бревно от бревна на таком расстоянии, чтобы можно было руку подать. Бревна эти заливали водой, обмолаживали. Внизу, в снегу под горой, копали глубокую яму, забрасывали сеном. Парень на одно бревно, девушка — на другое, рука в руку и — вали с горы! А там с разгона кувырком в яму, и уже сверху летит другая пара, за нею третья, визг, хохот. А мороз трещит.

И потом по морозу домой с красными щеками, с удалой — во всю глотку — ча-
стухой...

А Костя Сорокин, помощник Столбова, — из Лукоянова. Это под Арзамасом. У них и тройками ездили, и на салазках спускались с ледяных горок, а больше всего любили прилаживать на льду колесо от старой телеги и, уцепившись за палки, привязанные к колесу, раскручивались на самодельной карусели до сумасшедшей, бешеной быстроты. Выпустишь палку из рук — пропал, летишь стремглав, пока не врежешься в сугроб.

«Дед» Большаков ездил из Питера к бабке, в валдайскую деревню. Сам Андрей рос в интернате, к бабке его отпускали на праздники куда-то под Старую Руссу. Там жгли Масленицу — так называли нескладное чучело из пакли, вымазанное дегтем. Оно пылало над снегом. Ребята выражались, ходили от избы к избе, пели под окнами.

Вспоминал и Леошко родную свою деревню близ города Логойска — от железной дороги шестьдесят четыре километра. Когда он еще раньше впервые заговорил о деревенском детстве, это показалось неожиданным. Быть может, больше, чем все остальные командиры, казался он коренным горожанином, притом с той особой печатью, какую оставляет на своих детях Ленинград, его белые ночи, прозрачный чугун садовых решеток, вся изысканная тонкость, какою окружает он своих подростков с их первого лепета и первого шага. Оказалось, Леошко приехал туда, окончив рабфак в Минске. Поступил в институт инженеров транспорта, потом по комсомольской мобилизации переведен был в военно-морское училище. Об училище имени Фрунзе он говорил с охотой и удовольствием. Там было интересно. Старый дом на Васильевском острове, помесь огромной казармы и могучего замка, полон был затейливых закоулков, где легенды возникали сами собою. После елизаветинских архитекторов никто уже не строил таких бесконечных коридоров, по которым могла бы скакать конная гвардия, таких толстых каменных стен, что через подоконник к окну едва можно было дотянуться. Разве только в построенном для Павла Инженерном замке в последний раз повторились эти могучие феодальные архитектурные формы.

В училище был Звериный коридор. Его так называли потому, что на стенах там были когда-то прибиты головы чудиц и пышные русалочки торсы, украшавшие прежде собою носы старых фрегатов.

Возле штурманских классов был Компасный зал. В фонаре-куполе давно уже вылетели стекла, компасная картушка, выложенная из паркета старыми мастерами, едва проглядывалась на истоптанном полу. Высокие ниши пустовали, и уже никто не помнил, какие в них стояли статуи.

Был Сахарный двор — некогда один из купеческих санкт-петербургских причалов, где с кораблей, прибывших из Вест-Индии, разгружался коричневый тростниковый сахар. Был Парадный двор, где гардемарины приносили присягу, которая многих так тяготила потом, в крепости на Аландских островах, после декабрьского восстания 1825 года.

Когда Леошко учился, все это было не по-флотски запущено, отдано медленно разрушению, до ремонта не доходили руки, деньги нужны были на другое. Флот рос. Нужно было строить новые корабли, новым кораблям нужно было много командиров. На их подготовку уходили все средства, об остальном думать не приходилось. Столбов, например, придя на флот по той же комсомольской мобилизации, что и Леошко, угодил не в училище, а на курсы ускоренной подготовки командного состава. Его обучили в два года. И оттого, что этого короткого срока ему оказалось достаточно, чтобы стать хорошим, умелым подводником и командовать четырьмя десятками людей, составляющих вверенный ему экипаж, у него укоренилось легкое презрение ко всяким там «академикам» и «фрунзакам», как называл он дипломированных леошкинских коллег. Это была защитная, оборонительная позиция, в ней сказалась и его настроенность к интеллигенции — черта, свойственная в те годы не ему одному.

При этом Коля Столбов и Миша Леошко оба были крестьянскими детьми, и биографии их одинаково заставляли думать о необычайной восприимчивости, отличающей эту чисто русскую породу, о поразительной способности впитывать, усваивать и развивать полученные знания, наивысшим воплощением которой явилось предание о холмогорском пришельце, который добирался на санях с мороженой рыбой в греко-славянскую академию, что была в Москве на Никольской.

Не потому ли и вся старая русская культура так тесно связана с деревней, с землей и хлебом? Ведь и граф Толстой Лев Николаевич вырос, как привитое дерево, в чем дворянском стволе всегда давали себя знать соки деревенского детства, и земледельца Левина он писал как собственный автопортрет, и в картине покоса отводил свою душу, словно и сам не перо в руке держал, а снова, как и на самом деле часто бывало, всей загрубелой ладонью, всеми крестьянскими мозолями чувствовал крепко сжатое косовье.

И Леошко с его ироническим складом ума и даже на внешности отложившейся тонкостью чувств, и Столбов, вопреки его совхозному шоферскому ухарству и опасливой пренебрежительности к интеллигенции, были тоже привитые деревья. Оставаясь крестьянскими детьми по всей своей сути, они стали интеллигентами в особенном и лучшем — очень русском — значении этого слова. В том памятном застольном разговоре после блинов это чувствовалось со странною остротой. Леошко очень хорошо рассказал тогда про бурный и целомудренный весенний танец, который в его деревне — на масляной — плясали одни девушки, без парней. А потом, тут же за столом, спел протяжную белорусскую песню: про девочку на выданье и нескладных, никчемных ее женихов, за которых не хочет она идти, а мать велит, и деваться некуда, выходить надо, не пропадать же в девках.

И когда пел Леошко, и когда Столбов вспоминал давние порожние рейсы на своей полуторке и то, как он норовил тогда душными летними вечерами вернуться к мельниковой дочке, высматривая, нет ли дома отца, особенно чувствовалось в тот вечер, что жестоко разорванные войною связи вызывают у каждого ту же боль, какую испытывают раненые после ампутации: нет ноги, а она продолжает болеть и где-то на краю пустой простыни жжет и рвет уже несуществующий палец.

А лодка шла на семьдесят втором градусе северной широты. Барометр трети сутки полз книзу, и невысокая, но сильная волна клала лодку с борта на борт, с борта на борт. И когда мы поднимались на ходовой мостик, проваливающийся под ногами, во мгле снежного заряда заунывно выла туманная сирена маяка Хьельнес. Словно задохнувшись, она делала короткие равномерные паузы и снова принималась завывать на одной унылой, нескончаемой ноте.

В отсеках лодки всех людей, составляющих ее экипаж, прочнее, чем дружба, связывало уравнивающее сознание общей судьбы. Никто не мог знать, что случится с кораблем, а значит, и с ним самим через день, через час, а может, даже через минуту. Об этом никогда не говорили, но помнили об этом всегда.

Поэтому на лодке не мог удержаться нытик, портящий настроение другим. Не уживались здесь «сачки», которые норовят побездельничать, переключивая свою работу на чужие плечи. Таких выносило с корабля, как вырывает пробку из бутылки с крепким, хорошо устоявшимся квасом. Оставались люди, привыкшие понимать друг дружку с полуслова.

Если лодке — и всем этим разным, но так тесно сжившимся между собою людям — придется погибнуть, то скорее всего никому и никогда не станет известно, как и где это случилось. Ведь когда лодка идет под водою, у нее нет возможности связаться со своими и сообщить, что с нею происходит.

Лодка ушла и не вернулась. Вот все, что чаще всего бывает о ней известно.

О том, что случилось с «Щ-402», нам стало известно со всеми подробностями. Это оказалось возможным оттого, что она — уже мертвая — сумела возвратиться на свою базу.

В следующем походе, когда лодка ходила на той же позиции и уже имела за собою еще один потопленный вражеский транспорт, на ней произошел взрыв.

Погибли все люди в двух отсеках. Кто сразу при взрыве. Кто потом — оттого, что люки заклинило, проникнуть туда было нельзя, помочь было невозможно, все наполнилось в этих отсеках раскаленным паром, нечем стало дышать, и начала поступать морская вода. Там был и Николай Столбов. Электрик Женья Парфентьев много раз повторял мне потом последние слова командира, которые донеслись до него глухо, через непроницаемую переборку. Столбов не придумывал слов для вечности перед смертью. Обожженный, задыхающийся, он умирал, матеря свое бессилие и свою раннюю гибель.

С живыми оставался «дед».

Есть у моряков свой такой термин — «борьба за живучесть».

Самые настырные, до чертиков всем надоевшие учения на всех кораблях проводятся по наставлениям об этой самой борьбе за живучесть. Проводил их не раз и Столбов. Даже во время боевого похода.

Похоже, что врачи сейчас занимаются чем-то подобным, изучая запасы живучести человеческого организма. Но экипаж подводной лодки состоит не из врачей-экспериментаторов. Лекпом Заседателей и тот накануне последнего похода «Щ-402» ушел с лодки в отряд разведчиков. Его сменил Разговоров. Над случайной игрой двух имен подводники немало смеялись. Когда произошла катастрофа, Разговоров и сам оказался в отсеке смертников и погиб вместе с командиром.

Зато лодку тут умели лечить все. И оказалось, что запасы живучести у боевого корабля в самом деле поразительны. «Дед» заставил искалеченные, смертельно израненные машины дать кораблю ход. Ход был ничтожный. Лодка едва плелась. Но рули были целы, тяги их удалось восстановить. Мертвый корабль подчинялся управлению.

Из командиров остался в живых Захаров, артиллерист, «отец Захарий», как называл его Миша Леошко. К младенчески розовому Захарову прозвище это меньше всего подходило, и именно из-за явного своего несоответствия пристало прочно.

Как выглядел «отец Захарий» в трагических обстоятельствах после ночного взрыва, я решительно не умею себе представить. А Миши Леошко в том последнем походе уже не было. Перед самым выходом лодки в море — бывает же так — он получил назначение на новый, большой подводный корабль и, в последний раз поддразнив друзей, ушел с чемоданчиком на пирс, оставляя штурманскую часть своему дублеру: Николай Александров, немолодой «штурманец с торгаша», несколько месяцев проходил под леошкинским руководством практику подводного плавания.

После взрыва Александров оставался за командира.

Он и привел мертвую лодку на базу.

Слушалась лодка плохо. Однажды ее вынесло под самый берег. Подводники оказались возле норвежского городка Варде, оттуда светили немецкие прожекторы, едва удалось унести ноги. Временами ход снова терялся, корабль начинало дрейфовать, нанося на скалы.

На одном из «военных советов», собранных уцелевшими уже тогда, когда во взорванных отсеках затихли все звуки, было высказано предложение: кончать с этим бессмысленным делом, покориться судьбе и выбрасываться на прибрежные камни.

Мичман Егоров, старшина торпедистов, спросил у «деда»:

— Как считаете, Андрей Дмитриевич, — все? Совсем все?

«Дед» сказал:

— Попробовать еще можно.

Егорова выбрали комиссаром.

Они с «дедом» провозились с час. Лодка опять поползла.

Я увидел ее уже возле пирса в Полярном. Был отлив. Казалось, что «Щ-402» висит на швартовых концах в черной могильной глубине. На пирсе на чугунной причальной тумбе сидел Большаков. Он и сам был чугунный, как тумба. А Женя Парфентьев бегал от одного к другому и говорил, говорил без умолку. Это тоже было формой шока. От Жени сильно пахло спиртом, он, наверно, успел «принять» у друзей, это держало его на ногах, но от лодки он не мог уйти. А оттуда поднимали и поднимали наверх темные продолговатые пакеты, зашитые в корабельную парусину.

И шепотом передавали имена:

— Столбов.

— Долгополов.

— Хромеев.

— Степа Новицкий.

— Васильев.

— Ванюшка Вангатов...

На другой день я столкнулся с Большаковым на узких мостках, перекинутых по скалкам, между Старым Полярным и Новым. Он не узнал меня. Лицо его сразу постарело, глаза ввалились. «Дед» шел к Подплаву, и казалось, что находить дорогу ему помогает только траурный марш, который непрерывно слышался оттуда. У гробов сменялся почетный караул. Я увидел Головку и почему-то впервые обратил внимание на то, как пожелтело его лицо — наверно, оттого, что все время он проводил теперь на подземном командном пункте, оборудованном с первых дней войны. Показываться на свежий воздух ему удавалось очень редко. Увидел Ивана Александровича Кольшкина и Мишу Августиновича — друзей Столбова, командиров первых подводных лодок, которые пришли на Север в 1933 году. Кольшкин стоял в той же всем знакомой кожанке, побелевшей от морской соли, в которой он, став уже командиром бригады, провожал все лодки, уходившие в боевой поход. И «Щ-402» он провожал тоже.

В одной из смен караула я узнал знакомого шотландца Джена, толстого краснолицего моряка из английской военной миссии. Он прибыл в Полярное из Найроби, из Экваториальной Африки, и часто повторял, что здесь он погибнет, потому что у него слабые легкие, ему очень худо было в Африке, и здесь ему тоже очень плохо.

Он хотел, чтобы война поскорее кончилась и чтобы он вернулся в Англию и открыл придорожный кабачок в родных местах. Он бы посадил за стойку своего сына, а сам пил бы с хорошими людьми в собственном своем кабачке за каким-нибудь из деревянных — обязательно деревянных, лучше всего дубовых, это уж так придумано было, — столов. Не знаю, выдержали ли его легкие смену климата от экватора до Заполярья, осуществилась ли его нехитрая мечта, но, если осуществилась, я бы хотел очутиться как-нибудь в его кабачке, и выпить с Джеком снова, и вспомнить, как мы пили с ним спирт, собравшись после похорон Столбова в холостяцкой, похожей на корабельную каюту тесной комнатке нашего «деда».

Из погибших на «Щ-402» Джек не знал никого. Но он был тоже моряк, и он умел достойно и искренне разделить наши чувства.

Николая Столбова и всех, кто погиб вместе с ним, хоронили весенним вечером. От Подплава до самого кладбища, расположенного на гнилом торфе Кислой губы (выбирали для кладбища место, чтоб не камень был, а хоть какая-то почва; немного у нас было таких мест), шпалерами выстроились корабельные экипажи. Потом прощальный салют троекратно гремел над Екатерининской гаванью. Двадцать пять лет прошло с того вечера.

В Полярном, через двадцать лет, стояли мы возле памятника, сняв шапки.

На белом обелиске были высечены имена погибших с «Щ-402», а от обелиска виден был пирс, на который поднимали тогда тела. Для бывших бойцов 181-го особого гвардейского разведывательного отряда за каждым из прочитан-

ных на памятнике имен вставал живой и незабываемый человеческий облик. Ведь это и был тот самый отряд, куда ушел с лодки после похода доктор Кира-Маря и куда так стремились попасть, но не успели Данилов и Горожанкин.

В начале июля сорок первого года ядром только что созданного отряда стали спортсмены-лыжники бригады Подплава. Отряд назывался тогда 4-м добровольческим, и командиром его был назначен физрук Коля Инзарцев. Он тоже стоял теперь у памятника, по-военному держа на согнутом локте штатскую мягкую шляпу, снятую с уже тронутой сединой головы. Он малость погрузнел, но еще сохранил спортивную подтянутость. В то, что когда-то на всем флоте у него не находилось соперников по слалому, еще можно было поверить. Я не знал, что делает Инзарцев теперь, в своей нынешней севастопольской гражданской жизни. Да и не хотелось об этом расспрашивать. Все они приехали сюда, чтобы вспомнить себя прежними; вся последующая четверть века оставлена была до поры в других широтах; тут они переселились в Страну воспоминаний, мертвые друзья снова ожили и продолжали идти рядом с ними, все были молоды и опять делали то, что следовало делать.

Только надписи на памятнике напоминали о том, что это грустная иллюзия и Страна воспоминаний населена тенями мертвых.

У памятника мы очутились и после высадки в Линахамари.

Там тоже нельзя было ничего узнать. Также виднелись новые большие дома по сопкам. Не осталось и следа от пожарища, по которому бродили мы утром 13 октября 1944 года.

Мы поторопились переправиться на противоположный берег — к Крестовому перевалу хребта Муста-Тунтури, поднимающемуся над самой водой узкого и длинного фьорда.

Для разведчиков это было одним из самых памятных мест.

Тогда, в ночь с 12 на 13 октября, они вели здесь один из самых тяжелых боев, что выпадали на долю отряда за всю войну. Я попал к ним наутро, когда все уже было позади, Крестовый был взят, оставалось похоронить своих мертвых. На этой стороне залива никто теперь не жил, голый, сумрачный камень по-прежнему высоко громоздился над самой водой, в расщелинах вились цепкие стебли камнеломки и пестрели непахнущие северные цветы.

Карабкаясь по скалам, мы то и дело наткнулись на огромной толщины бетонные цистерны, погруженные в камень, — остатки укрепленных артиллерийских позиций, сооруженных здесь гитлеровцами для обороны Петсамо, древней Печенги. Этот бетон сросся с камнем навечно, его не уничтожить — как циклопические сооружения древности, он остается будущим археологам для зыбких гипотез и будущим детям для игр, которые, наверно, всегда будут похожи на игры прежних, давно сменившихся поколений.

Даже четверть века спустя после битвы укрепления казались неприступными.

Но разведчики взяли их в ту ночь и теперь возвратились сюда, вспоминая, как это было.

Андрей Пшеничных, Герой Советского Союза, говорит:

— Вот из-за той сопки я вывалился, а батарея как раз подо мной, смотрю, а он — ходит...

А Семен Агафонов — тоже Герой, за ту самую ночь Звезду получил, по-позже правда, когда к Крестовому еще кое-какие дела прибавились, — спорит теперь с Андреем:

— Не тут это было. Вон она, та сопка, повыше. Оттуда мы шли. И видишь, вот их блиндаж, это он и есть.

Кто прав?

Уже не так это важно.

А памятник стоит на сопке со срезанною вершинкой: два бойца, один в шинели, другой в плащ-палатке, белые, празднично чистые, в полном параде — красиво на них глядеть, — приникли на белом же постаменте друг к дружке.

Под ними — бетон укреплений. Скрученный — как покорежило взрывом, так и осталось — металл. Перед ними — залив, который в старину звался Девкиной Заводью. На противоположном берегу — новый, аккуратный и веселый поселок.

Хороший памятник.

Мы оставили у его подножья тут же сорванные цветы иван-чая и камнеломки и вернулись в Линнахамари.

...В кают-компании за обедом сидел с нами молодой капитан 3-го ранга. Обед был флотский, нормальный. Разговор — чинный. Про квартиры для семейных — все еще не хватает. Про новую технику. Про то, что нелегко с ребятами, которые проходят на кораблях срочную: только освоятся, а уже пора с ними прощаться — отпуская домой, принимая новых, учи сызнова. При новых теперешних сроках будет еще труднее.

Такие разговоры, впрочем, и в сороковом приходилось слышать. Тоже жаловались, но управлялись. Управляются, видать, и теперь.

Новое было в другом — в каких-то едва уловимых, второстепенных черточках. Они такие второстепенные, что даже и говорить о них как-то несерьезно. И тем не менее они несомненно новые и — тоже несомненно — многое собою определяют. Ну, например, белой вороной, быть может, показался бы в прежнюю пору офицер с такой начитанностью, какая — вовсе не внешне, не количеством упомянутых названий, а органично и весьма глубоко — окрашивала всю нашу застольную беседу. Беседа заставляла сравнивать, вспоминать и приводила к заключению, что хозяин наш уже не продукт «ускоренной подготовки», а морской офицер, воспитанный по всей форме. Даже за столом он сидел по-другому, держа вилку в левой руке, а ножик в правой с той естественностью, какая для ведения и исхода морских войн решительно никакого значения не имеет, но о коренных изменениях в подготовке кадров свидетельствует очень красноречиво.

В кают-компании «Щ-402» так сидеть за столом не умел никто.

И проблемы отношения к интеллигенции — в прежнем ее виде — здесь уже существовать не могло.

Но что же это все означает?

Применительно к главным задачам — лучше это или же хуже? Сохранилась ли с этой чинностью и та теплая простота, что объединяла всех людей на корабле перед лицом, как говорится, опасности? А ведь на самых последних пределах это и оказывалось главным и почти неисчерпаемым источником того, что на морском языке зовется «живучестью судна».

На такой прямо поставленный вопрос я бы еще не сумел ответить. Для этого надо было подольше пожить на корабле, лучше узнать людей, повнимательнее к ним присмотреться. А время уже вышло. Пора было благодарить за гостеприимство, возвращаться на пирс, уходить восвояси.

Капитан 3-го ранга поднялся из-за стола.

Сказав, что проводит нас, он ступил за комингс и снял с крюка фуражку.

Одним неуловимым и таким знакомым движением он примял ее, посадил набекрень, показывая надтреснутый «нахимовский» козырек, маленький, отвесно опущенный от околыша к переносице. В этот короткий миг, перед тем как покинуть гостеприимный корабль, я вдруг увидел Столбова совсем живого, куда более похожего на себя, чем лицо на фотографии в корабельном альбоме.

Увидел ту же повадку, ту же закуску.

Мне показалось, что в этом и был ответ на вопрос, на который еще за минуту перед тем я не умел ответить. Даже это внешнее и незначительное свидетельство неизменности флотской природы было мне так же важно, а может быть, и еще более важно, чем многочисленные свидетельства перемен, видимые здесь на каждом шагу.

С плавучей базы мы возвратились на сторожевой корабль и, отдав швартовы, развернулись в заливе, чтобы лечь на обратный курс.

Снова стал ясно виден белый памятник на Крестовом.

Боец с винтовкой и второй, с автоматом навскидку, серьезно и как бы с грустью оглядывали Девкину Заводь. Бетон старых дотов рассмотреть уже было нельзя. Только камень и лиловые пятна цветов по скалистой тундре. Макар Бабиков, Серега Воронин, Никандров, Агафонов, Пшеничных прощались с тихим фиордом, еще раз сняв шапки перед собственным прошлым.

3

В ночь на 11 октября 1944 года сводный отряд разведчиков Северного флота получил приказание захватить неприятельские батареи на Крестовом перевале. Это оказалось необходимым для того, чтобы стала возможной высадка десанта, которая должна была произойти два дня спустя в еще занятом гитлеровцами порту Линнахамари, на подступах к Печенге.

С юга на Печенгу уже вели наступление части 14-й армии. Со стороны полуострова Среднего двинулась бригада морской пехоты. Десанту предстояло захватить порт и отрезать его гарнизону пути отступления в Северную Норвегию. Батареи Крестового держали под прицелом все подступы к этому порту; чтобы дойти до причалов, нужно было заставить их молчать. Разведчики сделали это. Они вышли к Крестовому поздно вечером 12 октября, одну батарею захватили сразу, за вторую повели долгий и трудный бой.

Операция по высадке десантников была поручена катерам-охотникам и торпедным катерам. На одном из последних — на «ТКА-213» — предстояло идти и мне. Командиром катера был старший лейтенант Остряков; у нас на борту находился и капитан-лейтенант Кисов, командир отряда.

У катерников я к тому времени находился уже две недели.

Бригада их была на Северном флоте одним из самых молодых соединений: местоположение базы лишь недавно определилось, и городок только принялись строить, мы жили в землянках.

Время уже было осеннее, а по-заполярному в октябре наступила зима. Снег выпадал обильно, но с окрестных сопок его тут же сдувало ветром, и черный, иззубренный камень амфитеатром окружал один из самых красивых здешних заливов, похожий на большое озеро, замкнутое в скалах. Скалы прикрывали и вход, вода в губе всегда была спокойна, это было одной из причин, по которым катерники облюбовали это место для своей базы.

Удивительным тут было сочетание привычных примет мирной стройки с тем особым военным бытом, что сам собою складывается везде, где война состоит из внезапных набегов и возвращений, как это бывает у летчиков или разведчиков. Катерники воевали так же. Маленькие быстроходные корабли стайкой выскакивали в море, чтобы подстеречь и перехватить неприятельские суда на пути следования. Атаки их были стремительны и внезапны. Потом катера возвращались на базу. Иногда возвращались не все.

Меня поселили в землянке 2-го дивизиона.

Уже месяц прошел после памятного дня 19 августа, когда авиационная разведка засекала на выходе из пролива Боссесунн большой конвой из тридцати кораблей. Полярный день только-только кончался. Неглубокие сумерки длятся в эту пору два-три часа, и рассчитано было так, что к недолгому сумеречному времени конвой подойдет к мысу Кибергнес, замыкающему Варяжский фиорд. Туда и вышли наперехват четырнадцать торпедных катеров — четырьмя группами.

Бой длился полчаса. Катерники потопили тогда двенадцать кораблей, а сами вернулись без потерь. Героем дня оказался Вася Быков, старший лейтенант, командир 242-го. Рассказывали, как он рванулся первым к конвою и, подставляя собственный борт под ураганный огонь, промчался вдоль всех вражеских судов на расстоянии каких-нибудь десяти кабельтовых, ставя дымовую завесу и пряча остальные катера от прицельного обстрела.

Слово «дым» тут вообще звучало по-особому.

— Он меня дымом прикрывал,— говорил Николай Дербеденев про Анатолия Кисова, и это означало высшую пробу боевого товарищества.

Броня катера — его скорость. Когда он маленькой точкой стремительно приближается к противнику, беря его под прицел своих носовых торпедных аппаратов, он практически неуязвим для вражеского огня. Зато, повернувшись бортом, как это необходимо, чтобы поставить дымовую завесу и прикрыть товарища, он становится доступной мишенью. И при выходе из атаки, на развороте, катерников тоже выручает плотный, хорошо поставленный дым, в котором могут они быстро укрыться. Перед боем 19 августа Быков ставил завесу, не щадя себя, и об этом помнили долго.

С тех пор на протяжении месяца ничего особого здесь не происходило. Конвои перестали показываться. Ни с моря, ни с воздуха их не удавалось увидеть. Похоже было, что после больших потерь им пришлось остеречься, подумать о новой тактике. Часть катеров выходила все же к Среднему на позиционную базу, они дежурили там по первой боевой готовности, в положенное время сменялись и возвращались к своим причалам.

— Жора, подтянись! — кричал Чернявский, входя в землянку после очередного дежурства.

Черт его знает, откуда пристала к нему эта фраза. Может, от какого-нибудь эстрадника услышал. Но повторяет он ее по любому поводу и без всякого повода тоже. Его самого зовут Жора-подтянись или просто Жора, хоть на самом деле он Виктор Васильевич.

Когда нет боев, штаб не дает катерникам скучать, оставаясь без дела. Одни катера выводятся на мерную милю. На других проверяются и ремонтируются механизмы. Или объявляются учения, совсем как в мирное время.

Жора-подтянись появляется, пригибаясь под низкой дверной притолокой нашей землянки. На руке у него голубая с белым прямоугольником повязка, похожая на флажок, означающий по сигнальному своду букву «рцы». Это означает, что Чернявский облечен сегодня обязанностями оперативного дежурного. Он возглашает:

— Господа офицеры, внимание! В девять тридцать будет проиграна игра по программе учений. Литература: наставление, устав, приказ, библия и псалтырь. Товарищу Дербеденеву Николаю приказано подзубрить особо.

Тут верно лишь то, что на девять тридцать действительно назначены учения. Остальное — плод Жориной любви к извитию словес. И желание подразнить Дербеденева, который на последних учениях второпях ошвартовался кормом вперед и не умел объяснить, как это у него получилось. Чернявскому Дербеденев не откликается и притворяется спящим. Он не открывает глаз, даже когда Жора кричит ему о пользе зубрежки в самое ухо. Зато с соседней койки нехотя поднимается Желваков. В черном комбинезоне, надетом прямо на голое тело, он мыкается спросонок в тесном пространстве между койками и печкой, оборудованной из железной бочки, и в нем просыпаются неясные побуждения: побороться бы, что ли. Днем, одетый по форме, он кажется небольшим, щупловатым парнем, а сейчас видно, как ляжки комбинезона врезались в его могучий атлетический торс. Ему некуда девать свою просыпающуюся силу, он толкает плечом одного, другого, по-медвежьи сгребает вошедшего в землянку флагманского артиллериста и, высоко оторвав его от земли, кидает на койку.

Появление флага гарт говорит о том, что предстоящая игра сулит хлопоты «второй боевой части», то есть катерным артиллеристам и комендорам.

У раскаленной печурки возится Вася Игумнов. Он уже вскипятил в огромном чайнике воду, принесенную из ближнего ручья, и вскрывает банки с тушенкой.

Я не знаю, когда этот человек спит. И спит ли он вообще. Когда я засыпаю, в его углу всегда еще горит неяркая коптилка, и Вася продолжает неслышно

возиться, то ли штопая прохудившиеся носки Острякова, то ли пришивая отлетевшие пуговицы к сорочке Левы Бамштейна. Васе Игумнову лет тридцать. Сам он, кажется, саратовский, из какой-то приволжской деревни. Служил в бригаде морской пехоты, во взводе разведчиков. Был тяжело ранен. После госпиталя хотели его демобилизовать, он отпросился, рвался в прежнюю свою часть, в этом ему отказали, и он попал к катерникам — вестовым в землянку 2-го дивизиона. Тут он всегда тих, неприметен и ко всем обитателям землянки относится так, как в многодетной деревенской семье старший брат относится к младшим, которых он привык нянчить.

Когда катерники возвращались с моря, каждый из них находил на своей койке приготовленное сухое белье, а все мокрое Вася тут же забирал к своей негасимой печке и принимался за сушку. По субботам, когда топились построенная в скалах повыше нашей землянки северная банька с каменной, Вася так же заботливо снаряжал туда всех своих подопечных, и белье у них было свежее, и даже венички были припасены Васей с лета в одном из сараев, ключ от которого он не доверял никому.

Разговаривал Вася мало. О себе не рассказывал никогда. Но Льву Бамштейну, который тоже попал в бригаду из отряда разведчиков, хоть и из другого, имя Игумнова было по рассказам знакомо. С ним, оказалось, связывали историю, которую я запомнил еще с первых месяцев войны. Не то в августе, не то в сентябре, когда тяжелые бои шли на самых подступах к Мурманску, батальонным разведчикам в бригаде морской пехоты велено было любой ценой захватить «языка». Отправилась небольшая группа, пять или шесть человек; пробрались в расположение горно-егерской части, залегли в камнях близ тропки, угадав по оживленному движению дорогу к штабу. Вечером подстергли двоих, кинулись, заарканили, сунули каждому по кляпу в рот и поволокли по сопкам в свой батальон. Путь был неблизкий, тащить добычу пришлось добрых два часа, не переводя дух. У своего штаба егерей посадили под скалу и, веселые, невредимые, все еще охваченные азартом, доложили, что все сделано как надо, — «языки» есть, и даже не один, как было приказано, а целых два, да еще с какими-то нашивками, — как бы не офицеры. Комбат выскочил, но оказалось, что «языки» уже не были «языками». После того, как их проволочили по острым камням, оба были мертвы. Рассказывалось об этом как об оплошности разведчиков. Без осуждения. Даже, пожалуй, весело. Брала ребята «языка» с риском для жизни, а вышло зря, на другой день пришлось рисковать снова. Приказ-то остался невыполненным, а «язык» был необходим. Во второй раз — привели.

Услышанный впервые, случай этот, помню, заставил думать о том, что понятие «противник» не бывает для бойца одушевленным. Даже когда стреляешь в бою из винтовки, не видишь того, в кого стреляешь, человек о м. От стрельбы по мишени это отличается только тем, что в этом случае мишень может ответить и ответ может быть смертельным для тебя. И на подводной лодке я убеждался, что ни Столбов, ни торпедист Мельников, ни розовый Коля Захаров, когда он как вахтенный офицер смотрел в перископ на разломанный торпедой и идущий ко дну корабль, никогда не пытались и не могли представить себе тонущих вместе с этими обломками людей именно как людей. Все это входило для них в отвлеченную формулу вахтенного журнала или боевой сводки: «потопленный транспорт». Все укладывалось в отвлеченные цифры. Не в этой ли отвлеченности представления о человеке самая злая (и неизбежная) аморальность войны?

Но стоит схлынуть азарту, поостынуть, встретиться взглядом с чужими и так понятно испуганными глазами — и у нашего бойца сразу же абстрактное представление сменяется живейшим интересом. Пленному тут же суют папироску, даже если самим табаку не хватает, и торопятся накормить. И становится любопытно понять, что он такое по-своему лопочет. И неожиданным оказывается: простое открытие, что он курит и ест точно так же, как ты.

Это часто называют русской отходчивостью.

Мне кажется, есть в этом нечто большее.

Есть моральная устойчивость и способность духовно здорового организма к быстрому восстановлению — врач сказал бы: к регенерации — травмированного человеческого естества.

Добрейший и тишайший Вася Игумнов был одним из разведчиков, которые волокли взятого ими «языка» по камням.

Но так говорили другие, а с ним у нас разговору про это не было. Сам он обычно заводит беседу только на любую из двух давно определившихся тем. Во всем, что касается лошадей, Вася Игумнов — непревзойденный дока и может увлеченно и нескончаемо рассказывать, как ожеребилась колхозная кобыла Снежка, и жеребенок у нее был такой слабенький, что думали — не выжить ему. А Вася взялся выхаживать и выходил, и он объясняет, как именно выходил, и чем кормил, и как потом объезжал, и такой получился конек гладкий и статный, что сам товарищ Терсков приезжал на него глядеть и сторговал для конного цирка. И еще Вася любит философствовать на тему о справедливости. Но тут неизменно приходит к горькому выводу, что, конечно, без справедливости жить человеку нельзя, однако живут люди не по правде, и даже весьма хорошо при этом живут. Любые же вопросы о минувшей боевой жизни заставляют Васю свертываться, как лепесток цветка-недотроги. Отвечая, он ограничивается фразами заковыристыми и строго официальными.

— Значитца, — начинает он, — пошли мы в соответствии на Муста-Тунтури, и в этих самых Тунтурах данная наша разведка прошла хорошо, и доставил я сведения о противнике своему комбату товарищу капитану Мотыге...

Вытащить из него какие-либо дополнения к подобной строгой формуле никогда не удается.

Сейчас он согрел на огне жестяные банки с тушенкой, нарезал хлеб и приглашает катерников на утреннюю заправку. В натопленной им землянке жарко. Только по полу тянет от двери струя морозного воздуха.

Сложенная из торфа, внутри землянка наша обшита свежим тесом, еще сохраняющим смолистый запах. Сегодня не ночевали дома Шленский, Петя Романов и Ваня Курский, они со своими катерами ушли на маневренную базу, но из трех свободных коек две заняты гостями. Оба — «свои», живут у катерников уже давно, и на их примере можно увидеть, как на четвертом году войны успел наряду с войною сложиться еще и особый «околовоенный» быт, по-разному привлекающий людей в свою сферу. Один приехал в бригаду из Научно-исследовательского штурманско-гидрографического института. Он что-то исследует, возит-ся на катерах с навигационными приборами, а в землянке читает Жюль Верна по-французски и пытается развлекать хозяев изысканными профессорскими анекдотами, над которыми сам же в одиночку смеется.

«Профессор математики, отдыхая на Кавказе, восхитился видом горной поляны. Он сказал спутнице, как привык говорить студентам на лекциях:

— Абсолютно ровное место, а вокруг поднимаются вершины — сколь угодно высоко...»

Только Жора-подтянись и посмеялся вместе с ним — из вежливости и доброжелательства.

Навигатор ни на что не жалуется. Однажды он вышел с Быковым на испытание лага, а на катер был передан по радио приказ: присоединиться к звену, идущему в боевую операцию. Навигатор очутился в бою, испытание лага обернулось для него совсем другим испытанием, и катерники остались им довольны. А потом, возвратившись в землянку и снова устроившись на чужой койке, он интересно вспоминал о своих учителях в академии, и с особенным удовольствием о Чаплыгине и Ветчинкине. По складу характера наш навигатор — человек вполне штатский и больше всего интересуется теорией бесконечно малых величин.

Второго же гостя Дербеденев называет не иначе, как «товарищ из центра». Он студент московского института — кажется, внешней торговли. Но командирован на флот некоей организацией, учреждающей в парке культуры новый музей. Музею требуются трофеи. «Товарищ из центра» набил полные карманы железными крестами и раскрашенными жестяными эдельвейсами, которые служат эмблемой горным егерям фельдмаршала Дитла. За Васиной печкой он хранит предмет своей гордости, главный из добытых им экспонатов: огромный соломенный лапоть, какие, чтобы согреть иззябшие ноги, надевают горные егеря поверх тяжелых бутсов из свиной кожи. Деятельность его идеально бессмысленна, но «товарищ из центра» успел привыкнуть к легкому хлебу, без забот о деньгах, о карточках, о пайке. В институте давно начались занятия, проходит семестр, приближаются зачеты, а он все живет у катерников, носит за печку егерские пуговицы и нашивки, как-то приволок к землянке огромный кусок крыла сбитого «мессера», радовался, что так ясно виден на обломке черный крест, обведенный каймою, и велел Васе Игумнову присматривать за трофеем и беречь пуще глаза. А парень он живой и неглупый, и я никак не пойму, в самом ли деле он верит, что делает работу, что это полезно и нужно, или только прикидывается перед нами и перед самим собой.

До начала учений остается полчаса. Перед землянкой прогуливаются два флагманских специалиста, именуемые для краткости «флажками». Доносятся обрывки их разговора:

— Про одну десятую вы мне не вкручивайте. Две десятых на глазок еще можно определить. А одна десятая — это от лукавого...

— А вот Николаев каждый день ходил на девиацию и...

В группе молодых офицеров продолжается старый спор, нужна ли на торпедных катерах вводимая должность помощника командира.

— Кто он такой, помощник? Не то офицер, не то боцман!

Фролов с горячностью утверждает, что если уж ставить помощника, то им должен быть не лейтенант, а мичман.

Маленький, белокурый, похожий на Есенина Петя Романов вкусно рассказывает:

— Идет она навстречу, а из глаз, понимаешь, трассы, трассы, трассы!

— Вот мухой! — то ли неодобрительно, то ли с завистью откликается Желваков.

Кисов сообщает во всеуслышание о том, как Шленский получал «фитиль» от комдива.

— Разогнался он к пирсу, смотрю — в-во швартовка! Дает дрозда! А он не подрасчитал и — скулой об стенку! А Коршун тут как тут. Что было! Цусима номер восемь! Я думал, пошлют бравого офицера на необитаемый остров Мадагаскар зайцев заготавливать!

Спор о помощниках еще продолжается. Фролов резюмирует его старинной крестьянской премудростью:

— Была бы шея, а хомут найдется...

Наступает время выходить на учения, мне предстоит идти с Жорой-подтянись, мы спускаемся к катеру.

Октябрьское утро еще ничем не напомнило, что продолжается война, что позавчера у нас объявляли воздушную тревогу и два «юнкерса», отвернув от группы, отогнанной мурманскими зенитчиками, сбросили бомбы невдалеке от тральщика, на котором живут офицеры 1-го дивизиона. Это уже забыто, Чернявский беззаботно говорит про обещанный ему отпуск и пытается представить, как пойдет жизнь в бригаде после войны.

— Начнется у нас бэпэ на якорь, потому что сразу вспомнят: бензин беречь надо...

«Бэпэ» означает боевую подготовку.

— Дивизион офицеров, — продолжает Чернявский, — идет на одном катере

на Кильдинский плес, и называется это: решение задач в условиях, приближенных к реальным боевым действиям...

Мы уже выходим из губы. Видны мостки — тонкие, высоко над отливом, как на японском рисунке тушью. За мостками — длинный язык осыхающего фиорда. Отошедшее море обнажило русло горной каменистой реки. В камнях, как всегда, осталась рыба, и бродят матросы в рабочей робе — руками вылавливают рыбу в ведро.

Впереди на высокой скале виден деревянный небольшой дом рейдового поста и поднятый над ним трехцветный флажок, означающий букву «твердо». На выходе катера ложатся в строй кильватера — шесть, один за другим, выкрашенные одинаковой шаровой краской, они идут в широкой струе, расходящейся от винтов головного и резко отграниченной белыми пенстыми краями. Дан полный, катера как бы встают на дыбы, гул моторов оглушает, поглощает все остальные звуки, вода за винтами взлетает высоким каскадом белой пены.

Большинство из тех, кто стал катерником по призванию, были покорены именно скоростью этих маленьких кораблей, стремительностью их маневров, возбуждающим чувством азарта, охватывающим здесь каждого даже в самом коротком походе.

Наш комфлот Арсений Григорьевич Головки тоже начинал службу на таких кораблях, был одним из первых катерников-черноморцев. Он рассказывал, как трудно было уходить с катера после назначения на штабную должность. Адмирал испытывает нескрываемое удовольствие, когда дела заставляют его отправляться в бригаду, и, пожалуй, ни в одном другом подразделении флота так не привыкли к возгласу адмирала, который означает у него скрытое одобрение и знаменует хорошее настроение духа: «Печенеги!» Это произносится, когда по форме что-то было сделано, может, и не так, а по существу все идет правильно.

Печенегами обозвал он не так давно и Чернявского вместе со всем его экипажем — когда катер по-пиратски взял на бордаж небольшой мотобот, захватив на нем немаловажные бумаги.

В походе «печенеги» почти неразличимы: все в зеленых штормовках на теплом меху, все в касках, выкрашенных в тот же шаровый цвет, что и корабль, все залитые водой, нещадно низвергающейся на палубу при полных ходах.

Наш выход — недалёкий, и время, отведенное на учения, коротко. Каким бы мирным ни показалось это утро, а война все-таки идет. Сигнальщики всматриваются в море, в небо, радист настроился на волну штаба бригады — к боевой тревоге надо быть готовыми в любую минуту. Тем временем флагманский артиллерист ставит командиру приготовленные задачи. Чернявский маневрирует катером, отдает команды — носовому эрликонщику, кормовому эрликонщику; флагарт то кривится, то поторапливает, но, в общем-то, как будто доволен, хотя Чернявского это не успокаивает. Опыт научил его, что от присутствия «флажков» на корабле ничего хорошего ждать не приходится, для фитиля ловод всегда найдется.

Возглас сигнальщика о замеченном справа по носу перископе подводной лодки оказывается ложной тревогой. Это лишь «вводная», подсказанная флагартом. Чернявский с нею справляется. На случай же действительной встречи с лодкой на корме у нас стоят глубинные бомбы. Черно-ржавые, местами смазанные какой-то желто-зеленой дрянью, они имеют невинный вид железного лома. Но это впечатление обманчиво. У меня уже есть некоторое, пусть слабое, представление о том, как чувствуешь себя на лодке, когда над нею сбрасывают в море эти небольшие цилиндры, похожие на ржавые бидоны.

К причалу базы мы возвращаемся засветло.

С большой баржи матросы таскают на берег мокрые доски для строительства. Ходит какая-то комиссия. Смотрят на скалы, толкуют про то, какой лучше ставить здесь дом: глаголем или, может быть, п-образный. По камням — стружка, щепки, разбитые ящики и — среди мусора — низкие землянки из больших тор-

фяных брикетов. На стене наспех сколоченного, продуваемого сквозным ветром барака — афиша: «Сегодня Антон Иванович сердится в 20 и 22».

Рядом с баракком строится клуб бригады. Десяток строителей бьют ломami неподатливую каменистую землю. Неглубокую канаву бутят большими и малыми валунами, корнями полярных сосен. Над канавой стоит Андрей Мураневич, начальник политотдела бригады. Показывает кому-то из членов комиссии: тут будет вестибюль, тут камбуз, тут бильярдная, читальня, тут зал — на восемьдесят человек! Подальше еще стройка: первый восьмиквартирный дом для семейных офицеров — длинная приземистая изба, какие стоят в здешних рыбацких деревушках.

В быструю речку вошла большая свинья с вислыми соснами; по берегу, осклизаясь, переступают одиннадцать поросят. От их присутствия весь хаос камней и щепок проникается духом обжитой домовитости.

На крыльце штаба бригады играют две девочки. Старшая, лет шести, — Ада, дочь Кисова. Жора-подтянись подходит к ней и поднимает высоко, к крыше.

— Получила багаж? — спрашивает он.

— Получила.

— А что в багаже было?

— Что отправляла, то и было.

— А кто тебе багаж привез?

— На двести пятнадцатом катере.

Двести пятнадцатый — это и есть его, Жорин, катер; он ходил вчера по ремонтным делам, и, воспользовавшись оказией, Чернявский прихватил из Мурманска вещи Кисова и еще двух офицеров, которым разрешено было выписать из тыла свои семьи. Если очень попросить, в таком разрешении уже не отказывали: еще одно свидетельство того, что война пошла на убыль.

Еще одна примета забрезжившего конца войны.

Ада говорит по-взрослому, и видно, что за несколько дней она уже успела со всем здесь освоиться: и с тем, что живут в землянках, и со снегом, который лег надолго с самого начала осени, и с тем, что вокруг чаще всего идет непонятный разговор («Надо идти на бочку, принять две с половиной тонны бензина и шестнадцать коробок для эрликона»), и с тем, что все ходят в форме и даже пес, которого привезли на катере из губы Кувшинки, называется Бодман.

День продолжается мирно, как начался; я даже успеваю условиться с флагманским инженер-механиком, что в субботу с вечера мы отправимся на охоту. По его словам, километрах в трех от базы видимо-невидимо куропаток, и нет лучшей поры для охотника: дичь еще не успела сменить оперение, остается полетному серой и издали видна на белом снегу.

Но за ужином в кают-компании становится ясно, что из этих планов не получится ничего.

Сперва шепотком — по системе «секретно, копия на базар» — ползет слухок о начинающемся наступлении.

Потом появляются очевидные подтверждения.

Нескольких офицеров вызывают в штаб.

С причала слышится гул заводимых моторов.

Никто, конечно, не знает содержания полученных командирами приказов. Но многое понятно и без того.

Отходящих катеров больше, чем могло бы понадобиться для очередного дежурства в маневренной базе. И едва уловимые приметы говорят о том, что выход связан не с морской, а с береговой операцией.

Комбриг появляется лишь к самому концу ужина вместе с начальником штаба и, строго соблюдая корабельный уклад, приносит собравшимся извинение за свое опоздание. Офицеры пытаются задавать ему наводящие вопросы, но Александр Васильевич их не слышит; он переводит застольную беседу на сторонние, обычные темы, и Чернявский принимается рассказывать, какие вопросы за-

давал ему недавно на катере приезжий московский поэт. Все потешаются. Кисов высказывает предположение, что вскоре мы прочитаем поэму под названием «Роковой болт», а комдив-два Сергей Коршунович сообщает, что поэма поэмой, а в газете «Красный флот» он прочитал, что повесть о катерниках кем-то уже написана; фамилия автора ему не запомнилась, а о каких именно катерниках идет речь — северянах, балтийцах или черноморцах, — в газете не сказано.

Не поднимая глаз от тарелки, комбриг невинно осведомляется:

— А не сказано ли, отображены в этой повести действия ПВО второго дивизиона?

Недавние учения по противовоздушной обороне дивизион провел не лучшим образом, об этом все присутствующие хорошо знают, удар нанесен под ложечку, и конфуз грозного и заслуженно прославленного комдива, не зря прозванного Коршуном, встречается сдержанным, но коварным смехом.

Однако все это не уводит от мыслей о самом главном: «Началось или не началось?»

Если для всех общим символом долгожданной победы являлось с самого начала войны слово «Берлин», то для каждого фронта существовали еще и собственные, более частные символы, которые тут для каждого воплощали конечную цель и означали возмездие и победу. Так для нашего слуха слово «Печенга» совпадало по своему значению если не с Берлином, то по крайней мере с Кенгсбергом.

На сухопутном участке нашего фронта, в отрогах Муста-Тунтури — тех самых «Тунтурей», где воевал Вася Игумнов, — находился знаменитый пограничный знак, единственный на протяжении всей огромной и каждодневно менявшейся линии фронта, который оставался в наших руках с первого до последнего дня военных действий.

Бойцы, которые здесь сменялись, погибали, отправлялись в кровавых бинтах на саамской оленьей упряжке к причалу, где их ожидал пришедший за ранеными рыбацкий ботишко, и те, что приходили на их место, скидывая солдатские «сидоры» в уже обжитых землянках, — сумели не отойти от знака к востоку.

Но и продвинуться на запад им тоже не удавалось.

Страна, ее пейзаж, обычаи, язык, родственные связи людей не обрываются у границы.

Легко ли уловить различия, пересекая, скажем, рубеж между Францией и Бельгией, между Ираном и Ираком, между Италией и Швейцарией? Разве лишь в Англии, отсеченной морем от соседей, можно резче ощутить переход. Да и то где-то на Нормандских островах провинциальное английское графство сливается с французской Бретанью неразличимо. Но здешняя граница, о которой моряки знали больше по лоциям и морским картам, казалась вовсе удивительной — даже одними названиями своими. За рубежами нашей земли лежали здесь Трифонов Ручей и Девкина Заводь, деревня Баркино и погост Княжуха; с XVI века стояла там деревянная церковь, сооруженная Трифоном Новгородцем во имя князей Бориса и Глеба; к старому Варяжскому фиорду подходили селения новгородских монахов и поморских рыбаков. По ту сторону границы часть земель этих оказалась в 1826 году, когда из Петербурга сюда приехал проводить демаркационную линию квартирмейстерской службы подполковник Галямин, а от объединенного королевства Швеции и Норвегии прислан был с тою же целью майор Мейлендер.

Граница, ими проложенная, так поразила здешних жителей, что они стали объяснять ее историей, больше похожей не на быль, а на сказку. Мол, королевский майор посулил царскому подполковнику двадцать голубых лисиц и мешок червонцев, и за этот посул галяминский карандаш оскользнулся на карте за Вёрес-наволок до берега Паз-реки, и все уж так и осталось. По исконным законам сказки, зло в этой истории было наказано: в поморском предании, дожившем до наших дней, говорится, будто шкурки были отданы Галямину без обмана, а с червонцами вышло так, что настоящие лежали сверху, а под ними мешок был набит

фальшивыми кругляшами. Обнаружив коварство, квартирмейстер пришел в изумление — то есть вышел из ума — и тут же повесился.

Однако демаркация происходила не в былинные времена. Уже копились в ту пору казенные архивы, и они сохранили свидетельства тому, что Галямин жил еще долго и писал своею рукой объяснения в министерство иностранных дел. Уступки майору он оправдывал инструкциями, полученными от графа Несельроде.

Историки допускают, что в поморском предании могла быть и доля правды. Они лишь говорят, что квартирмейстер не мог быть за всех в ответе, что он не мог в одиночку принимать столь важные государственные решения и что у петербургских его начальников тоже рыльце в пушку. И, наверно, надо при всем этом помнить, что демаркация границы у Варяжского фиорда происходила вскоре после того, как в Таганроге умер Александр I, а Петербург еще не опомнился от событий на Сенатской площади, и до дальних северных окраин у тамошних высоких сановников попросту, как теперь бы сказали, не доходили руки.

Во время войны Девкина Заводь оказалась важным стратегическим пунктом. Оттуда вывозили в Германию добытый по соседству никель. За ним и ходили вооруженные конвои, выслеживаемые североморскими торпедными катерами и подводными лодками. И потому с таким нетерпением ожидали здесь сигнала к наступлению на Печенгу.

Только потом, много лет спустя, из книги, написанной Арсением Григорьевичем Головко, я узнал существенную подробность тех памятных событий. Захват Печенги десантным броском был операцией, которую Военный совет Северного флота проводил на собственный риск. Командующий так вспоминал об этом:

«...при планировании операции действия разведывательного отряда Барченко и десантного отряда «выносились за скобки». Мы не показывали их в официальных документах, потому что это не получило одобрения. И все же я считал, что мы будем вынуждены (по обстановке) высаживать десант прямо в Линнахамари, чтобы гитлеровцы не смогли уничтожить причалы, склады и другие сооружения».

Вечером 9 октября 1944 года, за ужином в кают-компании бригады торпедных катеров, комбриг знал, что эта операция уже началась, а мы могли только догадываться об этом.

Сводка Информбюро сообщила в тот день о боях на острове Сарема, о населенных пунктах, занятых западнее и юго-западнее города Шауляя. А на юге война уже ушла с нашей территории и бои велись в Польше, на реке Нарев, в Северной Трансильвании, в Венгрии и в Югославии — к западу от города Велика Кикинда, приближаясь к Белграду. Ощущение расширяющегося простора было почти физическим. Как долгожданный вздох после астматического задыхания.

Дни трудных операций, предстоявших катерникам, всякий раз бывали вдвойне тяжелы для комбрига.

Молодой человек — ему лишь недавно минуло тридцать пять лет, — Александр Васильевич Кузьмин страдал неизлечимой и мучительной болезнью, которая давала себя знать острыми приступами после каждого выхода в море. Купанье в ледяной воде неизбежно во время похода на катере. А болезнь Кузьмина немедля откликалась на каждое такое купанье острой болью, резким повышением температуры. Вначале он пытался это скрывать. Но скрыть оказалось невозможным. Его выходам в море решительно воспротивился врач; дело дошло до Головко, и командующий флотом приказал (так и сказал: «приказываю») Кузьмину оставаться на берегу и ни в каком случае не выходить с катерами.

Головко, как я это видел со стороны, относился к Кузьмину с той особой взыскательной симпатией, какая возникает, когда видишь в другом человеке очень близкие, очень свои черты. Они были почти ровесники, Головко на три года старше, и несомненное внутреннее сходство обоих сказывалось и в организаторском таланте, и в аналитическом складе ума, и в широкой культуре. И оба выглядели много старше своего истинного возраста. Это бывает со многими моряками, быстро прошедшими по командным должностям и приучившими себя говорить

коротко, отрывисто и мало. Сперва это поза, потом характер, потом ранняя старость. А все, что хочется теперь сказать об отношении Головки и Кузьмина друг к другу, может быть сказано лишь в прошедшем времени; старые впечатления нельзя ни продолжить, ни проверить, оба умерли рано, не прожив и шестого десятка, — ведь и командующий был уже и тогда тяжело болен сердцем, только ему удавалось это скрывать.

Провожая катера и оставаясь на берегу, Кузьмин страдал безмерно. Он испытывал чувство неполноценности, оно угнетало его, и я помню, как он однажды почти растроганно рассказывал о черточке, подсмотренной у внешне легкомысленного Чернявского, Жоры-подтянись.

Предстоял большой бой, товарищи уходили, а у Чернявского катер был не в порядке, его не выпустили. Кузьмин увидел, как Чернявский спустился на пирс, обошел все катера, отпуская обычные шуточки, а при этом невзначай проворачивал штурвалы и приглядывался, прислушивался, все ли в порядке.

— Тут катерника узнаешь без ошибки: он и волнуется, и завидует, и оставаться в такую минуту на берегу для него хуже смерти.

Он рассмотрел в Чернявском свое и говорил о нем так же, как Головка рассказывал мне однажды о нем самом, об Александре Васильевиче Кузьмине.

Если предчувствия наши верны и наступает время решающего удара, то предстоящее испытание будет для комбрига очень тяжелым: ему запрещен даже выход на маневренную базу; болезнь снова разыгралась, врач настаивал, чтобы он оставался в постели, жена тоже, но комбриг сидит здесь, в кают-компании, и слушает доклад интенданта о том, что тот получил разрешение на транспортный самолет и может вылететь в Алма-Ату за фруктами, которых катерники здесь не пробовали с самого начала войны.

В другое время комбриг, вероятно, отнесся бы к этому сообщению иначе, но сейчас он резко обрывает интенданта:

— Есть дела более срочные. Дом для семейных — когда сдаете?

Но даже и это дело не кажется ему сейчас самым срочным. Куда важнее другое. Все ли семейные командиры будут живы ко времени заселения нового дома?

Война продолжается.

С того вечера проходит три дня, и мы получаем приказ готовиться к выходу. Приказано принять на борт трапы; недолго догадаться, что дело связано с десантом.

Идем за горючим, принимаем трапы и боезапас, выходим в Кольский залив и вскоре по прихоти судьбы оказываемся у борта той же плавбазы «Пушкин», от которой за три года перед тем уходила в поход «Щ-402».

Тут ничего не переменялось. Только вместо подводников недолгими гостями оказались на этот раз катерники и вместо «Свинарки и пастуха» киномеханик вертит «Амангельды». В кают-компании за несколькими столами режутся в «козла», но закончить партию никто не успевает: появляется представитель разведотдела флота. Он собирает командиров, раскладывает морские и полевые карты, чтобы информировать, какова обстановка в Девкиной Заводи. Капитан-лейтенант Кондрашков, высокий, веселый и ладный мужик, давно и хорошо мне знакомый, на этот раз строг и официален. Он стоит с указкой, как учитель географии в школьном классе, и объясняет, где расположены немецкие батареи, где закопаны танки, превращенные противником в береговые огневые точки, и научными словами рассказывает о том, какой и откуда может нас там встретить огонь. Он говорит про трехслойный огонь у входа, а дальше, в заливе, про пятислойный. Кондрашков перечисляет двухсотесяти- и стопятидесятимиллиметровые орудия и батарей восьмидесятивосьмимиллиметровых пушек, упоминает о насыщенности позиций противника минометами и пулеметами, рассказывая обо всем этом словно бы даже и с удовольствием. Ему приятна собственная информированность, ему нравится, что на карте он проходит по вражеским позициям, как по собственной квартире, и обо всем, что там происходит, может говорить без запинки. Но никому из слу-

шателей обстоятельный его рассказ радости не доставляет. Выходит, огня там куда больше, чем хотелось бы. Тощие рыжие усы Острякова хмуро обвисли. Только Решетько не подает виду:

— Да что говорить! Бывали мы там. Известное дело. Огня хватает.

Впрочем, под конец Кондрашков сообщает, что разведчики, высаженные на Среднем с тех катеров, которые мы проводили в море 9 октября, идут по тундре к Крестовому перевалу и должны к нашему появлению захватить батареи, непосредственно прикрывающие причалы Линнахамари.

За десантниками мы отправляемся в Волоковую губу, которая делит полуострова Рыбачий и Средний.

Там, у горы Земляной, расположил свой походный КП командующий флотом.

Едва успеваем отдать концы у деревянного причала Норд-2, как на катер из кромешной тьмы начинают тянуться люди. Кто-то окликает меня, я узнаю Матюхина. Мы встречались в мае сорок второго. Тогда десант был высажен недалеко от Титовки, бой шли две недели. Мы с Матюхиным уходили на одном мотоботе. Он был тогда рядовым бойцом, теперь на нем лейтенантские погоны.

— А в Титовке, говорят, уже наши,— сообщает он, будто все еще продолжают те же бои, когда мы так и не смогли взять Титовку, будто не прошло с того мая больше двух лет.

Он рассказывает, что командует ротой автоматчиков; они идут с передовой группой десанта под командой майора Петербургского, садятся сейчас на катера. Все тесные помещения уже заполнены бойцами, а они все идут — в ватниках, с автоматами, с тяжелыми «сидорами», набитыми увеличенным запасом гранат и патронов. Я узнаю Ивана Иваныча, который был на Западной Лице связным у комбата Прусенко, узнаю Калашникова, и опять подтверждается, что земля не так велика и даже на долгой войне гора с горю, как они там хотят, а людям сойтись недолго. И тут же Матюхин изрекает древнейшую солдатскую истину:

— Война войной, а подзаправиться нужно.

Катерный радист Сахаров приносит пехоте огромный артельный чайник с кипятком, нарезает колбасу, открывает консервы.

Наступило время прилива, катера подняло к самому настилу причала. Оттуда доносятся шаги, позвякивание металла, голоса — негромкие, как всегда перед боем.

На КП коренастый летчик в теплом комбинезоне и высоких меховых унтах, с большим планшетом у бедра, докладывает что-то командующему, чертыхая нелетную погоду. Головка слушает недовольно. Впервые за всю войну я вижу его небритым; глаза покраснели от жестокой простуды и многодневного недосыпания. С ним рядом — такой же почерневший Алексеев; он командовал группой катеров, ходивших высаживать разведчиков, остался на Земляном, и похоже, что с тех пор он и не ложился. Головка отпускает летчика. Ясно, что поднять в воздух самолеты в самом деле нельзя. Но в разработанном плане прорыва на авиацию возлагались большие надежды. Крепкий бомбовый удар по батареям у входа в Девкину Заводь нужен бы позарез.

Надо обходиться; откладывать дальнейшее развитие событий уже поздно. Вся сложная машина большого наступления приведена в действие.

Каперанг Ригерман из штаба флота — тоже заросший, тоже с обведенными густой чернотой запавшими глазами — появляется с пачкой шифровок.

Связь с Крестовым установлена. Разведчики радируют, что они вышли к перевалу, пройдя три десятка километров по зимней каменной тундре в тылах врага. Одну батарею они уже захватили и ведут трудный, но успешный бой за вторую — ту самую батарею тяжелых береговых орудий, о которой рассказывал на «Пушкине» Вася Кондрашков.

И шестьсот десантников уже приняты на катера.

Мы с Кисовым возвращаемся на двести тринадцатый.

Там балагур Авдонин, катерный моторист, забравшись в носовой кубрик, воспитывает пехоту:

— Чтоб в море без баловства. А то укачаются от воображения, а матросу работа.

Авдонин еще на переходе из базы сказал мне:

— Солдату перед боем не надо задумываться. Последнее дело, когда задумается солдат. Задумался — не вернулся. А в бой надо идти веселым.

И я слышу, как он без умолку сыплет всем известные прибаутки, старается изо всех сил, чтоб десантники «не задумывались».

Но оставаться в кубрике ему удастся недолго.

С мостков причала опять слышны шаги группы людей, и глуховатый картавящий голос произносит:

— Время.

Я узнаю голос командующего.

Ему откликаются негромкими командами вахтенные офицеры на палубах катеров. Начинают работать моторы. Значит, отваливают катера первой волны, под командой Шабалина; за ними, с интервалом в семь минут, наступит наш черед.

Остряков стоит у баранки, как из землянки вышел. Даже каску не надел, фуражка — до чрезвычайности лихим блином — насажена на уши, чтоб ветром не сдуло; он и в сапоги не стал влезать, остался в ботинках, широченные штаны парусят под канадкой. Рядом с ним — Кисов, худой, напряженный, как курок на взводе.

В темноте видно, как отошел от причала первый торпедный катер.

Там Киреев с Коршуновичем.

За ним отходит второй, равняется с нами борт к борту, и можно разглядеть, что командир отрывает от баранки руку и делает приветственный знак в нашу сторону. Это Павлов. В землянке он и Киреев держатся особняком, только их и называют там по имени-отчеству: «Борис Тимофеевич», «Алексей Ильич», — это возникает само собою.

Мы ложимся Павлову в кильватер, следом подстраиваются остальные, и вот катера уже вышли в открытое море.

Придя в Лиинахамари двадцать три года спустя, я должен был заставлять себя — и не умел — представить, что события той ночи происходили здесь и что все это вообще было.

Я очутился здесь не только в ином времени — в другом мире. Даже другую планету могли обозначить собою эти огромные и пустые бетонные кратеры, где на занесенном ветрами торфе выросли цепкие северные цветы.

День был жаркий. Очень тихо было.

На той стороне залива широкая дорога поднималась в гору, скрывалась за поворотом и за скалой открывалась повыше новым витком. Наверно, за тем витком был магазин, потому что две женщины с авоськами шли оттуда. На причал сгружали с мотобота контейнеры, в каких перевозят мебель.

Лиинахамари, Крестовый — названия те же. Но те же ли это места? Может быть, зной, непривычный для Заполярья, и эта неожиданная, покойная тишина чересчур были далеки от всего, что связывалось в памяти со снежной ночью, с грохотом катерных моторов и долгой разноголосицей неумолчной стрельбы.

Разведчики еще стояли у памятника, я видел там синий пиджачок Никандрова и доброе его, большое лицо. Он хотел взять сюда с собою жену, но пришлось оставить ее в гостинице, в Североморске. Она плохо переносит дорогу и еще не оправилась после путешествия из Омска. Так я и не спросил, что делает теперь Никандров там, в Омске. Но ведь и не в том суть. Что бы ни делал, а уже целая жизнь со множеством вытесняющих друг дружку забот и радостей напластовалась на те первые двадцать пять лет, что завершались тут, на Крестовом, когда он шел сюда двадцать часов без роздыху, а потом с ходу вваливался в чью-то землянку с гранатой, кого-то сшибал, торопился выстрелить первым, пока не выстрелили в него, что-то кричал, чесал из автомата, не глядя. Уже новая чет-

верть века нагромоздилась над всем этим, и теперь тут стоял другой Никандров, не хуже прежнего, не лучше, просто — другой. Может, он пытался хоть на минутку влезть в прежнюю свою шкуру. Но для этого надо было сперва ее отыскать. А где отыщешь? И с Чекмачевым, наверно, происходило тут то же самое, и с Пшеничных, и с Тярасовым. Тярасов, помню, любил рисовать, ребятам рисунки нравились, думали: вернется на гражданку — будет художником. А он начальствует в Архангельске на каком-то заводе, деревообделочном, что ли. Давал свой телефон («Случится приехать — увидимся»), продиктовал номер коммутатора.

— А добавочный скажете — Тярасова, там знают.

На Крестовом тихо, пусто и знойно. Вроде бы и не тот Крестовый.

И все же именно сюда шли мы той ночью с 12 на 13 октября.

4

К горловине фиорда мы подошли спокойно, в глухой и непроглядной, как по заказу, прятанной нас черноте.

Справа в черноту врезывалась с берега полоса прожекторного луча, косо шла над самой водой и обрывалась, чтобы снова возникнуть через несколько минут в прежнем месте. Уже мы были в полусотне кабельтовых от входа в Девкину Заводь, когда луч прошел по катеру Макарова и по другому, идущему за ним в кильватер. И тут же в черном зените, прямо над нами вспыхнула большая гроздь осветительных снарядов и люстрой неприлично красиво повисла сверху, заливая море мертвенно-синеватым светом. С нас словно внезапно рванули всё, догола, до грешной кожи раздели и выставили напоказ. Сразу оба берега у входа в залив обозначились вспышками орудийных залпов. Стреляли батареи с Крикуна, с Нурменсетти, с Нумерониеми, но всплески поднимались далеко, мы скорее чувствовали их, еще не видя. Новая гроздь осветительных снарядов распустилась высоко над катерами. Катер Павлова виден был хорошо, а охотников уже не было в поле зрения, они, наверно, успели втянуться в узкий фиорд, и оттуда слышался такой треск пулеметных очередей, что его не могли заглушить даже работающие катерные моторы.

Совсем рядом вспыхнул на берегу слепящий прожектор. Мы тоже входили в залив, который поморские кормчие называли Девкиной Заводью, навигационные карты — заливом Петсамонвуоно, а побывавшие в нем подводники прозвали «Чулком» — за длину и предательскую узость. Нам предстояло самим убедиться, как нескончаемо он длинен и сколь узок для маневра, когда придут в действие все огневые точки на его берегах. Комендор Ахуняков дал несколько выстрелов из своей скорострельной пушчонки, целясь прямо по источнику света. Прожектор погас.

— Дым! Дым! — закричал Кисов.

Почти одновременно с нашего катера и с катера Павлова упали за борт дымовые шашки. Дым ставили впереди и Шабалин с Успенским. Весь «Чулком» затянуло густым дымом, и только впереди все ярче просвечивало в дымной мгле приближающееся багровое зарево.

— Бензобани жгут.

Это сказал пожилой человек, который пришел на катер перед самым выходом нашим из базы. На нем была старая флотская шинелька без погон. Острияков дал ему каску. В каске и шинельке, промокший, продрогший, так он и простоял рядом с командиром весь путь от причала Норд-2 до Девкиной Заводи. Я слышал, как он назвался, представляясь Остриякову и Кисову:

— Сучков.

По-штатски, без звания, только фамилию и сказал.

Я успел узнать, что он прислан из Мурманска. Старый лоцман, работает в гидрографическом управлении; в мирное время случалось ему водить транспорты в Девкину Заводь, теперь пришел на проводку катеров с десантом.

Он только что предупредил Остриякова:

— Впереди ошкуланы камни, берите левее.

Здесьние подводные камни известны ему так же хорошо, как Васе Кондрашкову были известны все источники пятислойного огня. Правда, после того, как он побывал здесь в последний раз, к камням прибавились еще и мины, а про них он знать ничего не может. Что же до пятислойного огня, то теперь по катерам били оба берега. Я, признаться, и по сю пору не знаю, как отличить пятислойный огонь от трехслойного, но точно, что огня тогда было очень много. Стреляли не только батареи. Всплески разрывов поднимались у самых бортов, мины коротко выли, прежде чем разорваться в воде, трассы автоматных и пулеметных очередей скрещивались над кораблями. Лишь потом достало времени удивляться, что и катера остались целы, и люди не только все вышли живыми, но и царапины ни на ком не оказалось. Осколки звякали по палубе то и дело. На нашем катере Савченко жал на ручки пулемета, целясь по трассам; с правого борта давал очередь за очередь Соколов. Уже не секунды — доли секунд оказались ощутимо протяженным временем, все происходило без предварительных диспозиций, без команд, само по себе. Из люка выскочил командир отделения Офинцев и кинулся помогать носовому комендору Фомкину; на корме в одиночку яростно разворачивался комендор Ахуняков. Кисову пришлось только кликнуть одного из торпедистов, чтоб тот вызвал из кубрика двух пулеметчиков и нескольких автоматчиков-десантников: пусть прибавят огоньку. И все происходило на ходу, на очень быстром ходу, в колеблющейся дымной мгле, и лоцман, силясь перекричать непробойный грохот, предупреждал об изгибах фиорда, о камнях, прикрытых сейчас приливом, о причалах Лиинахамари, которые должны были открыться нам через считанные секунды.

Кисов послал Сучкова к открытому люку — передать в кубрик, чтоб десантники готовились к высадке.

Радиа на мостине рядом с командирской баранкой включена была на прием, из репродуктора слышались с других кораблей не предназначенные для эфира обрывки слов, изредка вступала гора Земляная, искала Коршуновича, повторяла: «Прием, прием» — и снова уходила в напряженное ожидание. Голос Шабалина сказал: «Начинаю высадку». Кто-то повторял, словно себя заговаривал: «Ничего, ничего». Узкий проход вдруг раздвинулся, вся в мрачном пляшущем зареве, пустая, открылась Девкина Заводь. Горели причалы и бензобаки. Киреев вырвался вперед, обежал гавань, оставляя за собой густой дым. Снова и Ахуняков кинул с кормы несколько шашек, когда мы уже резко отворачивали к берегу. Внезапный толчок и остановка; сразу на нашем катере сосредоточился автоматный огонь. Сели на камень? Остряков отработал назад. Слезли. Оказалось, выскочили на бон. Голос Макарова сказал в репродуктор, что его катер подходит к угольному пирсу. Крикнул и Павлов, что высаживает десант на четвертый причал. Но ничего этого не было видно, все затянуло дымом. Наш отряд должен был высаживаться на пятом. Сучков указал его, но там все пылало, пришлось ткнуться рядом с береговые камни, и тут же боцман, Авдонин, Офинцев, еще кто-то попрыгали в воду, подняв трапы на плечи, чтобы десантники могли сбежать на берег сухими.

Автоматчики, саперы с миноискателями выскакивали из ахтерпика, из командирской каюты, из носового кубрика. Первый промчался так быстро, что я едва успел узнать Субботина, немолодого уже и грузного майора. Следом прыгнул Матюхин. В зареве мелькнули расширенные, ослепленные зрачки его.

— Потише, — сказал боцман, оскользнувшись на камне.

— Он тебя пожалеет, как волк кобылу, — отозвался сдавленный голос.

Удержать трапы было, наверно, трудно. Толчки бегущих сбивали матросов с ног. Но Авдонин оставался Авдоным, это был его голос.

— Скорей! Скорей! — торопил Кисов.

Автоматные очереди слышались с берега, но это уже стреляли десантники, трассы уходили от причала к темной горе.

Кисов пригнулся к радию:

— Я Кисов. Я Кисов. Десант высажен, причалы горят, начинаю отход.

Земляная откликнулась сразу:

— Слышу вас хорошо.

Но Кисову говорить больше было нечего.

На Крестовом было темно и почти тихо. Только одиночные выстрелы доносились оттуда. Кто-то сигнализировал лучиком фонаря, но к нам это не имело отношения. Наше дело было окончено, теперь пожар прикрывал нас от берега, дым — от залива. Стрельбы стало поменьше, да и стреляли уже без прицела; была теперь на берегу другая забота. Мимо нас проскочил к выходу чей-то катер. Но почему он один? Если это Шабалин, то куда же девался Успенский? И еще группа катеров входила навстречу: третья волна десанта, морские охотники. Их вел Зюзин. Выходить с Земляной они должны были вслед за нами, через десять минут. Значит, в десять минут все и уложилось.

Уже можно было оглядеться, даже в небо взглянуть, даже заметить светлую колеблющуюся туманность неяркого северного сияния. Уже Савченко сбросил свою затлевшую от жара куртку, а промокшие при высадке Авдонин и Кривошеин нырнули в машинное, чтобы погреться. Уже Кисов успел отвести душу, отчитав Соколова за слишком длинные очереди, за то, что без нужды перегревал пулемет. Впереди вспыхнули дальние прожекторы, уперлись тремя световыми столбами в низкую тучу. Их зажгли на Среднем, чтобы указать нам дорогу.

Но только возвращаться еще рано было.

По радию слышались два встревоженных голоса. Сперва трудно было уловить, кто говорит и о чем. Остряков узнал голос командира двести восьмого. В его катер угодил снаряд при отходе; один мотор не действует, рулевое управление перебито.

— Люди целы, люди все целы, — торопливо и настойчиво повторял репродуктор.

Вторым был Успенский. Он тоже был подбит, но успел вырваться в море и потерял ход где-то неподалеку от нас. Оказалось, так неподалеку, что, узнав голос Успенского, мы тут же и увидели его сигналы. Красный глазок фонарика мигал морзянкой в полусотне кабельтовых: «Прошу помощи. Прошу помощи».

— На траверзе Коровьего мыса мигает, — уточнил лоцман.

Мы пошли туда, подавать буксир было трудно, катера разводило крепкой волной, бросали конец раза четыре, очутились в вилке, засекла-таки с батареи какая-то недобитая сволочь, ей бы ноги поскорей уносить, а она все била, зараза такая, и не слышала этих авдонинских советов. Имея сто четырнадцатого на буксире, мы отвернули на свет дальних прожекторов и легли на курс к Земляной. Успенский на ходу объяснял, что оставался у четвертого причала, чтобы поддерживать десантников своим огнем.

— Думал, постою, пойду погодя, когда уже не до меня будет. А пожар разгорелся, с воды дым разнесло, видно, как днем. Миной, что ли, попало...

— Восьмой! Восьмой! — звал Кисов двести восьмого, и глот ответил, что идет кое-как, похоже, дойдет своим ходом, в случае чего позовет.

Он пришел вслед за нами к причалу Норд-2 — еще один корабль, который должен был оказаться убитым, но остался живым, потому что живы на нем были люди. Но когда командир говорил по радио, что все они целы, он не знал еще о раненых. Они не признавались и продолжали работать, а теперь уже на причале все рассказывали про Егора Курбатова, старшину мотористов, — как он, обмотав раненую руку чем пришлось, возился с машиной — и как Ковалев с Кучумовым ныряли в моторное отделение, полное горячего пара и удушливых газов, на ощупь искали повреждения, показывались на миг, чтобы перевести дух, и снова ныряли в горячую ядовитую муть.

О том же говорилось и на КП, когда мы снова туда заглянули.

— К Герою надо Курбатова, к Герою, — повторил Головки и следил при этом, как его помощник делает помету в записной книжке. — Видели вы его? «Делал, что положено». Ведь это он мне не для красного словца, не из ложной скромности. Так и считает. И в том и дело, что прав. «Что положено, то и делал. А ничего особенного не было». Прав. Только надо, чтоб понимали: героизм —

вовсе не из ряда вон выходящее. Ну, скажем, не всегда из ряда вон выходящее. Есть обстоятельства, когда делать, что положено, ни на что не смотря, — это и есть героизм самый высокий. И хорошо, что живого к Звезде успеем представить. У нас некоторым мертвого представлять спокойнее. Мертвый золота не испачкает, а за живым еще смотреть надо. Так вот, думаю, если человек умеет в опасности и раны своей не замечая делать, что положено, он и Звезду не испортит, и сам не оскандалится. Про разведчиков не забудьте. Леонова и Барченко записали? Тоже к Герою. А они сами пусть завтра же представят своих бойцов. Завтра же, чтоб все наградные листы мне...

Он был такой же, каким я его видел три часа назад, перед выходом в Лиинахамари. Черный, простуженный, заросший. Но глаза стали другие — веселые, без тревоги.

Опять подходил к нему Ригерман с исписанными карандашом телеграфными бланками.

Выходило, Леонов все еще продолжает бой на последней из батарей Крестового.

«Дело к концу, — передавал он. — Развернули пушки, бьем по Печенге. Стрелять по катерам мы им не дали...»

Это мы могли подтвердить.

— А смотрите, что немцы передают.

Ригерман дал командиру текст перехвата. Немецкая радиogramма была передана открытым текстом в три часа одну минуту. А сейчас четверть четвертого. Пятнадцати минут не прошло.

Командир артгруппы Петсамо доносил морскому коменданту Киркенеса:

«Гавань Лиинахамари в руках врага...»

— Долго ждал, — отметил Головко с удовольствием. — В двадцать три пятьдесят пять была она в наших руках.

«Подрывы в большинстве случаев произведены. После подрыва орудий, согласно приказаний Фенка...»

— Командир двухсотдесятимиллиметровой, — прокомментировал Ригерман.

Головко кивнул.

«...прорвался на запад. От авангарда пока нет никаких известий. Батарея Хольденхауэра и Петсамо в наших руках. Батарея Вахнера разрушена.»

— Не согласовали они с Леоновым свои тексты. — Головко развеселился. — Один пушки развернул и стреляет, а другой те же пушки уничтожил по приказанию начальства. Кому верить? У Леонова больше на правду похоже. А этот, моржовый, и про Петсамо темнит. Не так там сейчас Хольденхауэр твердо держится.

Видно было, какая забота с него свалилась. Видно стало теперь, как беспокойно ждал он исхода до последних секунд, до возвращения катеров, до радиogramм, которые подтверждали, что десант высажен не на смерть, что он зацепился прочно и все идет хорошо. Риск уже был за плечами, и старый закон вступил в свою силу: победителей не судят. Надо было без промедления развивать успех, поддержать и усилить десант, но части морской пехоты еще не пробилась к побережью, рассчитывать можно было лишь на тех же разведчиков, и Головко крепя сердце приказал катерам снова идти на Крестовый и перебросить оттуда разведчиков на другой берег, в Лиинахамари, не дав им отдыха после трудного боя. Мы снова пошли в «Чулок».

Даже входные батареи теперь молчали.

Похоже было, что и здесь уже выполняются «приказания Фенка».

Орудийная стрельба слышалась издали — то ли от Баркина, то ли от Трифона: туда уже должны подойти с суши армейские части и морская пехота. И зарево тоже полыхало теперь где-то южнее, за черными скалами, а в Лиинахамари только головешки светились, дымило еще, а за прибрежной горою будто мальчишка бегал, перебирая палкой по недлинному частоколу, — трещали и обрывались короткие очереди.

На этот раз мы причалили к высокому западному берегу под Крестовый.

Чей-то фонарик мигнул и погас. Кто-то поймал брошенный боцманом конец. На камнях оказались люди, которых не разглядеть было при подходе, и снова катер мгновенно переполнился, и мы тут же ушли на противоположную сторону.

Какой-то разведчик ругался, что отдохнуть не дали. Несколько голосов заспорили: к причалу идти или на камни, потому что причал может быть заминирован.

— К причалу, к причалу, ни черта они заминировать не успели,— уверенно сказал чей-то голос.— На причал хоть по-людски выйдем.

Остряков не стал спорить, пошел к единственному уцелевшему причалу. Солдат оказался прав; вышли нормально и побежали на выстрелы, за ближнюю горку.

Разведчики вернулись, когда уже рассвело.

Катер стоял у скалы под уступом, по которому пролегла дорога из Лиинахамари на Баркино. За поворотом у трехэтажного здания гостиницы еще рвались тяжелые мины. Били с высоты, где еще держался противник, потом миномет замолчал.

В гостинице только стекла вылетели, а дом стоял, единственный во всем портовом поселке. Гостиница эта, да еще голубой катерок у причала, да еще убогий туовый заводик у сгоревшей рыбацкой пристани — вот и все следы другой жизни, что оборвалась семь часов назад с высадкой десанта. В гостиничном подвале матросы обнаружили заряды тола и несколько авиационных бомб, приготовленных для взрыва. Их еще не обезвредили, и входить в дом было запрещено.

На досках причала, где мы высадили разведчиков, тоже обнаружили на рассвете ярко-красные пакеты с толом; между зарядами тянулись проводники, но присоединить их, видно, времени не хватило; только кран успели взорвать, и он громоздился грудой безобразного лома.

В полуразрушенном, только что разминированном строении развернулся полевой перевязочный пункт. У крыльца молодой автоматчик с перевязанной рукой и с пятнами крови на ватнике доругивался с сестрой.

— Я же совсем целый,— говорил он будто не про себя, а про какую-то вещь.— Есть же люди, ничего не хотят понимать.

Он махнул рукой и пошел к высоте, от которой слышались автоматные очереди.

— Ну что я его, силой держать буду?! — пожаловалась сестра в пространство и тоже махнула рукой, точь-в-точь как перевязанный ею десантник.

За домом, где укатанная грунтовая дорога входила в ущелье, открылись могучие бетонные ворота, которые могли перекрыть дорогу во всю ее ширину. Только оттуда, с суши, допускалась возможность наступления на Лиинахамари, и потому только туда, к югу, обращены были амбразуры всех дотов и дзотов и утопленных в болотный торф бронеклопков. Попытка прорыва через узкий — шириною с полкилометра, где малость побольше, а где и поменьше,— на всем своем протяжении простреливаемый залив не принималась в расчет: она казалась неосуществимой. Сумасбродной посчитали эту затею и в той высокой инстанции, какую не назвал адмирал Головкин в своих записках, рассказывая, что до последней минуты вынужден был выносить «за скобки» всю подготовку к прорыву, ни словом не обмолвившись о ней в оперативных документах штаба. А между тем как раз «сумасбродство», основанное на отличном практическом знании скрытых возможностей торпедных катеров, обеспечило сногшибательному удару необходимую ошеломляющую внезапность и привело к тому, что амбразурами, прорезанными на юг, воспользовались уже не хозяева, а десантники.

А бетонные ворота так и не успели закрыться.

Неподалеку от этого циклопического сооружения, уже возвращаясь на катер, мы повстречали группу бойцов. Один, широко улыбаясь, вел в поводу продрогшего, жалкого ишачка.

— Салют морской кавалерии! — крикнул Авдонин.— Откуда трофеи?

— От Большой Берты. — Матрос показал на черный — высоко над портом — Девкин мыс.

Большой Бертой с самого начала войны прозвали тяжелую двухсотсорок-миллиметровую батарею, которая три года обстреливала Мотовский залив, наши позиции на Рыбачьем, батарею Поночевного и корабли в море. Прямо к ней устремились высаженные с нашего катера автоматчики лейтенанта Матюхина. Теперь там все молчало, а среди развороченного металла бродили два мула, вывезенные горными егерями с далекого острова Крита — сперва в Нарвик, а оттуда в снежную тундру.

Будь это не мулы, а мудрые дельфины, у них мог бы накопиться немалый десантный опыт: все три поворотных пункта в их грустной жизни связаны были с десантными операциями. Но все равно им некому было бы передать этот свой опыт. Мулы, как известно, потомства не дают. Через двадцать три года о них в Лиинахамари и памяти не осталось. Грузы с причалов увозили на «газиках» и полторках, а из живности бродили тут только косматые псы да бокастые коровы.

А на Крестовом я искал следы офицерского блиндажа батареи, куда привел нас Леонов, когда мы наутро снова переправились из Лиинахамари с возвратившимся на причал отрядом.

Блиндаж был просторный, надежный. Вероятно, даже прямое попадание снаряда не причинило бы ему никакого вреда. Но разведчики, прежде чем войти в него прошлой ночью, бросили внутрь несколько гранат, там все было расщеплено, вздыблено, и деревянный стол во всю длину землянки тоже скособочился, но это не помешало разведчикам уставить его трофейной едой и питьем и принять гостей с приличным поводу удалым хлебосольством. Был опробован шнапс, но дегустация не принесла ему признания. Было сказано, что «забирает, конечно, но больше похоже на одеколон. Не то парикмахерской отдает, не то аптекой». Французское шампанское оценено было как «квасок». А датские сардинки, польская ветчина и весь прочий испанский, норвежский, итальянский съестной ясак отступал перед обнаруженными на здешнем продовольственном складе огромными стеклянными банками с маринованной капустой.

— Ты ешь, ешь, ведь всю войну капусты не видели, ешь!

И когда мы так сидели за косым, будто из старой конструктивистской театральной декорации сюда попавшим столом, блаженно чувствуя, как оставляет нас все напряжение минувшей ночи, в землянку вошел пожилой боец с плотно прибинтованной к туловищу правой рукой.

— Она у него на одном лоскутке кожи держится, не дал доктору резать, — шепнул мне Иван Иванович, комиссар отряда, сидевший рядом со мною.

Сивые клочья ваты лезли из его порванного на проволочном заграждении ватника.

Но не о руке был разговор. Поморгав со света, боец высмотрел Леонова и пошел прямо к нему, ругаясь от входа. Поначалу я не мог сообразить, что его вывело из себя. Но даже когда причина стала понятной, поверить услышанному было нелегко.

Его приставили стеречь землянку, где закрыты были человек двадцать пленных. Среди них был офицер (я видел его потом) — спортивного вида крепкий мужчина с серым лицом, он нервно повторял одну и ту же фразу: что капитулировал сам, по своей доброй воле, капитулировал сам. Будто ему оставлен был выбор... И там был артиллерийский лейтенант другой батареи, мальчик, который показался мне жалким. Могло статься, что среди всех других пленных был там и тот, что, ударив по разведчикам прямой наводкой, оторвал руку вошедшему в наш блиндаж бойцу.

А боец этот напустился на Леонова за то, что ему до сих пор не прислали подручного и некому пленных вывести погулять.

Вот что его возмущало.

— Они еще не гуляли.

Он добился своего. С ним снарядили подручного, и мы тоже пошли к даль-

нему блиндажу, где держали пленных до отправки в Полярное, и смотрели, как вывел их подышать свежим воздухом боец с оторванной, но еще привязанной к его телу рукой.

Никто из пленных бежать не пытался, да и никуда не могли они убежать.

На Крестовом я хотел найти ту землянку, где сидели мы у поднятого дыбом стола, хотел отыскать блиндаж, в котором держали пленных. Ни от землянки, ни от блиндажа не осталось никакого следа.

Записи того утра у меня в дневнике сохранились, историю с прогулкой я написал сразу. Только имени раненого бойца там нет.

Через двадцать три года я спрашивал у Паши Барышева, у Тярасова, у Гриши Чекмачева, не помнят ли они, кому на Крестовом оторвало руку, кто стерег пленных, кто прибегал к Леонову ругаться, что пленные еще не гуляли. Но и они не вспомнили тоже.

В то утро, перед тем как вернуться на катера и уйти из Лиинахамари на свою базу, мы прошли мимо захваченных пушек. Это были те самые пушки, о которых из Петсамо в Киркенес ночью сообщил командир артгруппы, что они подорваны «согласно приказаний Фенка».

Разведчики притащили к длинноствольной пушке снаряд, зарядили, и один из них радостно ударил в белый свет, как в копеечку.

— Дай-ка я,— сказал другой.

И пушка ударила снова.

Они резвились, стреляя, будто мало им было ночного огня, будто они были школьниками, которые впервые дорвались до такой забавы в тихое, мирное время.

Был субботний вечер, когда мы возвращались на базу. Только-только вторые сутки пошли после нашего ухода отсюда.

По пути в землянку встретился Рихтер. Он сказал:

— Если не очень далеко забираться, пожалуй, можно будет завтра на охоту сбежать, как уговаривались. Так если часа на четыре. Больше дела не позволят. С восьмым придется возиться.

На рассвете меня разбудил Вася Игумнов. Чайник вскипел уже. Я зашел за Рихтером, и мы отправились километра за три, в долину, где по каменной тундре еще желтел под октябрьским снегом низкий полярный лесок. Под ногами хрустел тонкий лед, а ручки сбежали в долину так круто, что еще не замерзли. Мы прошли одно озеро, другое. На снегу были следы оленей, и тяжелые куропатки вспархивали, уходя от выстрела к перевалам. Тихо очень было и хорошо. И все было удивительно вкусным: и поджаренный на прутике хлеб, и вскипяченный в консервной банке снег с чайной заваркой, и глоток спирта, и воздух — холодный и плотный. Подстреленные куропатки висели на ветках кривой сосны в сетке ягдташа. И Рихтер рассказывал об Италии, где он жил несколько лет назад, проходя практику на судостроительном заводе. Вспомнив завод, он заторопился. Надо было составлять график ремонта восьмого и сто четырнадцатого — катеров, поврежденных во вчерашнем бою.

Через двадцать три года залив и горы я узнал сразу.

Но еще только подходя к берегу на белом посыльном катерке, я слишком ясно представил себе, что не найду здесь ни Васю Игумнова, ни Жору-подтянись, ни Рихтера, ни комбрига, который умер три года назад в Севастополе,— никого, ни единого человека из тех, кто сделал это место на земле таким дорогим для меня в ту последнюю осень войны. А это значило, что из городка, в который я собрался, вынута его душа. То есть душа-то в нем, конечно, есть. Но это может быть лишь новая, мне неизвестная душа, в которую нелегко проникнуть за короткое, отведенное мне время.

У борта стали собираться пассажиры. Два или три штатских, молодая женщина, по-южному загорелая, одетая по городской моде, с небольшим чемоданом в руке и с несколькими рулонами обоев под мышкой. Вероятно, жена, прибывшая с мужем к месту его назначения. По темному, прочному загару нетрудно было до-

гадаться, что прибыли они с юга. Значит, жизнь продолжалась, и какая-то частица прежней здешней души открылась мне в своем новом качестве.

Так же, как в Мурманске, в Полярном и на Крестовом, я снова всматривался в берег, напрасно силясь отыскать знакомые приметы.

Совсем по-прежнему ходили у стройки две огромные свиньи со своими выводками — одна раскормленная и розовая, а другая тощая, высосанная ненасытными поросятами. И выводки у них — в одном поросята розовые, а в другом шелудивые. Только если присмотреться, то видно: розовые-то у тощей, высосанной, а шелудивые у сытой.

Тот же ручей бежал с горы к фиорду, и свиньи бродили в быстрой воде.

Я стал искать место, где была торфяная землянка 2-го дивизиона.

Кажется, здесь? Нет, непохоже. Тут? Вдруг я вспомнил, как стоило выйти в низенькую дверь — и сразу открывались взгляду два фиорда: в одной стороне тот, где стояли корабли у причалов, а по другую сторону пустынный и мелкий, всегда покрытый волнистой рябью, потому что из узкого ущелья постоянно тянуло ветром. И я сразу отыскал невысокий перевал над причалом, меня обдало знакомым сквозняком, и два фиорда открылись, как прежде. Через перевал проходила теперь улица. Многоэтажные дома стояли по обе стороны. У закрытого магазина собирались женщины, обсуждая домашние свои дела. Высоко над домами по карнизу скалы карабкались двое ребят, женщины пытались рассмотреть, чьи это забрались туда, рискуя сорваться.

— Морошка поспела, — сказала одна. — Теперь только гляди, на ровном месте невкусная она им. А где и убится недолго, там им самая сладость.

В одном из гарнизонов меня поселили на старом корабле. Вскоре ему предстояло идти на металлический лом. Но с берега еще подавался пар, небольшой экипаж еще поддерживал тень жизни в полупустых помещениях, в нескольких каютах жили командированные из Североморска и Мурманска. В эти последние унылые месяцы своего существования старый корабль именовался ПКЗ — плавающей казармой. Но некоторые обитатели расшифровывали три буквы по-другому: «Погорелые Командиры Здесь». Они считали, что те, кто был нужнее, давно уже получили новые назначения и ушли с чемоданчиками из своих кают, а оставшиеся забыты здесь, как говорится, людьми и богом и несут на себе некий знак второсортности. Но и эти, один за другим, покидали обреченную ПКЗ.

Телефон в моей каюте еще работал, и ранним утром мне сообщили из штаба, куда я должен явиться, чтобы участвовать в учебном выходе ракетных катеров.

Грузные коробки с надстроенными на них подобиями гаражей и оказались ракетными катерами.

Новые торпедные катера тоже были здесь, мне разрешено было побывать на одном из них, у пирса. Командир корабля показал мне помещения куда просторнее, чем помнились на катере Острякова, показал машины куда мощнее прежних, рассказал о новых скоростях, далеко оставляющих за собою те, которые ошеломляли двадцать три года назад. Мы посидели в его каюте, умно и удобно обставленной, у полок с теснящимися на них книгами. На берегу у командира, конечно, не койка в землянке, а квартира в пятиэтажном доме. Сам он принадлежит к той же породе людей, что Киреев и Павлов, которых даже в тогдашней землянке звали по имени-отчеству. О катерах говорил с тою же сдержанной влюбленностью, с какой всегда говорили о них Головкин и Кузьмин.

— На них нужно походить. Вы бы увидели, на что они способны. В войну старые катера делали много. Но на этих можно делать все. Нет такой морской операции, в которой они не могли бы участвовать.

Но выходить в море в ближайшее время торпедные катера не собирались.

Выход предстоял ракетчикам, и на борт одного из них я поднялся в десять ноль-ноль, когда незаходящее солнце полярного дня стояло уже высоко. Яркие зеленые жилеты, надетые перед походом, делали всех, кто находился на верхнем

мостике, физкультурными, ладными и придавали всему военному кораблю непривычно веселую построту стадиона.

В последних командах перед выходом в море всегда ощущается некая торжественность освященного временем обряда. Быть может, древнеславянские названия сигнальных флажков подчеркивают эту торжественность еще более.

— Буки до половины!

— Есть буки до половины!

— Иже, иже — давай!

Ритм хорошо отработанных движений тоже напоминал стадион, балетную четкость легкоатлетических упражнений. И пестрые флажки сигнального свода, взлетая на мачту, празднично трепетали под легким ветром. Грузная неуклюжесть корабельных обводов, увиденная с берега, вовсе не замечалась здесь. То, что оттуда было похоже на гаражи, теперь стройно круглилось перед глазами у самого мостика. Казалось, и корабль сам напрягается, торопясь оторваться от пирса, нетерпеливо дожидаясь командных слов давно знакомого обряда.

— По местам стоять! Со швартовых сниматься!

И наконец:

— Отдать носовой! Отдать кормовой!.. Флаг перенести!

Кормовой корабельный флаг взвился теперь на топ-мачте; уже широкая полоса воды отделила борт катера от стенки пирса, мы легли головному в кильватер, нас обтекли белые усы пены, отброшенной его винтами, и сразу корабль тем же памятным, всегда будоражащим рывком задрал нос высоко кверху, оседая на корму и набирая с места стремительный ход.

Правду говорил тот первый мой собеседник: нужно самому выйти в море, и притом выйти в строю, чтобы и со стороны увидеть другие такие же корабли в движении, и под собою ощутить это нервное, устремленное вперед стальное тело, — и только тогда первоначальное разочарование исчезнет, сменяясь восхищением и азартом катерного похода.

— Да, это корабли!

К новому всегда приходится привыкать, что-то в себе ломая. И всегда давнее, живущее в укоренившихся представлениях, кажется милее и лучше нового. Но стоит привыкнуть — и уже не только корабль, но и люди, рядом с которыми ты на нем очутился, покажутся давно знакомыми. В самом деле, ведь видел я, право же, видел этого молодого сигнальщика с милым лицом, в чертах которого уживаются и птичья заостренность, и ребячья припухлость. Такие лица на каждом шагу встречаются в донских станицах у молодых казаков. Спрашиваю, и оказывается, лишь ненамного ошибся: не с Дона он, а с Кубани. Но казачонок, верно, казачонок. Степное, характерное лицо тех мест, где поколения русской и украинской казачьей вольницы женились на полонянках из горных черкесских аулов, на привезенных за седлом пленных турчанках, а новые поколения приобретали от них эти птичьи черты, эту врожденную смуглоту и сухопарость, пришивая ее к доброй славянской округлости.

Там, в степях, таких лиц великое множество. Не потому ли и показался знакомым этот матрос-второгодок Коваленко Евгений Антонович, солидно о себе рассказавший, что за недолгий срок службы освоил две специальности и что случится ему неплохо.

И все же нет, не только по внешности показался он мне знакомым.

Я смотрю на лицо Давыдова, рядом с которым стоит Женя Коваленко, и лицо этого офицера со светлым вихром, выбивающимся на лоб, тоже кажется мне знакомым до странности. И вчера, на торпедном катере, я испытал подобное чувство, когда увидел у командира небольшие усы, точь-в-точь такие, какие заводили и принимались холить многие североморцы в военные годы, — на кораблях и на сухопутных позициях, оборудованных по склонам сопок Муста-Тунтури, среди ягеля и морошки коротким летом, в глубоком снегу долгой зимой. Увидел и не смог отделаться от мысли: «Я его там и видел». Это была чепуха, наваждение, ничего подобного быть не могло; этот нынешний офицер тогда только-толь-

ко на свет появился. Но такие же, как две капли такие же, усачи с лицами, подзадубевшими под северным ветром, там были.

Но важно ли это? Во внешнем ли подобии, в усах и вихрах тут дело? Нет, конечно. Люди вокруг другие, они иначе формировались, иначе — с другим внутренним содержанием — приходили на флот, не удовлетворялись тем, что прежде казалось бы недостижимым благополучием. Они не больше были похожи на прежних, чем пятиэтажный дом на перевале похож на торфяную землянку, где хозйничал Вася Игумнов.

Но почему все-таки так неотступны мысли о несходстве и сходстве? Почему мне так важно все это? Чего я ищу, продолжая приглядываться к Жене Коваленко, который в походе — по случаю — оказался ближе ко мне, чем все остальные? Уже не по внешности, а по множеству малых признаков — порою по жесту, порою по интонации голоса — я ощутил еще одно сходство, напомнившее мне о жизни в этих местах в далекие годы. На этот раз оно показалось истинным и важным. Знакомая атмосфера доброго товарищества, бескорыстной и тесной дружбы возникала вокруг катерного сигнальщика и связывала его со всеми, с кем он общался в походе, — та же атмосфера, что была на «Щ-402» и объединяла там всех от командира Николая Столбова до сигнальщика Вити Музыки. Я вспомнил, как списывался с лодки — не смог прижиться и вынужден был уйти — человек, на которого нельзя было положиться как на доброго друга. Может, он во всем остальном был хорош, кроме этого одного-единственного своего недостатка. Но там этот недостаток перевешивал все достоинства. Я увидел, что и на этом небольшом корабле люди чувствуют, что делают одну судьбу, и каждый хочет быть уверен в соседе, как в друге. Старый закон морского товарищества продолжал действовать. Потому и возникало странное чувство, будто я уже видел окружающие меня здесь лица четверть века назад, в той землянке из торфяных кирпичей, куда возвращались катерники из своих набеговых выходов и с маневренной базы, вынесенной под огонь вражеских батарей.

Ракетные катера вышли в заданный квадрат, рассредоточились. От штабных офицеров начали поступать вводные. К навигации, стратегии, тактике прибавились на современном корабле иные науки. Когда мы вышли в открытое море, я спустился вниз и очутился в научной лаборатории, где работали неизвестные мне автоматические приборы и офицеры похожи были на экспериментаторов-физиков, поглощенных теоретическими задачами.

Катера перестроились уступом и вышли на широкую салму, где виднелись вдаль другие корабли и буксир таскал за собою щит для артиллерийской стрельбы. Вводные говорили о появившихся подводных лодках, об отдаленных береговых целях. Расчетные данные передавались вниз, снова приходили в движение хитрые аппараты, по катеру объявлялась боевая тревога, всем надо было уходить вниз, палуба пустела, броневые люки плотно задраивались. Но выстрела на этот раз не намечалось. Штабисты проверяли все по расчетам. По точности расчета определялось и поражение цели. Меня на корабле как бы не было, я был посторонним, поэтому мог оставаться наверху и видеть, как автоматически — управляемые из центрального поста — бесшумно раздвигаются закрышки ракетных аппаратов, показавшихся мне с берега безобидными и топорными гаражами.

Кибернетика, компьютеры, черт, дьявол в ступе.

Под закрышками показывалось нечто крупное, округлое, окрашенное в болотно-зеленый цвет. Это были ракеты. Они оставались на своих местах, а закрышки снова сползались сами по себе.

Вводные шли своим чередом.

— Учения по живучести.

— Затопление отсека.

— Пожар.

— Химтревога и швартовка в противогозах.

И уже не узнать было Женю Коваленко, когда он снова очутился рядом, в непроницаемом тонком костюме похожий на воображаемого марсианина, и глу-

хо стал из-под маски повторять команды, означающие, что мы возвратились домой и швартуемся к своему причалу.

В море трудно было разобраться во всем, что происходило, поэтому я спросил командира:

— Как справились?

Он сказал:

— У нас промахов не бывает.

Над базой, так же, как над Крестовым, господствовал большой памятник, поставленный на высокой каменной горе в честь катерников, которые здесь воевали и не вернулись с моря.

Их имена были перечислены длинным столбцом на белом обелиске.

Памятник был хорошо виден с пирса, когда ракетчики сняли противогазы и начали выходить на берег со своего корабля, который в тот день хорошо поразил свои учебные цели, решил поставленные ему задачи и возвратился к мирному причалу.

Встреча с прошлым подходила к концу.

Уже замаячили перед каждым свои дела. Уже прощались разведчики, записывали адреса, говорили о том, что хорошо бы встретиться снова. И знали, что сбудется это вряд ли. На этот раз от разлуки до нашей встречи прошло четверть века. А сызнава на такие сроки не загадаешь.

Старая мудрость говорит, что в одну реку нельзя ступить дважды. Проточная вода уходит, многое уносится вместе с нею, ступишь будто на то же самое место, а это уже иная вода — река другая.

В реках Страны воспоминаний тоже нет стоялой воды.

И это, наверно, хорошо.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

ИЗ ЛОНДОНСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ*

(1925—1927)

КОНЕЦ АНГЛО-РУССКОГО КОМИТЕТА ЕДИНСТВА

Весной 1926 года в Англии разразилась первая в истории этой страны всеобщая стачка¹. Причиной ее была упорная многолетняя борьба горняков с шахтовладельцами, стремившимися переложить на плечи рабочих все трудности, связанные с экономической депрессией, а поводом — лонаут шахтовладельцев и угроза ликвидации всех коллективных договоров о найме. Тред-юнионистские лидеры долго и всяческими способами пытались сорвать стачку, вели предательскую по отношению к рабочему классу политику. Но несмотря на это 4 мая всеобщая стачка началась. Она продолжалась до 12 мая, когда Генсовет тред-юнионов сложил оружие и заявил правительству Болдуина о прекращении всеобщей стачки.

После всеобщей стачки пришел конец Англо-Русскому профсоюзному комитету единства.

Глядя сейчас на события тех дней, видишь, что обе стороны — и ВЦСПС и британский Генсовет — жили тогда в мире иллюзий, причем иллюзий противоположных. ВЦСПС верил в близость если не победы мировой социалистической революции, то в близость больших социальных потрясений революционного характера в развитых экономически странах, таких, как Англия или Германия. Вступая в более тесный контакт с британскими тред-юнионами, ВЦСПС надеялся, что логика жизни и пример советского строительства постепенно заставят последних пойти влево и сделают возможным близкое сотрудничество между ними на длительный срок — может быть, даже навсегда.

Генсовет, насквозь разъеденный духом фабианской постепенщины, наоборот, рассчитывал, что логика жизни, как он ее понимал, плюс сознательное воздействие тред-юнионистов на советских товарищей заставят ВЦСПС постепенно (но тоже в не слишком отдаленном будущем) «повзрослеть», «остыть» и перестать гоняться за синей птицей. Помню, Джордж Хикс в частном разговоре со мной на Вичвуд-авеню как-то сказал:

— Революционеры во всякой революции выдвигают сначала неосуществимые лозунги и цели. Но потом понемножку, полегоньку они начинают трезветь, более реалистически воспринимать конкретные условия жизни и шаг за шагом переходить на путь возможного. Таков общий закон... То же будет и у вас. Мы хотели бы способствовать скорейшему развитию такого процесса.

Я не стал возражать Хиксу, но про себя подумал: «Жизнь покажет».

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

¹ Мой репортаж об этой стачке был опубликован в 1926 году издательством ВЦСПС под псевдонимом М. Джемс. Он назывался «Всеобщая стачка и борьба углекопов в Англии».

После всеобщей стачки всякие иллюзии мгновенно рассеялись. Мы увидели подлинное лицо британских профсоюзных лидеров и подвергли их поведение критике вполне заслуженной; однако этой критике была придана излишне бурная форма. Наши британские партнеры обиделись — не столько на критику, сколько на форму. Отношения с обеих сторон стали портиться. Англичане требовали, чтобы «русские товарищи» воздержались от критики действий Генсовета, во всяком случае от критики, выходящей за приемлемые для них рамки. Но ВЦСПС (а еще больше Профинтерн) не хотел с этим согласиться.

Было сделано несколько попыток смягчить создавшееся обострение. В июле—августе 1926 года в Париже и Берлине состоялись заседания Англо-Русского комитета, которые, однако, не привели к примирению сторон. Масла в огонь подлило британское правительство, которое отказало в визах советской делегации на конгресс тред-юнионов; в том же году британская делегация, из соображений своеобразного «равновесия», также не поехала на Седьмой съезд профсоюзов в Москве (прибыл только А. Кук как представитель горняков). В мае 1927 года британское правительство разорвало дипломатические отношения с СССР, и тред-юнионистские лидеры еще круче повернули вправо, стремясь «умилостивить» консерваторов и получить прощение за свои «левые» жесты в 1924—1926 годах. В их кругах все больше нарастало желание покончить с Англо-Русским комитетом, и конец ему действительно скоро пришел.

Два факта сыграли тут главную роль. В период горняцкой стачки ВЦСПС настойчиво предлагал созвать Англо-Русский комитет для принятия мер по мобилизации мирового профдвижения в помощь забастовщикам, однако Генсовет сделал все возможное, чтобы предупредить подобный шаг. Вторым важным фактом явилось поведение руководящей верхушки тред-юнионов во время кризиса в англо-советских правительственных отношениях. Разрыв систематически готовился кабинетом Болдуина в течение зимы 1926/27 года. Рабочее движение Великобритании при желании могло бы остановить или по крайней мере значительно затормозить такой ход событий. Но лейбористская партия ограничивалась малоэффективными парламентскими протестами, а Генсовет вообще молчал. ВЦСПС предлагал созвать специальное заседание, посвященное угрозе разрыва между Англией и Советским Союзом, но с помощью всевозможных оттяжек и увеливаний британские лидеры уклонились от реализации советских предложений.

Решающий момент наступил в конце 1927 года. Инициативу разрыва взяли на себя англичане. На 59-м конгрессе тред-юнионов, который собрался в Эдинбурге в сентябре того же года, тогдашний генеральный секретарь конгресса (ныне лорд) Уолтер Ситрин выступил с длинным списком обвинений против ВЦСПС. «Два года терпеливых, серьезных усилий,— закончил Ситрин,— установить взаимопонимание между русским и британским движением и обеспечить вступление русских профсоюзов в Международную федерацию тред-юнионов (имеется в виду Амстердамский Интернационал.— И. М.) ныне привели Генсовет к убеждению, что из этого в нынешних условиях ничего не может получиться»¹.

И конгресс в Эдинбурге одобрил этот вывод. То было концом Англо-Русского профсоюзного комитета единства. Советской стороне не оставалось ничего больше, как констатировать на Восьмом съезде советских профсоюзов в Москве, состоявшемся в декабре 1928 года, неудачу попытки создать профсоюзное единство между СССР и Англией.

СМЕРТЬ Л. Б. КРАСИНА

Сразу же после всеобщей стачки, в конце мая 1926 года, я уехал в отпуск, который решил проводить в СССР. Уезжал я с желанием больше не возвращаться в Лондон, так как мне очень не нравилась атмосфера, господствовавшая в то

¹ Report of proceeding at the 59th Annual Trade Union Congress, held at Edinburg. s.IX 1927.

время в полпредстве. Осенью 1925 года, как я уже писал, наше лондонское полпредство должен был возглавить Леонид Борисович Красин, бывший до того советским послом в Париже. Но этому помешала его болезнь. Красин страдал белокровием, и состояние его в то время настолько ухудшилось, что он не смог выехать после своего назначения в Лондон и продолжал оставаться в Париже, проходя курс лечения у лучших специалистов того времени. Пока же лондонским полпредством руководил А. П. Розенгольд, с которым работать мне было трудно, и я весной 1926 года, приехав в отпуск в Москву, твердо заявил, что назад в Лондон не поеду. Около месяца я был занят работой над репортажем о всеобщей стачке для ВЦСПС, затем мы с женой отдыхали на пароходе, плывая по Волге и Каме, потом я временно возглавлял ВОКС вместо тяжело заболевшей О. Д. Каменевой, готовясь прочно осесть в Москве. И вдруг все изменилось. Однажды М. М. Литвинов, ведавший в Наркоминделе странами Запада, вызвал меня к себе и сурово сказал:

— Вам придется срочно выехать в Лондон.

— Как! — воскликнул я. — Я же подробно излагал вам еще в июне причины, по которым я не считаю целесообразным оставаться в Лондоне.

— Я об этом помню, — продолжал Максим Максимович. — И раньше, вы знаете, я склонен был пойти вам навстречу. Но сейчас положение круто изменилось. Леонид Борисович Красин выехал в Лондон. К сожалению, улучшение в его здоровье оказалось временным. Работать по-настоящему он, очевидно, не сможет. Ему нужны помощники. Посылать нового советника в Лондон рискованно: при нынешних отношениях с правительством Болдуина англичане могут просто не дать ему визы. Поэтому мы пришли к выводу, что разумней вернуть вас в Лондон. Формально мы вас еще не отозвали, и вопрос о визе для вас не стоит. Надеюсь, вы не будете настаивать на Москве. Понимаю, как вам неприятно возвращаться в Лондон, но в данном случае считаться с личными чувствами не приходится.

Так осенью 1926 года я вновь оказался в стенах нашего лондонского полпредства. Но теперь мои обязанности несколько отличались от прежних.

Красин приехал в Лондон с большими планами и надеждами. Здоровье его перед тем значительно укрепилось. Он стремился приложить свои силы к улучшению англо-советских отношений, которые в тот момент находились в очень напряженном состоянии. В правительственных кругах и в Сити с прибытием Красина также связывались известные ожидания. Леонида Борисовича в Лондоне хорошо знали и по его переговорам с Ллойд-Джорджем в 1920 году, результатом которых было первое торговое соглашение 1921 года между Советской Россией и Великобританией. Леонид Борисович сыграл также важную роль в ликвидации острого конфликта между обеими странами в связи с «ультиматумом Керзона»¹ в 1923 году. В качестве наркома внешней торговли в первые годы после Октября Леонид Борисович тщательно опекал развитие экономических отношений между Англией и Советским Союзом. В результате в руководящих британских кругах — политических и хозяйственных — Красин приобрел репутацию умного, делового, энергичного человека, человека «здорового смысла», с которым можно договориться. И поскольку таких людей, как Болдуин, все же беспокоило обострение отношений с СССР — страной со сорокатысячатым населением, — они рассчитывали несколько выправить положение, имея в качестве партнера «благоразумного» Красина.

Как бы то ни было, но с приездом Леонида Борисовича в Лондон стало возможным начало более серьезных разговоров о нормализации отношений. И Красин сразу решил до конца использовать открывшиеся перспективы. Октябрь 1926 года прошел для него в настойчивых попытках установить нужные контакты с руково-

¹ 8 мая 1923 года британский министр иностранных дел лорд Керзон направил Советскому правительству ультиматум, ряд требований которого означал вмешательство во внутренние дела СССР. Советское правительство полностью сохранило принцип невмешательства извне во внутренние дела Советского государства, но сумело избежать разрыва.

дядицами людьми на британской стороне. А я, как его непосредственный помощник, взял на себя всю заботу о подготовке его встреч, о собирании для него необходимых материалов, о составлении текстов различных меморандумов, записок, писем и т. д. Мне это очень нравилось не только потому, что работа с Красиным доставляла большое удовольствие, но также и потому, что подобная помощь полпреду была для меня прекрасной школой дипломатической работы, дававшей мне к тому же возможность быть в центре основной деятельности полпредства, так как первый советник А. П. Розенгольд находился в отпуске и вернулся лишь за несколько дней до смерти Красина.

Из событий того месяца у меня в памяти с особой яркостью запечатлелись два.

Первое — это большой разговор Красина с Остином Чемберленом, происшедший 11 октября. Я не присутствовал при этом разговоре (Красин достаточно хорошо знал английский язык и не нуждался в переводчике), однако из его рассказа, а также из сопровождавших эту встречу толков в политических кругах и в печати я сразу же узнал о ней все подробности. Как человек, особенно тесно связанный с проблемами экономического порядка, Красин построил свою беседу с министром иностранных дел на иллюстрациях быстрого роста и укрепления советского хозяйства. В качестве одного из доказательств этого Красин, помню, привел такой пример: в 1923 году в СССР был ввезен первый американский трактор, а в 1926 году их было уже двадцать пять тысяч. Красин не скрывал экономических трудностей нашей страны и выдвигал идею долгосрочного английского займа (именно займа, а не кредитов), который помог бы нам быстро двинуть вперед развитие нашей экономики. И одновременно он указывал Чемберлену:

— Подумайте, какие возможности для британской промышленности открывает советский рынок с его двадцатью двумя миллионами крестьянских хозяйств!

А когда Чемберлен заикнулся было, что у людей Сити нет достаточного доверия к стабильности этого рынка, Красин со смехом воскликнул:

— Мы существуем уже девять лет, и заверяю вас, что просуществуем еще сто девяносто девять!

Аргументы Красина, видимо, произвели на Чемберлена известное впечатление, потому что он стал заверять советского полпреда, будто бы Англия не питает к СССР никаких враждебных чувств, и дал понять, что готов заняться изучением путей для улучшения отношений между двумя странами. По тем временам уже это было значительным успехом!

Когда, возвращаясь от Чемберлена, Красин передал мне, что происходило во время беседы, он вдруг засмеялся и прибавил:

— А знаете, сам Чемберлен мало импонирует. Керзону он годился бы разве в секретари.

Другой важный разговор Красин имел 15 октября с директором знаменитого Английского банка Монтегю Норманом. Посредником между ними был пресловутый Лесли Уркварт, который тогда еще рассчитывал на получение от нас выкупа за свою концессию¹ и потому готов был оказать услугу советскому полпреду. Красин был у Монтегю Нормана в его официальном кабинете и имел с ним большую беседу, которая продолжалась около полутора часов. Говорили очень обстоятельно и откровенно. Рассказывая мне потом о своем визите, Красин заметил:

— Норман, несомненно, очень крупный и интересный человек. Он меньше всего напоминает жадного капиталистического дельца, который ищет только прибыли и личного обогащения. Мне говорили, что эти вопросы Монтегю Нормана вообще мало интересуют, и, разговаривая с ним с глазу на глаз, в это веришь.

¹ Уркварт Лесли — крупный английский концессионер, связанный с различными предприятиями в царской России, особенно с полиметаллами в Караганде, собственность которого была национализирована во время революции. Пока он надеялся на возвращение своей собственности или по крайней мере на денежную компенсацию за нее, он прикидывался другом СССР, а когда эту надежду потерял, превратился в злейшего врага нашей страны.

На меня он произвел впечатление скорее умного и делового ученого, финансиста с большой эрудицией и широким умственным горизонтом, чего-то вроде философа капиталистической системы... И притом он так молод! Я дал бы ему не больше сорока лет.

— Ну что вы! — прервал я Красина. — Мне известно, что Монтегю Норману перевалило уже за полсотни!

— В самом деле? — удивился Красин. — Во всяком случае выглядит он гораздо моложе. Впрочем, англичане, особенно из высших слоев, дьявольски молодожавы.

Я спросил, о чем шел разговор. Леонид Борисович ответил, что он развивал перед директором Английского банка такую мысль: перед Советской страной сейчас лежат два возможных пути — либо опираться только на свои собственные внутренние ресурсы, либо пытаться возможно шире использовать финансовую помощь буржуазного мира, в частности Англии. Первый путь медленнее, но надежнее, второй путь быстрее, но опаснее, потому что ставит наше хозяйство в известную зависимость от внешних и недружественных нам сил. Тем не менее Советское правительство было бы готово рискнуть, допустив известную инвестицию иностранного капитала в советскую промышленность в форме концессий и т. п. Однако, по мнению Красина, этого мало. Для того чтобы дать мощный толчок хозяйственному росту СССР, ему нужно получить большой долгосрочный заем, например от Англии. И если подойти к данному вопросу с общеевропейской точки зрения, такой заем был бы только выгоден Европе: ведь без крупного роста внешней торговли СССР трудно себе представить восстановление всего европейского хозяйства, расстроенного первой мировой войной. И Красин в упор задал Монтегю Норману вопрос, что он думает по этому поводу?

— И вот тут, — продолжал, оживляясь, Красин, — произошло самое любопытное. Монтегю Норман прервал меня и стал горячо заявлять, что он вполне согласен со мной и что без вовлечения России в систему европейского развития полное восстановление европейского хозяйства невозможно. Он говорил также, что без долгосрочных займов серьезный подъем советской экономики немислим... Он все это как глава Английского банка прекрасно понимает. Но когда я спросил Нормана, каковы виды на получение Советским Союзом долгосрочного займа в Англии, он ответил: никаких, если вы не вернетесь к принципу частной собственности; дескать, британское общественное мнение без этого не позволит выпустить советский заем в Сити. Я реагировал на слова Нормана заявлением, что советское общественное мнение не допустит признания частной собственности на заводы, фабрики и т. д. Норман пожал плечами и сказал: «Получается заколдованный круг».

Вспоминая сейчас, сорок лет спустя, об этой беседе Красина с Монтегю Норманом, я невольно думаю о том, как своеобразны пути истории. Тогда, в двадцатых годах, отдельные, более дальновидные представители буржуазии вроде Монтегю Нормана хорошо понимали, что наиболее целесообразная политика — это широкое вовлечение СССР в европейский хозяйственный оборот, однако они были бессильны осуществить такую политику: мешала классовая ограниченность широких кругов буржуазии. То же самое продолжалось и позже, и не только в области экономики, но и политики (достаточно вспомнить Мюнхен, 1938 год). В итоге хозяйственное развитие СССР фактически пошло на основе его внутренних ресурсов при малом участии иностранного капитала. Поэтому оно шло медленнее, чем могло бы идти, и должно было преодолевать большие трудности. Однако в конечном счете мы не только сохранили полную хозяйственную независимость, но закалились и нажили крепкую экономическую мускулатуру.

Со второй половины октября 1926 года здоровье Красина стало ухудшаться. Сначала он перестал выезжать с визитами и по делам, но продолжал принимать посетителей. Затем это для него стало трудно, и он ограничивался встречами с сотрудниками полпредства. Потом и это оказалось Леониду Борисовичу не по силам.

Он перестал выходить в свой кабинет и проводил большую часть времени в спальне, где для него специально был поставлен небольшой письменный стол. Здесь он принимал главным образом меня и первого секретаря Д. В. Богомолова. Здесь же он читал наиболее важные письма и документы, которые я ему передавал, оставляя все остальное на мое собственное решение. В спальне я обычно получал от Леонида Борисовича и указания относительно текущей работы. С начала ноября здоровье Красина настолько ухудшилось, что он уже окончательно слег, и я под различными предлогами стал сводить к крайнему минимуму ознакомление его с делами, хотя он настойчиво требовал, чтобы его держали в курсе всех событий.

В те дни, принимая все меры, чтобы спасти жизнь Красина, я завязал знакомство с лучшими врачами Лондона, часто ездил на знаменитую Харлей-стрит¹, вел длинные беседы с медицинскими светилами, устраивал консилиумы и обследования. У меня больно сжималось сердце, когда я видел, как слабеет с каждым днем Леонид Борисович, я готов был сделать все, лишь бы опять поставить его на ноги. Разумеется, полпредство информировало Москву о состоянии здоровья Красина и получило инструкцию: не жалеть никаких средств на его лечение.

Злокачественное белокровие — очень тяжелая болезнь. Медицина не умеет по-настоящему лечить его даже сейчас, тем меньше умела она это делать тогда. Английские врачи пускали в ход различные методы — диета, лекарства, переливание крови. Особенно большое значение они придавали введению в организм больного свежей крови соответствующей группы. Все полпредство, которое жило ежедневными бюллетенями о состоянии здоровья своего руководителя, искало и находило подходящих доноров в своей собственной среде, а также в среде других членов советской колонии в Лондоне. Охотников было сколько угодно. Каждое переливание давало эффект: Красин оживал, щеки его слегка розовели, он начинал говорить, интересоваться окружающей обстановкой, но это продолжалось недолго.

Красин нередко говорил:

— Будем бороться с недугом твердо, упорно, по-большевистски!

Он послушно и настойчиво выполнял предписания врачей.

Седьмого ноября 1926 года в полпредстве был, как всегда, устроен большой дипломатический прием. Ввиду болезни Красина гостей принимали Любовь Васильевна Красина и я, как заместитель полпреда в тот момент. Народу пришло много, но почти исключительно лейбористы, тред-юнионисты, левые интеллигенты. Не было ни одного представителя Форейн оффиса — мы еще раз выступали как «посольство при оппозиции его величества». Все гости знали о тяжелом состоянии Леонида Борисовича, и потому на приеме ощущалась необычная сдержанность, даже подавленность. Должно быть, поэтому английские гости ушли сравнительно рано, и к десяти часам вечера остались только свои, советские. По русскому обычаю мы запели наши песни.

И вот открылась дверь и дежурная сестра принесла записку от Красина: Леонид Борисович просил нас спеть ему старые революционные песни. И тут же на лестнице у его дверей сели человек сто мужчин и женщин, и начался необычный концерт.

Пели «Спускается солнце за степи...», «Пыльной дорогой телега несется...», «Варшавянку», «Красное знамя», «Замучен тяжелой неволей...», «Смело, товарищи, в ногу...». И пели как-то необычайно проникновенно — все знали, что поют для старого революционера, дни которого сочтены.

Только за полночь мы разошлись по домам, унося на всю жизнь память об этом вечере. Многие женщины возвращались со слезами на глазах...

В середине ноября стало ясно, что роковая развязка близка. Леонид Борисович лежал в постели, не поднимаясь. Врачи предупредили, что конца можно ждать в любой момент. У постели было установлено непрерывное дежурство.

¹ Улица врачей в Лондоне.

Навсегда запомнился мне Леонид Борисович за три дня до смерти. Он лежал, глаза были закрыты, руки вытянуты вдоль тела. Только дыхание, которое можно было слышать нагнувшись, свидетельствовало о том, что борьба со смертью продолжается. Вдруг Красин пошевелился и, глядя куда-то вверх, вполголоса произнес:

— С болезнью надо бороться твердо, упорно, по-большевистски!

Этот неожиданный всплеск жизни тут же погас, глаза закрылись, лицо вновь стало неподвижным.

24 ноября 1926 года Красина не стало.

Гроб с его телом был выставлен в главном зале полпредства. Кругом стояли венки, цветы, было очень много цветов. На строгом черном костюме полпреда ярко выделялась снежно-белая борода (он сильно поседел за время болезни). Печать благородства лежала на его похудевшем лице. Сотрудники полпредства, члены советской колонии в Лондоне несли почетный караул у гроба. Приходили и англичане, чтобы принять участие в карауле. В соседнем зале сидел небольшой оркестр и оттуда доносилась тихая музыка. Длинная цепочка мужчин, женщин, детей английских рабочих, служащих, представителей культуры и искусства проходила мимо гроба.

Исполком лейбористской партии и Генсовет тред-юнионов выразили глубокое соболезнование по случаю смерти Красина, и видный член парламента Д. М. Клайнс сказал:

— Это трагический и безвременный конец большого общественного деятеля. Наша страна и Россия — обе понесли тяжелую утрату. Я уверен, что, если бы Красин остался среди нас, его выдающееся дипломатическое искусство и его деловые способности обеспечили бы урегулирование по крайней мере некоторых разногласий между Англией и Россией.

Лейбористская газета «Дейли геральд» тогда же писала: «Он умер, как мог бы желать, — на своем посту. И его уход — огромная потеря не только для Советского Союза, но и для социалистического и рабочего движения во всем мире. Его работа у себя дома над реорганизацией российской промышленности и за рубежом над установлением более дружественных отношений между Советским Союзом и западными державами будет иметь длительное значение».

Даже сам Остин Чемберлен счел нужным заявить в парламенте:

— Да позволено мне будет выразить сожаление по поводу смерти господина Красина, советского поверенного в делах.

А один из чиновников Форейн оффиса явился в советское полпредство и оставил карточку с соболезнованием, тем самым впервые нарушая дипломатический вакуум.

Тело Красина было сожжено в лондонском крематории на Голдерс Грин. От полпредства до крематория его провожали несколько тысяч человек. Присутствовали многие лидеры лейбористской партии и тред-юнионов, в том числе Ленсбери, Клайнс, Персель, Хикс, Свелс, Кук, Тиллет и другие. Но не было ни Макдональда, ни Сноудена. В крематории состоялась гражданская панихида, на которой выступили представители советской колонии и английского рабочего движения. Советский хор еще раз спел старые революционные песни — увы! — уже покойному Красину. Среди многочисленных венков особенно выделялся один — с изображением кирки и лопаты (знак горняков). Надпись на венке гласила: «От Федерации горняков Великобритании в знак благоговейной памяти и глубокой благодарности. Герберт Смит, Том Ричардс, В. П. Ричардсон, А. Д. Кук».

Брэйлсфорд, который был сильно потрясен смертью Красина, сказал мне, уходя из крематория:

— На меня произвели огромное впечатление ваши советские похороны. Умно и благородно. И глубоко человечно.

В тот же день вечером урна была отправлена в Москву и несколько дней спустя захоронена у Кремлевской стены.

АНГЛО-СОВЕТСКИЙ РАЗРЫВ

Красин ушел, но проблема англо-советских отношений осталась нерешенной. С каждым днем она становилась все запутаннее. Когда сейчас я перебираю в памяти события той мрачной и тяжелой зимы 1926/27 года, мне делается все яснее, что смерть Красина сыграла большую роль в разрыве отношений между Англией и СССР. Разрыв стал фактом полгода спустя.

Значение личности в сфере дипломатии (как, впрочем, и во многих других областях) всегда заметно, а в определенные моменты очень велико. Конечно, никто не может одолеть общего течения исторического потока. Однако если дипломат умен, гибок, энергичен, смел, хорошо понимает своих партнеров, пользуется уважением со стороны противников, он часто в состоянии добиться благоприятного результата или по крайней мере приемлемого компромисса там, где дипломат иных качеств непременно потерпит неудачу. Пример Красина тут очень показателен.

Осенью 1926 года, когда Красин в третий раз прибыл в Лондон уже в качестве посла, его встретили здесь с надеждой, что с его помощью удастся до известной степени ослабить напряжение. Этого хотели не только лейбористы, но и некоторые министры и директора банков.

Не следует думать, что лидеры британского господствующего класса с легким сердцем шли на разрыв с СССР. Конечно, они нас ненавидели, но это еще совсем не означало, что они охотно ввяжутся в любую антисоветскую авантюру. Совсем нет! Британский господствующий класс — очень старый, опытный, осторожный — издавна отличался духом компромисса. К тому же он привык грязные или опасные действия перекладывать на плечи кого-либо другого.

Лейбористское правительство Макдональда пало в ноябре 1924 года, и тогда же пришло к власти консервативное правительство Болдуина. Оно считало, что Макдональд сделал величайшую ошибку, установив дипломатические отношения с Советским государством, оно очень хотело бы исправить его ошибку, разорвав отношения с СССР возможно скорее, однако в течение двух с половиной лет не делало этого, несмотря на все раздражение, вызывавшееся в его среде событиями в Китае и в угольных районах Англии.

Больше всего консерваторам улыбалось возобновление «крестового похода» против Страны Советов, и летом 1925 года, когда я приехал в Лондон, попытки создать большую антисоветскую коалицию западных держав были в полном ходу. Но опыт 1918—1920 годов был слишком красноречив, и никто, кроме папы римского, не имел желания участвовать в таком предприятии. Правительство Болдуина вынуждено было на время притихнуть, выжидая.

В руководящих кругах буржуазии шли споры о том, когда идти на разрыв. В самом правительстве были три министра, требовавших немедленного разрыва, к чему бы он ни привел. Это были Джойнсон Хикс — министр внутренних дел, Уинстон Черчилль — министр финансов, лорд Биркенхед — министр по делам Индии. Были два министра, которые предпочитали политику выжидания: Остин Чемберлен — министр иностранных дел и Артур Бальфур — заместитель премьера. Что же касается Болдуина, то он со свойственными ему ленью и нелюбовью к беспокойству готов был до поры, до времени предоставлять событиям идти, как идут. Лейбористы и либералы так же, как и значительная группа промышленников и банкиров, непосредственно заинтересованных в развитии торговли с СССР, были противниками разрыва.

Ситуация, как видим, была очень сложная и противоречивая — именно такая, при которой чрезвычайно сказывается разница между хорошим дипломатом и плохим дипломатом. Если бы Красин остался жив, он, несомненно, всю свою энергию и все свое искусство приложил бы к тому, чтобы помочь «рассасыванию» трудностей, возникших в отношениях между СССР и Англией. И у него были к тому возможности: я хорошо помню, как в октябре 1926 года, когда Леонид Борисович еще выезжал и принимал посетителей, я по телефонным заявкам со-

ставлял для него большой список крупных деятелей британского делового мира (банкиров, промышленников, парламентариев и других), которые хотели с ним поговорить. Разговоры с такими людьми и в таком количестве не могли остаться совершенно бесплодными, если учесть притом неоднократные заявления Советского правительства о своем желании разрешить спорные вопросы за круглым столом. Я не хочу сказать, что Красин мог бы превратить плохие отношения в хорошие, — конечно, это было невозможно. Но избежать разрыва отношений — такую задачу Красин мог не только ставить перед собой, но, я уверен, он мог и разрешить ее. Он не успел этого сделать.

Красин умер, и во главе полпредства опять остался А. П. Розенгольц.

Еще при жизни Красина, 7 октября 1926 года, съезд консервативной партии единогласно принял резолюцию с требованием разрыва отношений с СССР. Хотя подобные постановления в английской практике не слишком обязательны для консервативного правительства, тем не менее резолюция эта имела несомненное политическое значение, а главное, давала сильный толчок для враждебной агитации всех наиболее оголтелых врагов Советской страны. К ним теперь присоединился и пресловутый Лесли Уркварт.

Четвертого февраля 1927 года Джойнсон Хикс, Черчилль и еще один член правительства — министр колоний Л. Эмери — выступили с погромными речами против СССР, используя в качестве материала превратно истолкованные сведения о событиях в Китае. Поскольку одновременное антисоветское выступление трех членов кабинета приходилось расценивать как новый серьезный шаг в подготовке англо-советского разрыва, лейбористские и либеральные круги открыли контратаку, стремясь предотвратить катастрофу. В Москве М. М. Литвинов на пресс-конференции также коснулся неблагоприятных усилий «твердолобых» и, между прочим, сказал:

— Британские консервативные круги пытаются свалить на плечи Советского правительства ответственность за собственные ошибки, используя для этого самые нелепые легенды, и хотят объяснить «махинациями советских агентов» величайшее освободительное движение китайских миллионов.

Под растущим давлением «твердолобых» правительство Болдуина шло все дальше и дальше по дороге, ведущей к разрыву. 23 февраля 1927 года оно направило советскому полпредству в Лондоне ноту, заключительный абзац которой дает ясное представление о всем ее содержании.

«Правительством его величества, — гласил этот абзац, — считается необходимым самым серьезным образом предостеречь СССР, что есть границы терпению английского общественного мнения, которые опасно переходить, и продолжение таких актов, как те, на которые мы приносим жалобу в этой ноте, должно рано или поздно сделать неизбежным аннулирование торгового соглашения». Нота подобного рода в обычном дипломатическом обиходе равносильна крепкому удару «под лопатки», однако сторонники Черчилля и Джойнсона Хикса подняли страшный шум по поводу ее недостаточности. Как? Еще не разрыв? Еще только предупреждение? Это непростительная слабость «умеренных», покрываемая премьером!

На другой день, 24 февраля, Советское правительство дало ответ. Его нота резко и обоснованно критиковала обвинения, выдвинутые британской нотой от 23 февраля, осуждала враждебные СССР выступления английских министров и заявляла, что, если британское правительство разорвет дипломатические отношения с Советской страной, вся ответственность за последствия такого шага ляжет на лондонский кабинет. В противоположность британской ноте советская нота не ограничилась, однако, полемикой. В заключительной части своей ноты Советское правительство еще раз обращалось к британскому правительству с призывом сесть за один стол и путем переговоров устранить все существующие трудности.

Но британское правительство решило не отвечать на советскую ноту. В парламентских дебатах 3 марта 1927 года правительство подверглось за это суровой критике со стороны Ллойд-Джорджа, но скольжение британского правительства по наклонной плоскости к разрыву неудержимо продолжалось.

В Сити, однако, — и это показывает, что предупредить разрыв была возможность, — наблюдались несколько иные настроения. Как раз в 1925—1926 годах англо-советская торговля достигла такого размаха, что банкиры стали всерьез думать о ее кредитовании. Особенную сенсацию вызвало решение известного Мидлэнд-банка (одного из «пяти больших банков Англии»), во главе которого стоял либеральный деятель Маккена, предоставить кредит в десять миллионов фунтов фирмам, торгующим с СССР. По тем временам это была крупная сумма. Соглашение между банком и советским торгпредством в Лондоне должно было быть подписано 11 мая 1927 года. Если бы оно вошло в силу, многое могло бы измениться в англо-советских отношениях. Этого ни за что не хотели допустить «экстремисты». Так как правительство в целом все еще не было готово заявить о разрыве отношений, то «экстремистская» группа министров решила поставить кабинет в такое положение, чтобы для него не было иного выхода. Среди этих министров-«экстремистов» был министр внутренних дел Джойнсон Хикс. 12 мая 1927 года, на другой день после подписания соглашения торгпредства с Мидлэнд-банком, в Лондоне разыгралось событие, подготовленное по плану «экстремистов».

С января 1927 года в политических и дипломатических кругах Лондона пошли слухи о том, что «твердолобые» (включая трех названных министров) готовят налет на советское полпредство, рассчитывая спровоцировать разрыв отношений между Англией и СССР. Слухи эти постепенно росли, уплотнялись, обростали конкретными деталями. К началу мая стало почти несомненно, что налет действительно будет совершен. Неясным оставалось лишь, когда это произойдет и чья дипломатическая неприкосновенность будет нарушена: полпредства или торгпредства?

Двенадцатого мая 1927 года около четырех часов дня отряды полисменов в сопровождении детективов (всего около двухсот человек) окружили здание по Мооргэт-стрит, 49, которое занимали «Аркос» и торгпредство СССР, и, ворвавшись внутрь, закрыли все выходы наружу. Несколько сот служащих обоих учреждений, в том числе немало англичан, были арестованы и часть из них подвергнута личному обыску. Среди арестованных оказались жена нашего поверенного в делах, которая работала в торгпредстве в качестве врача, и моя жена, которая заведовала лицензионным отделом торгпредства, обе — лица дипломатического ранга, неприкосновенные для британской полиции. Агенты Скотланд-Ярда выгнали всех служащих из рабочих комнат в коридоры и на лестницы и, когда комнаты опустели, приступили к обыску шкафов и столов. Никакого контроля со стороны служащих за действиями полицейских агентов не могло быть. Те имели возможность забирать любые документы торгпредства или, наоборот, подсовывать в торгпредские шкафы фальшивки. Агенты Скотланд-Ярда потребовали у шифровальщиков торгпредства шифры и, когда те стали сопротивляться, избили двух из них. К вечеру почти все служащие были освобождены и разошлись по домам, но полиция еще оставалась в здании и обыск продолжался до следующего дня. Агенты требовали ключи от сейфов торгпредства, но получили отказ. Тогда они привезли специалисты и стали вскрывать замки сейфов. Были вскрыты в «Аркосе» и торгпредстве и так называемые «стальные комнаты» в подвальном этаже, где хранились особо ценные предметы (в этот день они были пусты). Только 16 мая, то есть через четыре дня, полицейские отряды наконец покинули здание торгпредства и его служащие могли вернуться к нормальной работе.

Нормальной ли? Мы, в посольстве, узнали о налете через полчаса после его начала. Вестник несчастья явился в Чешем-хаус как раз в тот момент, когда здесь происходил дипломатический «ленч» и все сидели за обеденным столом. Узнав, что происходит, мы как ни в чем не бывало остались на своих местах, продолжая непринужденный разговор с гостями: нам не хотелось обнаруживать перед иностранцами наше беспокойство. Потом, посоветовавшись друг с другом с помощью записок, мы — поверенный в делах, первый секретарь Богомолов и я — немедленно приступили к действиям. Богомолов вышел из-за стола и сразу же отправился в

Фореин оффис. Здесь он заявил протест против нарушения торгового соглашения 1921 года директору Северного департамента Палэрэ (в компетенцию которого входил СССР), но последний отговорился полным незнанием о происшедшем налете. Из Фореин оффиса Богомолов отправился на Мооргэт-стрит и потребовал допуска в помещение торгпредства. Полицейские ему отказали. Тогда Богомолов поехал к начальнику лондонской полиции и в результате довольно горячего спора с ним получил возможность войти в помещение торгпредства. Богомолов, ссылаясь на торговое соглашение, потребовал немедленного прекращения обыска, но полицейский чиновник грубо в этом отказал. Тогда Богомолов поспешил вернуться в посольство и по указанию поверенного в делах позвонил секретарю министра иностранных дел с просьбой, чтобы его немедленно принял Чемберлен. Секретарь ответил, что раньше будущего утра министр не может увидеть советского представителя. Богомолов не успокоился и попросил секретаря в таком случае устроить нашему поверенному в делах немедленное свидание с кем-либо из ответственных работников Фореин оффиса; тот обещал выяснить и позвонить о результатах в посольство. Однако, не дожидаясь звонка секретаря, Богомолов сел с поверенным в делах в машину и отправился в Фореин оффис. Когда четверть часа спустя они оказались в министерстве иностранных дел, то не нашли там никого: не только не было ни одного ответственного сотрудника, но даже секретарь министра исчез. Было совершенно ясно, что Фореин оффис играет в прятки, предоставляя свободу действий Джойнсону Хиксу.

Чемберлена наш поверенный увидал только на следующее утро и вручил ему резкую ноту протеста.

Здесь я должен сделать одно разъяснение, без которого многое будет неясно в ходе событий, связанных с пресловутым «налетом на «Аркос» — такое наименование получил весь этот эпизод. В здании на Мооргэт-стрит, 49, как я уже говорил, помещались два учреждения: торгпредство СССР и акционерное общество «Аркос», у каждого из них были свои, точно обозначенные комнаты; «Аркос», в котором участвовал советский капитал, но который юридически был оформлен как английская торговая компания, никаких дипломатических привилегий не имел, и лондонская полиция чисто юридически имела право производить обыск в «Аркосе», но не имела права делать то же в торгпредстве, которое, как уже упоминалось, пользовалось дипломатической неприкосновенностью. На этом различии основывалась формальная сторона наших протестов, которые дополнительно еще подкреплялись ссылкой на статью 1-ю торгового соглашения, запрещающую всякую дискриминацию в отношении советской торговли: ведь всякому было очевидно, что налет на «Аркос» и торгпредство был самой недопустимой формой такой дискриминации. Мы также указывали, что поскольку обыск на Мооргэт-стрит производился полицией не в присутствии советских служащих, полиция могла подбросить в шкафы и сейфы наших торговых учреждений какие-либо «компрометирующие материалы».

Вообще вся картина налета оставляла впечатление, что он был организован поспешно, грубо и притом лицами, мало знакомыми с дипломатическими вопросами: иначе соответственные инстанции не дали бы письменного приказа об обыске не только «Аркоса», но и торгпредства, что было явно незаконно.

Почти одновременно с лондонским посольством Советское правительство в Москве вручило английскому поверенному в делах Ходжсону очень резкую ноту протеста.

В Англии события на Мооргэт-стрит вызвали большое волнение. В рабочих кругах господствовало глубокое возмущение действиями правительства, и Генсовет тред-юнионов направил Болдуину письмо, в котором высказывал решительное их осуждение. Зато большая часть консервативной прессы кричала о «большевистских интригах» и требовала немедленного разрыва с Москвой. В парламенте произошел ряд стычек между министром внутренних дел и представителями лейбористской оппозиции. Помню, однако, как поразила меня тогда крайняя умерен-

ность выступлений этой оппозиции: она не сделала ни малейшей попытки вынести весь вопрос за стены парламента и организовать массовую кампанию протеста против столь опасного шага.

Что искали на Мооргэт-стрит организаторы налета?

Судя по всему происходившему накануне, можно было заключить, что они рассчитывали найти в «Аркосе» и торгпредстве материалы, которые могли быть представлены как избобличающие их в «коминтерновской» деятельности. Если бы это удалось, то сразу был бы поднят страшный вой о том, что советские торговые организации, мол, служат ширмой для прикрытия подрывных акций против Англии и Британской империи.

Пять лет спустя, когда я вернулся в Лондон в качестве посла, Макдональд — тогда премьер коалиционного, а по существу консервативного правительства — в разговоре со мной даже утверждал, будто бы такие «компрометирующие» торгпредство и «Аркос» материалы действительно находились в помещении, но за день до налета были вывезены отсюда. Макдональд ругал при этом Джойнсона Хикса за его плохую работу. Все это были чистейшие выдумки, что я и не преминул разьяснить Макдональду (хотя сомневаюсь, чтобы он сам этого не понимал).

Когда обнаружилось, что никаких «коминтерновских» материалов в «Аркосе» и торгпредстве нет, министерство внутренних дел, желая как-либо прикрыть свой провал, спешно, на ходу, во время самого обыска (ведь он продолжался четыре дня!) пустило в оборот другую версию. Теперь оказывалось, будто бы незадолго до налета из британских государственных архивов был похищен важный «документ крайне секретного характера» и будто бы этот документ находился в сейфе торгпредства. Так как, однако, агенты Скотланд-Ярда не обнаружили на Мооргэт-стрит и такого документа, то легенда о шпионской деятельности советских торговых организаций тоже расяслась.

В итоге разыгрался всемирный скандал, в котором фигура Джойнсона Хикса выглядела смешно и позорно. Но теперь для британского правительства в целом создалась именно такая ситуация, о которой мечтали «экстремисты». По соображениям престижа — как в самой Англии, так и за ее пределами — оно не могло отступить и вынуждено было сделать то, против чего еще недавно возражали его более трезвые члены: оно приняло решение о разрыве отношений с СССР.

На заседании палаты общин 24 мая 1927 года Болдуин заявил, что советские торговые учреждения занимаются шпионажем (повторена была легенда об исчезновении секретного документа) и что у двух торгпредских шифровальщиков будто бы были найдены документы, позволяющие им поддерживать тайную связь с компартиями Англии, США, Мексики, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Южной Америки. Далее премьер с особой силой обрушивался на деятельность Советского правительства в Китае, которую он рассматривал как нарушение англо-советского торгового соглашения 1921 года. Основываясь на всем этом, Болдуин предлагал палате разорвать экономические и политические отношения с СССР.

На следующий день, 25 мая, наш поверенный в делах опубликовал контрзаявление, в котором категорически отрицал шпионскую деятельность советских торговых учреждений и давал ясно понять, что документы, якобы найденные у двух шифровальщиков, на самом деле были подброшены английской полицией во время обыска.

Парламентские прения продолжались 26 мая. Лейбористы потребовали создания специальной комиссии для расследования обвинений, выдвинутых правительством против СССР, но им в этом было отказано. Ллойд-Джордж, а также Артур Понсонби (заместитель Макдональда по Форейн оффису в лейбористском правительстве), Герберт Моррисон и другие лейбористские лидеры решительно выступили против разрыва отношений. Тем не менее палата большинством в 367 голосов против 118 приняла резолюцию, предложенную правительством.

Двадцать седьмого мая Остин Чемберлен направил советскому посольству ноту, датированную 26 мая, в которой он сообщал о состоявшемся решении и да-

вал десятидневный срок для ликвидации дел и выезда из Англии всего состава служащих советских учреждений. ↑

Советское правительство ответило нотой от 28 мая, врученной британскому поверенному в делах в Москве, где оно протестовало против действий правительства Болдуина. Обращаясь к мотивам, побудившим британское правительство к его авантюристическому шагу, оно заявило:

«Для всего мира совершенно ясно, что основной причиной разрыва является поражение политики консервативного правительства в Китае и попытка прикрыть это поражение диверсией в сторону Советского Союза, а ближайшим поводом — желание британского правительства отвлечь общественное внимание от безуспешности бессмысленного полицейского налета на «Аркос» и торговую делегацию и вывести британского министра внутренних дел из того скандального положения, в которое он попал благодаря этому налету»¹.

В заключение в ноте выражалась, однако, твердая уверенность, что не за горами то время, когда народ Великобритании найдет пути и средства для установления нормальных дружеских отношений с Советской страной.

В эти дни произошел один характерный инцидент, еще небывалый в политической истории Великобритании. 27 мая, как раз в день вручения советскому послу ноты о разрыве отношений, руководящие лица лейбористской партии и Генсовета тред-юнионов устроили в ресторане парламента «ленч» в честь дипломатического состава советского полпредства и торгпредства. Это была политическая демонстрация, направленная против правительства. «Твердолобые» были в бешенстве и требовали от лидеров оппозиции отмены «ленча». Однако те на этот раз устояли, и «ленч» состоялся. «Твердолобые» пытались поставить вопрос в парламенте о противозаконности подобной демонстрации, но спикер отказался принять жалобу, заявив, что не в обычаях палаты заниматься расследованиями, кого ее члены приглашают к себе в гости.

Вообще разрыв англо-советских отношений не вызвал в стране желательной для «твердолобых» реакции. Не только лейбористско-трэд-юнионистский лагерь, но и либералы, в то время еще представлявшие крупную силу, также были противниками разрыва. Выступая 27 мая на одной демонстрации, Ллойд-Джордж сказал:

«Устроить дипломатический разрыв с одной из величайших мировых держав — не такой подвиг, по поводу которого можно было бы бросать шалки вверх... Почему они (правительство. — И. М.) довели дело до ссоры? Откровенно говоря, они вовсе не намеревались так поступить. Они просто скользили по наклонной плоскости и, наконец, свалились в яму. Это была чисто полицейская акция. Было допущено, что министр — глава полиции — стал фактически управлять нашей внешней политикой, а это оказалось ему совсем не по плечу. Нам пришлось принимать решение, самое серьезное с августа 1914 года, и, однако, кабинет ни разу не был созван, чтобы решить, какой шаг следует сделать. И все-таки было решено разорвать отношения со ста пятьюдесятью миллионами самых стойких и крепких людей на земле»².

В такой обстановке даже Джойнсон Хикс вынужден был 2 июня 1927 года, накануне отъезда советского полпредства из Англии, заявить в парламенте:

— Правительство не имеет намерения ставить какие-либо препоны торговле между Россией и Англией, и русские, желающие приехать сюда в целях развития действительно законной торговли, будут иметь для этого такие же возможности, какие обеспечиваются иностранцам всех других национальностей.

Министр внутренних дел никак не терял надежды на то, что наше государство откажется от одного из своих устоев — монополии внешней торговли.

Покидая Англию, советские «купцы» аккуратно рассчитались с британскими фирмами по своим обязательствам за товары и заказы, но, конечно, не имели

¹ «Известия», 29 мая 1927 года.

² «Manchester Guardian», 28 мая 1927 года.

ни малейшего намерения развивать дальше в условиях разрыва дипломатических отношений англо-советскую торговлю.

Итак, наступило время ликвидации дел, упаковки чемоданов. Никакой суматохи в советской колонии не было. Все прекрасно понимали, что случилось, и значения событий не преувеличивали и не преуменьшали.

СССР на время разрыва передал защиту своих интересов в Англии правительству Германии (тогда еще веймарской Германии), Великобритания защиту своих интересов в СССР — правительству Норвегии.

Большая часть советских работников покинула территорию Англии 2 июня 1927 года, и как раз в этот день в стенах полпредства произошел следующий забавный случай.

Здание, в котором находилось полпредство — Чешем-хаус, — как я уже говорил, перешло к нам по наследству от царского правительства. Оно не принадлежало ему, а было арендовано на шестьдесят лет, и срок контракта кончался в 1928 году. Хозяин дома был «твердолобый», который ненавидел «большевиков» и всячески досаждал нам: присылал своих представителей для проверки состояния дома, запрещал нужные нам перестройки внутри дома, писал «строгие письма» по поводу замеченных им «беспорядков» во дворе полпредства и т. п. Мы ожидали, что теперь он вздохнет с облегчением, избавившись от столь неприятных для него квартирантов. И вдруг этот хозяин накануне отъезда полпредства (оно было назначено на 3 июня) впервые самолично явился в Чешем-хаус. Его принял Д. В. Богомолов. Хозяин с самой любезной улыбкой на устах заговорил о том, что арендный контракт истекает в следующем году, и предложил продлить его действие. В ответ на удивленный взгляд Богомолова хозяин дома, пожав плечами, заявил:

— Чего в жизни не бывает! Сегодня мы с вами в ссоре, завтра мы будем с вами в дружбе. А дом-то стоит, да и мне деньги пригодятся.

Нас, однако, не тронула житейская философия лендлорда, и предложенная им сделка не состоялась. Когда в конце 1929 года англо-советские отношения были возобновлены, советское посольство поселилось в новом здании, в том самом, где оно находится и сейчас, — в Кенсингтон Палас Гарденс, 13; оно опять-таки было арендовано сроком на шестьдесят лет, но уже Советским правительством.

Два воспоминания, связанных с нашим отъездом из Англии, особенно четко запечатлелись в моей памяти.

За два дня до этого нас с женой на прощальную встречу пригласил мой тогдашний друг Брэйлсфорд. Встреча происходила в каком-то маленьком, уютном ресторанчике в квартале Сохо. Брэйлсфорд был не один. Он впервые представил нам свою жену, молодую талантливую художницу-графика, которая, видимо, недавно стала его подругой. Звали ее Клэр Лейтон. Мы сидели за столом и беседовали. Брэйлсфорд был глубоко огорчен судьбой всеобщей стачки, неудачей углекопов, разрывом англо-советских отношений.

— Но сейчас, — говорил он, — в мире есть нечто такое, что заставляет меня с надеждой смотреть в будущее, несмотря на все наши английские неприятности. Вы знаете, я не во всем согласен с тем, что вы у себя делаете, но это второстепенно. Главное — это то, что вы существуете. От самого вашего существования выигрывают все трудящиеся земли... Я уверен, разрыв не будет продолжительным. Мы скоро вновь будем встречать советское посольство.

Я от всего сердца присоединился к мнению Брэйлсфорда.

Другое воспоминание несколько иного свойства.

В начале 1927 года я познакомился, как уже упоминалось, с Гербертом Уэллсом, и наши отношения стали быстро крепнуть. Когда я узнал о решении британского правительства разорвать отношения с СССР, я немедленно информировал об этом Уэллса. Не имея времени заехать к нему, я известил его о создавшемся положении письменно. В тот же день я получил от Уэллса ответ. Он написан был красивым бисерным почерком и гласил следующее:

«Дорогой мистер Майский, большое спасибо за присланное вами подробное сообщение. Я слышал, что в результате наших недавних грабежей со взломом вы покидаете Лондон в пятницу... Я очень огорчен. Надеюсь, однако, что в недалеком будущем мы опять встретимся — в Лондоне. Мои наилучшие пожелания мадам Майской. Искренне ваш Г. Дж. Уэллс».

Накануне нашего отъезда из Англии я зашел к Уэллсу попрощаться. Он был возмущен действиями британского правительства, честил последними словами Болдуина, Чемберлена, Джойнсона Хикса, Виркенхеда. Но больше всего его негодование обращалось против лейбористов.

— Я еще могу понять консерваторов, — говорил писатель, — они открытые враги Советской России и поступают как враги, хотя это глупо и вредно для нас самих... Но лейбористы! Ведь они со всех крыш кричат о своей дружбе к вашей стране, о большой заинтересованности рабочих в развитии англо-советской торговли, о том, что они сочувствуют успеху «социалистического эксперимента» в России. А что они сделали? По существу ничего! И не хотели!

— Почему?

— Да просто потому, что лейбористская верхушка — это мещане, которые больше всего хотят прослыть уважаемыми англичанами. А массы это терпят.

Прощаясь с Уэллсом, я сказал:

— Сейчас особая ответственность ложится на представителей культуры обеих стран. Надо хотя бы в этой области сохранить общение между Англией и СССР. Я надеюсь, что вы лично приложите все усилия для этого.

— Обещаю, — живо откликнулся Уэллс, — обещаю! За мной дело не станет!

Отъезд полпредства из Англии состоялся 3 июня 1927 года (за день до окончания предоставленного нам десятидневного срока) и превратился в большую политическую демонстрацию. На вокзале Виктория нас провожала огромная толпа народа, в которой были и лидеры рабочих организаций — Артур Гендерсон, Джордж Ленсбери, Уолтер Ситрин, Бен Тиллет и другие. Конечно, не было ни Макдональда, ни Сноудена. При появлении советских дипломатов на платформе раздались рукоплескания и возгласы:

— Да здравствует Советская Республика!

Потом кто-то запел «Интернационал». Сотни голосов его подхватили, и звуки пролетарского гимна долго перекачивались под сводами вокзала. Наши женщины были буквально засыпаны цветами. Эмоциональный Ленсбери вдруг бросился мне на шею, и мы, ко всеобщему изумлению англичан, обменялись поцелуями. Эти поцелуи стали потом сенсацией прессы, непривычной к столь «русской» форме выражения дружеских чувств, да еще со стороны англичанина. Когда прозвенел свисток кондуктора и поезд начал медленно двигаться вдоль перрона, кто-то громко крикнул:

— Вы скоро вернетесь!

Толпа гулко поддержала:

— Да, да!

Это было торжественно и многозначительно. Сообщая об отъезде советских представителей из Лондона, даже «твердолобая» «Морнинг пост» писала: «Лейбористские друзья устроили им (русским. — И. М.) такие проводы, какие устраивают великолепным и героическим союзникам».

Прощальный возглас «Вы скоро вернетесь!» оказался пророчеством: два с половиной года спустя, в конце 1929 года, посольство Советского Союза вновь появилось в Лондоне.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Ковский. Дагестан Абу-Бакара.— **Е. Старинова.** Старости у них не было.—
В. Жданов. Новый альманах.— **Л. Лазарев.** Не только для детей...—
Л. Поляк. Большая жизнь.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Т. Смирнов. Знание против предрассудка.— **Э. Беляев.** Свободное время: его объем и использование.— **В. Савин.** Парламентаризм на современном этапе.— **Э. Рабинович.** Второй закон термодинамики и человечество.

Литература и искусство

ДАГЕСТАН АБУ-БАКАРА

Ахмедхан Абу-Бакар. Ожерелье для моей Серминаз. Повесть. «Знамя», №№ 1—3, 1967.

Ахмедхан Абу-Бакар выступает в литературе сравнительно недавно, но «Ожерелье для моей Серминаз», последовавшее за повестью «Снежные люди», подтверждает его репутацию как писателя со сложившимся творческим почерком, собственной темой и своеобразным художественным восприятием мира.

Перед нами снова Дагестан во всем своеобразии его национального, этнографического и природного колорита, снова живописные горные аулы и щедро наделенные различными галантами жители их. Писатель продолжает язвительно высмеивать остатки национальной ограниченности, все еще принимаемые кое-кем за признаки национальной самобытности.

Герой повести юноша Бахадур влюблен в девушку Серминаз, мастерицу из своего же аула. Чтобы добиться ее благосклонности, он должен преодолеть немало препятствий. Во-первых, Бахадур принадлежит к роду, испокон веков враждующему с родом Серминаз, хотя никто уже не может вспомнить причин этой вражды. Во-вторых, по аулу проносится слух, что у девушки есть

ребенок. И в-третьих, «юноша, признавшийся в том, что нашел избранницу и готов заслать сватов, должен немедленно отправиться в долгое скитание, чтобы найти невесте подарок».

Все три задачи, которые по сюжету предстоит решить герою, связаны, как видим, либо с преодолением национальных предрассудков, либо с переосмыслением обычаев: надо предать забвению бессмысленную роковую вражду; надо отказаться от впитанного с молоком матери убеждения, что женщина, уже любившая другого мужчину и не соединенная с ним законным браком,— падшее, недостойное существо; надо найти такой подарок, в котором не осталось бы даже следов материального «выкупа» за невесту, а выдвинулась бы на первый план и очистилась от всяческих примесей идея прекрасного, радости, доставляемой «взору и сердцу» любимой.

Высмеивание родовой вражды, разгоревшейся, как в итоге выясняется, между предками Бахадур и Серминаз в незапамятные времена из-за смехотворного спора, напоминающего знаменитую гоголевскую исто-

рию об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче; история любви, нелегко побеждающей предрассудки; изображение множества действительно сложных ситуаций, возникающих опять-таки на почве традиций (например, гость должен защищать своего кунака, прав тот или не прав), — все это завершается в финале повести серией остроумных сюжетных поворотов, знаменующих полное крушение многих привычных для горцев представлений: вместо драгоценного изделия ручного ремесла герой дарит невесте кипу исписанной бумаги — повесть о собственных скитаниях, а его соперник, бесспорный победитель традиционных состязаний женихов, вопреки воле родителей отказывается от своей победы.

Многообразная, подчас гневная, а подчас и просто задорно-озорная полемика, которую автор непрерывно ведет со своими подразумеваемыми противниками, умело оттенена в повести Абу-Бакара ненавязчивым, но выразительным изображением тех новых черт действительности, представлений, привычек, которые прочно проникли сегодня в жизнь и самый духовный облик горцев.

В пейзаж Дагестана вторглись железные дороги; водонапорные башни выросли выше самых высоких ореховых деревьев; люди, толпящиеся у асфальтированной посадочной площадки в горах, смотрят на вертолет вполне буднично: их гораздо больше интересует живописная скала, вздымающаяся рядом, — и это соединение нового со старым создает порой весьма забавные эффекты. Если на вопрос о погоде и будущем урожае горцы в прежние времена обязательно бы ответили: «Как аллах рассудит», — ныне они говорят: «Сяды-то застрахованы». А пожилой кубачинец, увы, до сих пор определяющий, за кого выдать дочь, по ценности жениховских подарков, нюхает ингалятор и ворчит: «Искусственные легкие создаем, а грипп лечить не можем».

Дагестан Абу-Бакара многими нитями связан со всем миром: Бахадур упоминает о своем участии в нескольких международных выставках, Даян-Дулдумур расписывает узорами серебряный рог для итальянского друга, а жена канатоходца Сугури доводит ревинница-мужа до иступления тем, что без его согласия уезжает с ансамблем «Лезгинка» на гастроли в Париж.

Вместе с тем «Ожерелье для моей Серминаз» опирается на прочные фольклорные традиции. Сюжет повести напоминает комически переосмысленные сюжеты народных преданий: герой в поисках прекрасного путешествует по свету, претерпевая различные приключения, в которых раскрываются и его характер, и авторская идея, и сама действительность, преображенная художественной фантазией. Только «свет» в данном случае ограничен одной небольшой горной страной, ничего фантастического в происходящих событиях нет, а приключения героя отнюдь не героичны. Перед нами классический образ неудачника (байтарман — «непутевый» — называют Бахадура родственники), в итоге оказывающегося, опять-таки по канонам сказки, самым счастливым, находчивым и умным среди окружающих его персонажей.

Живописуя своего Бахадура с неиссякаемой, но неизменно доброй усмешкой, автор создает тем не менее образ вовсе не фарсовый. Чистый, поэтичный, бескорыстный и наивный этот юноша, постоянно переступающий через традиционные запреты, олицетворяет темпераментный и бескомпромиссный дух своего народа, своей страны — страны суровой и нежной, оваянной отзвуками великих битв и прекрасных преданий; страны, где что ни аул — то свое ремесло и где что ни народ — то свой язык. И в то же время — страны удивительной целостности, той общности национальной жизни, при которой все знают друг друга, встречаются, как друзья, так что, положим, «милицейский майор Максуд» не менее известен людям, чем «высекающий из слов искры» поэт Расул, сын Гамзата.

Повесть Абу-Бакара, конечно же, не лишена художественных несовершенств. Ей еще далеко (во всяком случае в журнальном варианте) от ювелирного мастерства соплеменников автора — златокузнецов из аула Кубачи. Подчас повествование теряет «темп», становится явно затянутым, подчас напротив — «информационный материал» не успевает обрести художественной плотью и сообщается скороговоркой. Особенно декларативными и как-то выпадающими из общего тона повести выглядят экскурсы в историко-революционное прошлое.

Тем не менее мы уверены, что недостатки «Ожерелья» не помешают читателям встретить своеобразное произведение Абу-Бакара так же, как встретили слушатели пода-

рок Бахадура — и одобрением, и «веселым смехом», и раздумьями. Оно действительно заслуживает и добрых слов, и доброй улыбки. Может быть, стоит высказать только одно опасение: становящийся уже традиционным для Абу-Бакара интерес к темам, мотивам и образам, сообщающим его повестям дух жизнерадостности, легкости, остроумия, беззаботного веселья, — не задержи-

вает ли он выход писателя в мир более широкой, значительной и острой социальной проблематики? Хотелось бы думать, что «Ожерелье для моей Серминаз», достойно завершая определенный период творческого развития Абу-Бакара, далеко не исчерпало возможностей талантливого писателя.

В. КОВСКИЙ.

★

СТАРОСТИ У НИХ НЕ БЫЛО

Татьяна Комарова. Старости у меня не будет... История одной жизни.
Ростовское книжное издательство. 1967. 128 стр.

Старости у них не было. Не было ее ни у Когана, ни у Кульчицкого — поэтов, учившихся в Литературном институте и занимавшихся в семинаре Ильи Сельвинского вместе с Еленой Ширман, о которой написана эта маленькая книжка — документальная и лирическая одновременно. Впрочем, если бы все они, бывшие перед войной студентами и погибшие в войне, прожили еще четверть века и дожили до наших дней, старости у них все еще не было бы. Елена Ширман была расстреляна немцами в родной донской степи в августе 1942 года, когда ей было не больше тридцати.

Два десятилетия спустя одна из ее одноклассниц и друг ее юности по крохам соберет оставшиеся документы — письма, стихи, дневники, фотографии, — связанные с историей жизни Елены Ширман. И объединит их своими воспоминаниями и размышлениями. А Илья Сельвинский напишет послесловие к книжке Татьяны Комаровой.

«Порою мне трудно отделить свою жизнь от жизни Лены, — рассказывает Татьяна Комарова. — Бывают годы такого интенсивного духовного напряжения, когда свое, индивидуальное, становится общим: биографией поколения».

Жизнь этого поколения пала на время, которое не располагало к хранению личных архивов и эпистолярных свидетельств. К тому же нас отделяет от гибели Елены Ширман огненный вал войны, в котором сгорала не только бумага. Потому-то особенно заинтересованно, тревожно и любовно воспринимаются сегодня все подлинные документы нашей собственной эпохи — эти фотографии мальчиков в пилотках и фуражках, с кубиками в петлицах, эти

обязательные мужественные улыбки девочек, эти отважные и честные стихи, опубликования которых не дождалась их авторы, дневники и письма, выразившие высочайшую нравственную требовательность к себе и тягу к вершинам духовной культуры...

С рассказа о веселой юности в жарком и шумном Ростове начинаются воспоминания Татьяны Комаровой, когда семнадцатилетняя Лена Ширман и автор книги о ее жизни считали себя активными членами Добродона — общества любителей Дона и стихов. «Чтобы стать членом этого общества, надо было совершить по крайней мере три подвига: переплыть Дон, разжечь костер одной спичкой и прочитать наизусть десять стихотворений Светлова, Багрицкого и Сельвинского».

Елена Ширман рано начала литературную и журналистскую работу. А в 1930 году она учительствует в глухом степном совхозе, живет в полевой бригаде среди «злых, грязных и веселых трактористов». Потом организуется «Юниана» — литературный кружок при Сельмаше, руководителем которого становится Елена Ширман. Для нее это была не просто работа, но — судьба, призвание, духовное детище и душевное прибежище. Впрочем, в большей или меньшей степени такой становилась для нее всякая работа. И это уже черта характера. И свойство психологии времени.

Памятную зиму 1939/40 года Елена Ширман проводит в подмосковном общежитии в качестве студентки Литературного института. Но в нищенском быте, в гордом и веселом стремлении вопреки ему жить высокоинтеллектуальной жизнью, в письмах любимому человеку в армию — во всем

уже предзнаменование трагического грядущего. И, наконец, война. Снова Ростов. Рытье окопов. Голод. Страх за родителей-стариков. И трогательные попытки даже и сейчас — до самого конца — сохранить не только верность, но и волю к духовному совершенствованию. И гордость за порученную «военную» работу — редактирование сатирического листка «Прямой наводкой». И бодрость, бодрость во что бы то ни стало. И только в последних стихах, хватаящих за душу своей предельной искренностью (обращенных к любимому, уже убитому, и так самой ею, еще живой, и названных последними), — неумная боль и попытка безжалостной самооценки: «Я всю жизнь пыталась быть мужественной, я хотела быть достойной твоей доброй улыбки или хотя бы твоей доброй памяти...»

И потом быстрый, как всегда, неожиданный и простой финал драмы: немецкий грузовик, наполненный стариками, женщинами и детьми, — и среди них улыбающаяся Елена Ширман. Так свидетельствуют случайные очевидцы. Она улыбалась, чтобы легче было тем, кто был с нею.

«Почему я хочу рассказать о Лене Ширман? Как объяснить это? В сущности, она не совершила ничего героического», — таким вопросом начинает книжку Т. Комарова. «Разве можно сказать, что она не совершила ничего героического?! Человек

замолчал. Ни разу не заговорить с чудовищным врагом — это ли не подвиг? Разве это не значило идти на смерть? Погибнуть героически! А что она могла сделать?» — спорит с автором на последних страницах книжки один из ее невыдуманных персонажей — фронтовик-разведчик И. Смирнов. Подвиг или не подвиг? В конце концов это только вопрос классификации. Жила как человек. Умерла как человек. А стараниями и любовью Татьяны Комаровой перед нами раскрылась в фактах и документах картина души, созданной и воспитанной своим временем для бескорыстной жертвы, которую потребовала от таких, как она, история. Пренебрежение к материальным благам, возведенное в принцип жизни, аскетическое презрение к быту, ставшее символом веры, стремление во всем поступить собственным «я» ради «мы» при высочайшей ответственности перед этим «я» — эти качества молодой предвоенной интеллигенции были нравственным ферментом в великом военном подвиге народа. Об этом неоспоримо напоминают такие невыдуманные, трудно создаваемые и трудно издаваемые книжки, как «История одной жизни», написанная Татьяной Комаровой в Москве уже несколько лет назад и только в 1967 году увидевшая свет в Ростове.

Е. СТАРИКОВА.



НОВЫЙ АЛЬМАНАХ

Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». М., т. 1, 1966, 367 стр.; т. 2, 1967, 368 стр.; т. 3, 1967, 432 стр.; т. 4, 1967, 432 стр.

Уже четыре книги нового альманаха, носящего столь звучное имя, стоят на книжной полке. Скоро к ним прибавится пятая. Но и первых выпусков довольно, чтобы судить о характере нового издания, о том, как осуществляется замысел редакции серии «Жизнь замечательных людей». Как указано в предисловии к первой книге, новый альманах, не входя в основную серию, тем не менее примыкает к ней и является «ее дополнением и лабораторией».

«Страницы «Прометей», — пишет редакция, — знакомят молодого читателя с биографиями и отдельными эпизодами из жизни множества людей — великих и обыкновенных, широко известных и совсем забы-

тых; они сделают доступными массовому читателю новые архивные документы, неопубликованные или затерявшиеся в старых журналах произведения, редкие гравюры, портреты и фотографии...» Редакция намерена публиковать короткие научные исследования, сообщения об интересных находках, открытиях и гипотезах, а также неизданные произведения из архивов писателей.

Нельзя не признать эту обширную программу весьма заманчивой. Возникает мысль, как справится редакция с такой сложной задачей, сумеет ли найти свои методы подачи материала, обрести свое лицо, непохожее на облик других, близких или

родственных, изданий. Ответ рождается уже при беглом просмотре вышедших томов «Прометей» — самые различные круги читателей, любители литературы и истории, ценители мемуаров, дневниковых записей, писем и других биографических документов, литераторы, занятые — теоретически или практически — разработкой биографического жанра, — все они найдут на страницах нового альманаха множество разнообразных материалов, подобранных и подобранных со знанием дела, со вкусом, с увлечением. Обращает на себя внимание высокая культура редакционного и полиграфического оформления альманаха. Много рубрик, ориентирующих в материале, обилие иллюстраций (фотографии, рисунки, гравюры, автографы), изобретательная верстка и выразительные заставки — все это, вплоть до четкого и приятного для глаза шрифта, говорит о серьезной и вдумчивой работе.

Внешние особенности издания хорошо выражают его сущность, стремление привлечь и увлечь читателя (прежде всего молодого), открыть для него неведомые или забытые страницы русской и мировой культуры, избежав при этом всякой сухости, казенности, ложного академизма. Стотысячный тираж «Прометей» подтверждает, что он нашел своего читателя (хотя читатель далеко не всегда может найти новую книгу альманаха: он расходуется мгновенно).

Несмотря на то, что редакция весьма широко понимает основные принципы издания, его родственная близость к биографической серии «Жизнь замечательных людей» ощущается постоянно. Несомненно, что именно с этим связан тот главный угол зрения, который помогает редакции по-своему просматривать события прошлого и нового времени — вплоть до современности. Этот угол зрения определен человеком как главным персонажем истории. Взгляд на историю через человека-деятеля, через его жизнь, его биографию — в этом, вероятно, и состоит гот внутренний стержень, который скрепляет, связывает воедино разнообразные публикации альманаха, позволяет им существовать под одним переплетом.

На первый взгляд может показаться несколько неожиданным прямое соседство в книге совершенно разных по своей тематике материалов. К примеру, один из разделов первого тома открывается записками летчика-испытателя М. Галлая о его встречах с авиационным конструктором С. Ла-

вочкиным, но в этот же раздел входят и воспоминания о последнем годе жизни А. Луначарского, и мемуарные заметки К. Чуковского. В другом разделе соседствуют забытая речь Луначарского «Ленин и молодежь», новые материалы о Марии Волконской и Пушкине, работа И. Кашкина о Хемингуэе, неизвестное письмо Герцена к Карлу Шурцу, участнику революционно-демократического движения в Германии и гражданской войны в США. Пестро? Конечно, но думается, что в этом нет большой беды. Ведь первый из упомянутых разделов озаглавлен «Дневники. Воспоминания», второй называется «Очерки. Статьи. Портреты». И пусть внутри разделов печатаются вещи, тематически далекие друг от друга, пусть здесь чередуются история и современность, исследование и публицистика, эссе и очерк... Чем-то даже привлекательна эта свобода в отборе и расположении материалов — лишь бы они были интересны и значительны по существу, лишь бы не выглядели случайностью или «самотеком». Но в этом никак нельзя заподозрить упомянутые работы и публикации.

Как всегда, интересен К. Чуковский, заметки которого озаглавлены «Что вспомнилось». Здесь, кроме любопытных сведений об истории «Чукоккалы», читатель найдет стихотворные экспромты Е. Шварца, В. Качалова, Б. Пастернака, П. Яшвили и особенно много — С. Маршака. В своей обычной непринужденной манере живого рассказа Чуковский сообщает множество подробностей об А. Исаакяне, С. Маршаке, М. Зощенко, художнике М. Добужинском и многих других.

Можно уловить некоторую общность между такими разными публикациями, как «Мария Волконская и Пушкин» Т. Цявловской и «Век нынешний и век минувший» Н. Эйдельмана. Основу той и другой работы составляют новые материалы: в первом случае — сибирские письма известной декабристки к В. Ф. Вяземской, обнаруженные в архиве и переведенные с французского, во втором — письма М. К. Рейхель, друга Герцена, содержащие немало важного и о нем самом, и о русской жизни нескольких десятилетий. Но поданы эти материалы отнюдь не академично и не стандартно — они включены в текст историко-литературных очерков, живо написанных, интересных для широкого круга читателей, может быть и малоподготовленных. Так, публикуя пись-

ма Волконской, Т. Цявловская не ограничивается сухими пояснениями имен и фактов, а с их помощью развертывает картину отношений между Пушкиным и Волконской, напоминает и о том, какое отражение нашел образ этой выдающейся женщины в пушкинских творениях. Попутно мы узнаем, что га, «с которой образован Татьяна милый идеал», обладала незаурядным литературным вкусом, интерес к литературе не покидал ее даже в Сибири, куда Пушкин и Вяземский послали ей книги и «Литературную газету» Дельвига. В очерке справедливо отмечено, что суждения Волконской следует рассматривать как мнение довольно широкого круга ссыльных декабристов (им было запрещено писать письма). В своем отзыве о только что прочитанном в 1831 году «Борисе Годунове» Волконская прямо говорит, что он «вызывает наше общее восхищение, по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости...». Неясно только, почему автор очерка считает, что на фоне критики того времени, как известно, не сумевшей по достоинству оценить «Бориса», этот отзыв «выделяется своим безоговорочным восхищением трагедией» — ведь в том же письме сделаны явные оговорки: «...но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая очаровывала меня прежде...» и т. д.

В результате анализа новых писем Т. Цявловская приходит к выводу, что Мария Волконская в сибирский период жизни сознательно взяла на себя роль того звена, которое связало политических каторжан-декабристов с великим певцом свободы — Пушкиным.

Думается, что редакции альманаха удалось найти свой тип публикации историко-биографических документов и тем самым избежать упреков в дублировании работы других научно-исторических изданий (например, «Литературного наследства»). Среди публикаций этого рода одно из первых мест принадлежит работе Л. Гроссмана «Роман Нины Заречной». Можно было просто опубликовать забытые письма Лики Мизиновой к Чехову с необходимыми комментариями. Но Леониду Гроссману эти письма послужили поводом для художественной реконструкции многих страниц недавнего прошлого. Покойный ученый создал «роман-исследование» (выражение И. Андроникова, автора предисловия к нему), в пределы которого уместилась не

только судьба его главной героини, но и культурная жизнь чеховского времени с ее идейными столкновениями, художественными исканиями, удивительными талантами.

Перед нами проходят фигуры Чехова, Левитана, Потапенко, Комиссаржевской, Качалова, Шаляпина, Саввы Мамонтова, так или иначе вовлеченных в жизненную драму героини. Автор незаметно вводит нас в художественную атмосферу времени, свободно рисует эпизоды театрально-музыкальной жизни, воссоздает сценическую историю чеховских пьес, тонко раскрывает их новаторскую природу. Отношения между Чеховым и Ликой Мизиновой интересуют исследователя не только в биографическом плане, но прежде всего потому, что с ними в значительной мере связан замысел одного из шедевров русской драматургии. Отвергая примитивные представления о прототипе Нины Заречной, автор показывает, как в сюжетном построении «Чайки», в некоторых чертах ее героини отразились и судьба и характер той женщины, которая на протяжении многих лет была близка Чехову. Теперь очевидно, что письма ее, искренние и полные драматизма, послужили одним из важных первоисточников «Чайки».

Редакция обещала знакомить молодых читателей с биографиями и отдельными эпизодами из жизни самых разных людей. Обещание это выполняется. В альманахе напечатано несколько крупных биографических работ советских литературоведов. Это прежде всего главы из незавершенной книги И. Кашкина о Хемингуэе, охватывающие немалый период — от десяти лет будущего писателя до середины тридцатых годов. О работе И. Кашкина уже писалось в «Новом мире». Шаг за шагом развертываются перед читателем страницы большой и бурной жизни, и мы напряженно следим за движением этой жизни, ибо вместе с нею движется сама история, увлекающая в свой круговорот и людей, и книги, и события.

Другое «начало» большой биографии альманах посвятил Герцену — это главы из книги Л. Чуковской, рисующие первые десятилетия жизни великого революционера, великого писателя. Повествование доведено лишь до конца тридцатых годов, до владимирской ссылки включительно. Задача автора биографии Герцена — не из легких. Наличие такой книги, как «Былое и думы», конечно, во многом облегчает, но, думает-

ся, в то же время и существенно осложняет положение биографа. Рисуя черты молодого Герцена, энергичными штрихами набрасывая мрачный облик николаевской эпохи, той самой крепостнической действительности, в условиях которой формировался его ум и характер, автор подробно воспроизводит духовную жизнь своего героя и особенно тщательно — его чувства, историю его отношений к невесте — Н. А. Захарьиной, как они отразились в письмах из ссылки. Тема молодого Герцена по сути дела исчерпана, и автор расстается со своим героем на пороге нового и куда более сложного этапа его жизни.

Тема русского революционного движения — одна из главных в альманахе. Третий его выпуск почти целиком посвящен этой теме. Перед нами в разных очерках и публикациях возникают разнообразие картины, факты, эпизоды: восстание на Сенатской площади в декабре 1825 года, бунт новгородских военных поселений в 1831 году, страницы необычайной жизни Степняка-Кравчинского, уточненный текст прокламации «Барским крестьянам...», написанной, по-видимому, все-таки Чернышевским, забытые революционные памфлеты Варфоломея Зайцева, события 1905 года, пребывание С. Орджоникидзе в Шлиссельбургской крепости...

Перед читателем проходят образы людей русской революции — среди них и декабрист Матвей Муравьев-Апостол, и петрашевец С. Ф. Дуров, и поэт-революционер М. Л. Михайлов, и рабочий Петр Алексеев, и революционеры-семидесятники Г. Лопатин, И. Мышкин, П. Кропоткин. Одни и те же люди по-разному показаны разными авторами. Так, многих народовольцев, героев историко-революционной повести Е. Таруты «История одной книги», мы встречаем и в превосходных мемуарах нашего современника В. В. Сухомлина («Детство на Каре»), родившегося в семье революционеров-народников и проведшего детство и юность в условиях ссылки на Каре и в Чите, среди «блестящей плеяды семидесятников», членов «Земли и воли» и «Народной воли».

Много нового содержится в историко-культурном разыскании Ю. Короткова «Поэт Михайлов, художник Якоби и другие». Автор задался целью выяснить историю двух известных современных изображений Михайлова: они не раз воспроизводились в печати, но никто не знал, кем и при

каких обстоятельствах выполнена литография, где поэта заковывают в кандалы перед отправкой на каторгу, и рисунок, где он же сидит в камере сибирской тюрьмы. Ю. Коротков убедительно доказал, что литография, нелегально ходившая по рукам в течение многих лет, выполнена художником Валерием Якоби, близким к демократическим кругам шестидесятых годов и лично знавшим Михайлова. Можно думать, что он посетил поэта в крепости и писал свою картину с натуры.

Хорошо, что редакция стремится выделить малоизученные или несправедливо забытые страницы прошлого, в частности историю революционного народничества. Более двадцати лет эта тема была весьма непопулярной в нашей науке, и только в последние годы историки восстанавливают по крупным картинам народнического движения, факты героической борьбы народников с самодержавием, вызвавшей, по выражению В. И. Ленина, «удивление всего мира». «Грометей» систематически возвращается к этой теме — и в статьях и в мемуарах (неизданные главы из воспоминаний Н. В. Шелгунова, опубликованные Ф. Кузнецовым в томе 2), и в разделе «Библиографический листок».

Своеобразный подход к освещению исторических фактов виден в заметках Н. Эйдельмана «Не было — было». Автор проследил некоторые события русского XIX века и обнаружил «две истории» николаевского царствования — явную и тайную, официальную и запретную. Первая находила отражение в газетах, журналах, манифестах, реляциях. Вторая — и более важная — не была допущена в газеты, она не могла перешагнуть порог цензуры и сохранилась лишь в письмах и воспоминаниях, в рукописях, ходивших по рукам, в стихах и эпиграммах, летавших из уст в уста, или в позднейших публикациях. «Если бы некто вздумал восстановить историю тех лет по газетам, то не досчитался бы доброй половины событий, происшедших с 1825 по 1855 год». Один из примеров — восстание военных поселений, жестоко усмиренное Николаем I. Официальная Россия объявила об этом в царском манифесте, где говорилось, что в Старой Руссе и Новгороде «восстановлен... повсеместно должный порядок». Тайная история сообщает об этом гораздо больше — в письмах современников, в том числе Пушкина, в записках непосредствен-

ного участника событий, наконец много позднее — в русской вольной печати, в «Колоколе» Герцена, который сделался как бы органом тайной истории, ее отдушиной, прибежищем всех рукописных сочинений, не признанных и гонимых историей явной и официальной.

Расхождение между явным и тайным усиливалось и обострялось к концу века вместе с обострением политической борьбы. О том, как народовольцы воевали против царизма, как они держали в страхе царских министров и самого самодержца, уже ничего нельзя было узнать из официальных источников. Зато на страницах тайной истории сохранилось немало сведений о том времени и его незабываемых людях — достаточно вспомнить хотя бы книгу Степняке-Кравчинского «Подпольная Россия» (1881), историю создания которой так подробно и с таким увлечением поведала нам в своей повести Е. Таратута. Разумеется, книга с таким названием могла появиться только за границей (впервые в Италии).

Широко представлена в альманахе ленинская тема. Среди различных материалов выделяется доклад А. Луначарского «Ленин и молодежь», прочитанный 25 января 1924 года слушателям Коммунистического университета имени Свердлова (публикация И. Саца). Любопытно сообщение Г. Хаита о поисках ранних ленинских писем. Во второй книге «Прометей» полностью воспроизведена замечательная серия зарисовок с натуры, выполненная Н. Альтманом в кремлевском кабинете вождя в апреле—мае 1920 года. Множество новых и свежих материалов, в том числе иллюстративных, редакции удалось собрать в четвертом, недавно вышедшем выпуске альманаха, целиком посвященном событиям Октябрьской революции и первых послеоктябрьских лет.

При общей высокой культуре издания, о чем говорилось выше, в альманахе все-таки встречаются некоторые недосмотры. Увы, они почти неизбежны в таком большом деле, но о них не может умолчать рецензент. Вот, например, спорят между собой два историка, опубликовавшие письма революционеров-народников Лопагина и Попова к В. Г. Короленко («Шлиссельбургцы об Ипполите Мышкине», т. 3). Они совместно написали вступительную статью к этой публикации, но разошлись по вопросу о том, был ли Мышкин атеистом. «Ошибается М. Р. Попов в ответе на вопрос о религиозности

Мышкина», — заявляет В. Антонов. «М. Р. Попов, его близкий друг, не мог ошибиться в этом вопросе», — тут же категорически возражает А. Лодыженский. Думается, что оба автора не правы или не точны в своих суждениях. Приведенные ими высказывания самого Мышкина показывают, что он отрицательно относился и к церкви и к религии. Значит ли это, что он был последователен в своем отрицании и непременно был атеистом? Конечно, нет, ибо последовательный атеизм предполагает наличие научно-материалистического мировоззрения, каким Мышкин, по-видимому, не обладал.

Но это еще не все. Увлечшись, видимо, своим спором, авторы публикации плохо прочли и плохо прокомментировали самые письма. Они даже не указали, откуда взялись и где, в каком архиве хранятся эти документы (случай, кажется, единственный в альманахе). Они проявили непонятное недоверие к тем, чьи письма взялись комментировать. Один из примеров — Лопатин в 1908 году пишет Короленко: «Точной даты приключения Мышкина не знаю» (речь идет о попытке организовать побег Чернышевского с каторги). Кажется, спорить тут не с чем, автору письма виднее. Однако публикаторы не согласны, они заявляют во вступительной статье, будто бы это утверждение «не соответствует истине», потому что тридцать лет назад Лопатин точно знал, когда Мышкин ездил в Сибирь. Так ведь то было тридцать лет назад! Но самое смешное, что и в 1908 году вопреки вступительной статье память не изменила Лопатину: здесь же он прямо указывает, что поездка Мышкина состоялась, «вероятно, летом и осенью» 1875 года. Он только не знает «точной даты» (кстати, он не знал ее и тридцать лет назад, что видно из контекста; см. стр. 256).

В публикацию включено факсимильное изображение первых страниц писем Попова и Лопатина. Ох, не надо было этого делать! Теперь каждый читатель легко может убедиться в том, сколь ненадежны текстологические приемы наших авторов. Автограф читается легко. Путем простого сличения его с печатным текстом писем устанавливаем, что этот последний пестрит мелкими неточностями. Впрочем, некоторые из них не так уж мелки. Невооруженным глазом видно, что письмо Попова датировано 4 октября; в печатном же тексте почему-то появляется 7 октября. Письмо Ло-

патина датировано: 18.I.08; текстологи вместо этой точной даты указывают: «Январь 1908 г.». Почему? И еще: Попов, сидевший в камере Шлиссельбурга неподалеку от Мышкина, пишет: «Пред казнью Мышкин мне простучал...» (см. автограф). В печатном тексте читаем: «Пред казнью Мышкин мне постучал...» Совсем не то!

Встречаются в сборниках и кое-какие неточности. Прокламация шестидесятых годов «К молодому поколению», составленная Н. В. Шелгуновым и распространенная М. Л. Михайловым, в одном месте названа почему-то «Молодой Россией» (т. 3, стр. 122). В интересном очерке М. С. Альтмана «Из истории имен, фамилий и прозвищ» приведена цитата из книги некоего Николая Найденова «Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном» (1903), где мемуарист рассказывает о происхождении своей фамилии. Все это хорошо, непонятно только, почему автор очерка считает этого безвестного Найденова автором известной пьесы «Дети Ванюшина»? Для этого нет никаких оснований, даже имена двух Найденовых не совпадают, не говоря уже о том, что фамилия драматурга — Алексеев, а Найденов — его псевдоним.

★

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ...

В. Драгунский. Рыцари и еще 57 историй. «Советская Россия». М. 1968. 334 стр.

Как-то в электричке я наблюдал такую сцену. Мальчик лет двенадцати, читая книгу, хохотал до слез. Просто закатывался от смеха, привлекая к себе всеобщее внимание. Родители, недовольные неприличным, как им казалось, поведением сына, старались ему потихоньку что-то втолковать. Мальчишка затихал ненадолго, потом опять начинал хохотать все громче и громче. «Нет, вы сами почитайте. Во дает! Посмотрите...» — оправдывался он перед родителями, одернувшими его уже построже. И они со снисходительной улыбкой тоже склонились над книгой. Через минуту смеялись и они. Им было очень неловко перед соседями, они смущенно оглядывались, но удержаться от смеха не могли.

Я посмотрел, что за книгу читает мальчик, — это были рассказы Виктора Драгунского о Дениске...

Рассказы эти издаются неизменно с гри-

фтом: «Для детей младшего школьного возраста», хотя сейчас их уже читают и ребята, давно вышедшие из этого возраста, и взрослые. Правда, взрослые при этом испытывают некое смущение, как родители того мальчика в электричке. И напрасно. Детские рассказы В. Драгунского закономерно поднялись по возрастной лестнице, стали рассказами не только для детей. Это случай довольно редкий — гораздо чаще происходит противоположное: произведение, написанное для взрослых, постепенно отговывают для себя и дети.

Я пишу об этом не для того, чтобы предложить поменять над рассказами В. Драгунского издательский гриф, — все-таки больше всего его читают и будут читать дети, да и не в грифе, конечно, дело. Но мне кажется, важно понять, что же в этих рассказах привлекает не только детей. И критического суда они, по-моему, заслуживают не

В. ЖДАНОВ.

обязательно в связи с «книжкой неделей» и не на страницах одной лишь «Детской литературы».

В пересказе рассказы В. Драгунского много геряют: не юмор положений определяет их художественный мир. Для того, чтобы выяснить, что лежит в его основе, придется начать с небольшого отступления...

Стало уже традицией — и в последние годы ей отдают немалую дань очень разные писатели, пишущие на разных языках, — изображать ту стену непонимания, которая разделяет непосредственное, цельное, доверчивое мировосприятие ребенка и обремененный житейскими условностями и прозаическими заботами взгляд на мир взрослого человека. Эта коллизия, реально существующая, чаще всего служит художникам источником глубоких драматических конфликтов. У Сент-Экзюпери она истолковывалась даже трагически, приобретая значение горькой философии жизни.

Но возникающие расхождения и конфликты между логикой маленьких и больших, между причудливыми ребячьими представлениями и трезвым рационализмом взрослых могут носить и комический характер. Именно такова природа юмора В. Драгунского. Этот конфликт может оставаться под спудом или выходить на поверхность, но присутствует он в рассказах писателя неизменно. И внутреннюю пружину, главный «секрет» смешного у В. Драгунского надо искать здесь.

Маленький Дениска плохо ел, и мать во время еды всегда рассказывала ему сказки, сопровождая их одним и тем же унылым рефреном: «Жуй!.. Жуй как следует!» Однажды она рассказывала про Красную Шапочку, — уже миновали страшную часть сказки и подошли к счастливому финалу:

«— А тут охотники! — продолжала мама. — Жуй, жуй! Прожевал? Они убили свирелого волка! Потом разрезали ему живот, а оттуда выскочили бабушка и Красная Шапочка! Живые и здоровые.

Я сказал:

— Не прожевал, значит, волк-то!»

Комический эффект здесь возникает потому, что Дениска соединил — совершенно естественно, как само собой разумеющееся — волшебный мир сказки и весьма прозаическую действительность, которые в сознании взрослых никаких стыков не имеют и не могут иметь, отделены непродоходимой границей, противостоят друг дру-

гу. Мальчик же не знает таких границ, для него не существует подобного рода пределов. Дениска, например, не сомневается, что, когда вырастет, сумеет стать и астрономом, и капитаном дальнего плавания, и космонавтом, и начальником станции метро, и художником, который рисует на уличном асфальте белые полосы для мчащихся машин», и отважным путешественником, и боксером, и т. д. — всего не перечислишь. У него своя шкала ценностей — иная, чем у взрослых: гусиное горло (реакция мамы: «Убери сейчас же эту мерзость! Ужас!») котируется много выше, чем книжки, краски и игрушечный поезд, светлячок, который для мамы — маленький червяк, да и только, по этой шкале стоит самосвала: ведь светлячок «живой и светится». У него и собственные представления о красоте. «Они были очень красиво одеты, — восхищается он девушками-малырами, — носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками, и совершенно твердые... А на головах... шапки из газет».

Это столкновение двух мировосприятий диктует даже саму структуру фразы: в речь ребенка все время врывается лексика взрослых, создавая комический контраст. Вот несколько характерных примеров: «Аленка сказала: «Я устала. Перекур!»; «Нет, что ты, не бойся. Я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом»; «Мама, — кричу я ей, — мама, кричи ура! На Арбате дают белых мышей».

Есть еще один мотив, который настойчиво звучит в рассказах В. Драгунского, — он высмеивает накапливающиеся в сознании взрослых «стереотипы», и их несостоятельность, смехотворность проступают особенно явственно от соприкосновения с детской непосредственностью. Дениска заметил, что, знакомясь с ним, многие взрослые задают одни и те же вопросы, причем ответы на них они знают заранее:

«...Он продолжает приставать:

— А? Сколько же тебе лет? А?

Я ему скажу:

— Семь с половиной.

Тут он расширит глаза и схватится за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло сто шестьдесят один. Он прямо застывает, словно у него три зуба болят:

— Ой-ой-ой! Семь с половиной! Ой-ой-ой!

Но чтобы я не заплакал от жалости к

нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет:

— Скоро в армию! А?»

Расхождение между детским и взрослым мировосприятием не становится у Драгунского назойливым приемом, потому что для выражения его он находит самые разнообразные художественные формы. В рассказе «Сражение у Черной речки» смешно не только то, что ребята, крайне возбужденные происходящим на экране, забывают, что они в кино, начинают себя чувствовать участниками событий и в критический для героев фильма момент открывают пальбу из пистолетов и пугачей по наступающим белогвардейцам. Не менее смешон и пересказ фильма — в сущности, это своеобразная пародия на штампы, укorenившиеся в такого рода кинокартинах. Этот прием В. Драгунский использует неоднократно. В рассказе «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» он пародирует лихой стиль и красоты газетных очерков, в рассказе «Смерть шпиона Гадюкина» — низкопробные детективы: ученики четвертого класса, «сочинившие» и разыгравшие на школьном утреннике пьесу о разоблачении вражеского агента, воспроизводят, естественно, самые расхожие ситуации и характерные фигуры такого рода литературы.

Прелесть этих внутренних, скрытых пародий (они не всегда столь развернуты, как в названных только что рассказах, не обязательно несут, как здесь, сюжетные функции — нередко это всего две-три фразы, какая-то одна деталь, вдруг резко сниженная контекстом), — прелесть этих пародий в полной их естественности. Они не вложены автором в уста ребенка, не навязаны ему — пародия возникает как бы сама собой, это не нарочитая стилизация, а «побочный продукт» авторского стремления точно передать и особенности детского мышления, и характерные черты речи ребенка.

Все рассказы В. Драгунского написаны от первого лица. А лицу этому сначала лет пять-шесть (кстати, когда Дениска несколько своих историй начинает словами: «Когда я был маленький...», эта совершенно обычная для ребенка фраза служит юмористическим ключом к рассказу, сразу же дает ему необходимый тон), потом он уже

школьник, учится в первом или во втором классе. Два-три года — казалось бы, что они меняют? Но читая рассказы В. Драгунского, видишь, какой гигантский скачок происходит за это время в психологии и представлениях ребенка. Автор точен не только в том, что касается, так сказать, внешней стороны жизни дошкольника или первоклассника — в конце концов это не такая уж сложная задача, — он точен прежде всего в передаче изменяющегося взгляда своего героя на окружающий мир, что много труднее.

В. Драгунский почти никогда, как говорят актеры, не выходит из образа. Я сказал «почти», имея в виду главным образом два рассказа, открывающих книгу, — «Что я люблю...» и «...чего не люблю!». Вероятно, они и писались как «заглавные», «программные» — и получились стилизованной, претенциозной декларацией. Стоит сравнить их с написанным на ту же тему рассказом «Что любит Мишка» — и этот коренной их порок сразу же обнаружит себя.

И раз уж речь зашла об этом, скажу еще об одной слабости, которая дает себя знать в некоторых рассказах. Юмор у В. Драгунского сплавлен с лирикой. И пропорция, мера здесь далеко не последнее дело: в тех рассказах, где лирическая стихия становится господствующей, теснит юмор, возникают нотки сентиментальные («Арбузный переулок», «Поют колеса — тра-та-та»)...

Но зато в рассказах, которые удались автору, этот сплав лирики и юмора настраивает нас на особую нравственную волну: ведь Дениска — что бы с ним ни случилось — судит о том, что его окружает, исходя из представлений о гармоничном мире. Эти представления сплошь и рядом наивны, но чем была бы жизнь человека без стремления к гармонии и жажды счастья? Это и составляет тот исходный нравственный принцип, на котором строятся рассказы В. Драгунского.

В этом гармоничном мире, в котором живет Дениска, никак нельзя использовать старого плюшевого Мишку как грушу для отработки боксерского удара: ведь Мишка когда-то был верным другом («Друг детства»). В этом мире охотник из сказки не должен, не может ни с того ни с сего убивать славного зайчика, и маленький Дениска придумал способ, как спасти его: он

переиначил сказку, всюду вставив «не»: «А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах, потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости, могу вмешаться и перевернуть все по-своему, и все будет хорошо. Надо только вовремя сказать: «Не пиф, не паф!» («Не пиф, не паф!»). Конечно, смешно, что Дениска все воскресенье ждет у ворот дома Марью Петровну, пообещавшую взять его на дачу, где собака и лодка, ждет, отказываясь от всех соблазнов — сходить в кино, посмотреть на чердаке, не вывелись ли голубята, ждет, когда взрослым давно ясно, что Марья Петровна и не собиралась брать его на дачу — просто так сболтнула. И даже после этой истории, в другой раз, когда Марья Петровна обещала подарить ему буденновскую саблю, Дениска снова ей поверил. И эта простодушная доверчивость ребенка не только смешна, но и прекрасна, она не только повод для юмора, но и укор взрослым («Старый Мореход»).

Герой В. Драгунского — обыкновенный московский мальчик. Ничего экстраординарного с ним не происходит — он не останавливает поезд у лопнувшего рельса, предотвращая крушение, не бежит из дому, где невыносимая обстановка. Он живет в хорошей, дружной семье, не знает материальных лишений. Повторю — в общем, ничего из ряда вон выходящего. Но его не окружает, как в некоторых произведениях для детей, некий условно-идиллический быт, заставляющий вспоминать ту типовую многокомнатную квартиру, в которой жили герои многих кинофильмов пятнадцатилетней давности — и скромные счетные работники, и прославленные академики. В той

мере, в какой это может привлекать внимание мальчишки такого возраста, в рассказах отражен и уклад коммунальной квартиры, и нравы московского двора, и т. п. И все-таки живет Дениска во всех отношениях благополучно. Ни в какое сравнение эта жизнь не идет, например, с жизнью героев повести Н. Дубова «Беглец», даже если брать одну лишь ее материальную сторону. То, к чему Дениска привык, что окружает его с пеленок, может им показаться чуть ли не чудом, сказкой. Да, над ним голубое небо — пусть оно не всегда безоблачно, набегают иногда тучки, но быстро уходят... Если положить эти книги рядом, небо у В. Драгунского может показаться даже слишком уж голубым. Но такой вывод был бы поспешным и несправедливым. Спору нет, важно то, о чем и о ком рассказывает писатель, но все-таки куда важнее, что он хочет сказать, чему научить, что он утверждает и что отрицает, каков пафос его произведений. И здесь столь далекие друг от друга книги — острая, драматически напряженная повесть и калейдоскоп брызжущих весельем забавных юмористических рассказов — вдруг обнаруживают точки соприкосновения.

Веселые рассказы о разных случаях из жизни маленького Дениски тоже заставляют нас задуматься о вещах очень серьезных. Их пафос, их «сверхзадача» — в поэтизации справедливости, добра, жизнелюбия, терпимости, в глубоком уважении к достоинству человека. А это сегодня так важно. Нет, Виктор Драгунский не просто смешит и забавляет читателей: смех в его рассказах служит утверждению истинных нравственных ценностей.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ

М. Кнебель. *Вся жизнь*. «Всероссийское театральное общество». М. 1967. 587 стр.

Пятилетняя Маша, сидя на столе в кабинете своего отца — И. О. Кнебеля, прославленного издателя книг по искусству, рассказывает любимую сказку «Аленький цветочек» старику с белой бородой, с нависшими седыми бровями, настоящему деду-морозу. «Кажется, — пишет автор, — это было мое первое ощущение актерства и первое ощущение зрителя, которого надо завоевать». А этим первым зрителем был Лев Толстой.

С этого актерского дебюта и начинается раз-

ворачиваться сюжет мемуарной книги замечательного режиссера Марии Осиповны Кнебель.

Воскресные посещения Третьяковской галереи, первые впечатления о живописи, о театре, о музыке и поэзии, о выдающихся художниках и артистах — Игоре Грабаре, Валентине Серове, Сумбатове-Южине — друзей семьи, детская игра в театр в доме артиста театра Корша — Чарина, где функции режиссера выполняла маленькая Кне-

бель.— такова была та атмосфера искусства, которая окружала ее с самого детства, питала и формировала ее вкусы.

Мемуары — это часто книга о себе. Мемуары М. Кнебель — это не только жизненная и творческая биография автора, но и книга о других.

Тонкий, точный и зоркий наблюдатель времени, жизни и людей, М. Кнебель создала ряд портретов-характеристик своих учителей и соратников, раскрыв «зерно» их человеческой и творческой индивидуальности.

Одна из начальных глав посвящена ее первому учителю — Михаилу Чехову. Автор мастерски рисует фигуру этого самобытного, талантливого актера, актера необыкновенного импровизационного дара, во всех его сложных противоречиях, с его срывами и находками, разочарованиями и открытиями.

Анализ непревзойденных трех ролей Чехова — Фрезера из «Потопа», Хлестакова и Гамлета — это не только стремление проникнуть в лабораторию творчества, разрешить вопрос о природе актерского мастерства, но и развернуть перед читателем одну из блистательных страниц истории русского театра.

В творческих портретах М. Кнебель нет ничего случайного. В них закреплены основные, доминантные черты человека-художника. Колочий и одновременно притягательный, горячий, а порой по-детски капризный, нервный, глубоко убежденный и вместе с тем мнительный Хмелев с его феноменальной интуицией, Хмелев, неожиданно теряющий веру в свои силы. А рядом Немирович-Данченко — идеальная собранность, выдержанность, максимализм требовательности, властность, изящная почтительность и элегантная шутовость. Внутреннее беспокойство, суровая честность, художническая настойчивость и взволнованность Алексея Попова, железная логика и напряженная мысль Леонидова, мужской ум и женская незащищенность Соколовой, заразительное обаяние и жизнерадостность улыбчивого, белозубого Баталова, ясность мысли, душевность Юрия Пименова, весело и радостно придумывающего живописный образ спектакля, внутренняя интеллигентность, обаятельная скромность Шифрина, неистовая привязанность к России загадочного Андрея Белого, одной из трагических фигур русской интеллигенции, — таковы безошибочно угаданные, точно выверенные психологические рисунки М. Кнебель.

Одна из самых обширных глав посвящена

Константину Сергеевичу Станиславскому. В ней Станиславский предстает не только как теоретик, режиссер, педагог, воспитатель театральной молодежи, талантливый организатор, но и как замечательный актер, вносящий в каждую сыгранную роль свою характерность, неповторимое своеобразие, свою оригинальную трактовку, нередко вызывавшие несогласие, ожесточенные устные споры, споры в печати.

Однако о К. Станиславском автор вспоминает не только в этой специальной главе. Фактически весь труд М. Кнебель говорит о режиссерском мышлении ее учителя, о его методе, о знаменитой системе, оставившей неизгладимый след в истории не только русского и советского, но и мирового искусства, о его принципиальности в большом и малом, о борьбе со всякой нарочитостью и фальшью в искусстве, о неутомимости, чудовищной работоспособности, о том огромном значении, какое придавал Станиславский личному примеру.

«Хуже всего,— писал Станиславский,— когда в искусстве все спокойно, все налажено, определено, узаконено, не требует споров, борьбы, поражения, а следовательно, и побед. Искусство и артисты, которые не идут вперед, пятятся назад». Книга М. Кнебель всем своим содержанием призывает не только пользоваться наследием, но продолжать его, развивать, не забывая о безостановочном движении времени, о живой, текучей современности, которая вносит свои коррективы в уже достигнутое. Ремесленничество, канонизирование, штампование узаконенных театральных приемов чуждо всему духу этой книги.

Жизнь М. Кнебель в театре — это прямое следование завету Станиславского, уже давно ставшему хрестоматийным: «Учитесь скорее самому трудному и самому важному: любить искусство в себе, а не себя в искусстве». Об этой почти фанатической любви к театру, о полной отдаче себя искусству, точнее — сраженности с ним (слово «отдача», возможно, несет в себе оттенок жертвенности) и говорит «Вся жизнь» М. Кнебель. Хотя сюжет книги — становление мастера-режиссера, в ней есть второй план: защита человечности, высокой этики, бескомпромиссности в искусстве.

М. Кнебель рассказывает не только о самом театральном искусстве, но и о близком ему искусстве драматургии. Интересно, живое прочтение ряда драматургиче-

ских произведений, толкование тех или иных литературных персонажей заставляют в ряде случаев по-новому воспринять произведения классиков и их героев.

Защищая трактовку Станиславским роли Сальери, М. Кнебель раскрывает суть характера и переживаний пушкинского героя: мукой Сальери, по ее словам, «было не чувство зависти, а чувство страха перед непонятым, непознаваемым. Все, исходящее от Моцарта, не укладывалось в доступный для Сальери мир понятий о творчестве и о жизни». Его трагедия — неспособность «вырваться из плена им самим созданных законов», его трагедия — ограниченность, которая всегда ведет к злу.

Может быть, это суждение и спорно, но оно приводит далее к мудрому обобщению: «Если я не понимаю, это не значит, что явление вообще непостижимо. Или — вредно».

Убедительна трактовка Чичикова — этого «русского черта» с его дьявольской энергией, чудовищным воображением, с его оголтелым желанием из ничего добывать деньги.

Новыми гранями поворачиваются к читателю и давние, с детства знакомые образы Хлестакова и Гамлета, Макбета и Чацкого, Ивана Грозного и графа Любина, Забелина и сказочного Ивана-дурака, Карпухиной из «Дядюшкина сна» и любимых автором чеховских героев.

Алексей Дмитриевич Попов, наблюдая работу Хмелева, назвал его актером-автором своей роли. Читая книгу М. Кнебель, еще и еще раз убеждаешься в полном праве талантливого режиссера называться автором спектакля. «Погрузившись» в Горького, Кнебель-режиссер уловила главную особенность его драматургии, передающей «атмосферу напряженной мысли». За прочной плотью быта, за внешнебытовыми фигурами встают большие философские обобщения, острые социальные конфликты и характеры. К раскрытию этой дуплановости стремилась Кнебель в одной из первых самостоятельных режиссерских работ — в постановке горьковской пьесы «Последние».

Упомянув о таких давно сошедших с репертуара советских пьесах, как «Заговор чувств» Ю. Олеши и «Зойкина квартира» М. Булгакова, автор убедительно «реабилитирует» эти пьесы, несущие заряд ярости против мещанства, обывательщины и всяческой пошлости.

Порой увлеченная режиссерской работой, захваченная своим замыслом сценического воплощения пьесы, М. Кнебель в одной и той же тональности говорит о произведениях разного масштаба, о шедеврах русской и мировой классики и второстепенных произведениях, не задерживающихся в театральном репертуаре. Но это все-таки редкость в книге.

Бережно собраны М. Кнебель режиссерские записи, забытые стенограммы, драгоценные высказывания мастеров сцены, их устное творчество — текучие процессы, предшествующие завершению спектаклям и обычно утрачиваемые для будущих поколений. Мастерское воспроизведение репетиций, художественных экспериментов, проводимых видными режиссерами, и в частности самим автором, в различных театральных коллективах, записи приемных экзаменов в ГИТИСе, упражнений со студентами и т. д. — все это закрепляет, не дает уйти из жизни открытиям и находкам, восстанавливает сложный процесс работы режиссеров и актеров.

Не могу не обратить внимание читателя на страницы, посвященные смерти Хмелева на генеральной репетиции пьесы Алексея Толстого «Трудные годы». В гриме, в парике, в красном кафтане Грозного он играл вдохновенно и сильно. Смерть застала его в момент достижения «подлинного чуда актерского искусства». Эти страницы не только документ, не только свидетельство очевидца — товарища и близкого друга: по своей силе, по своей внутренней напряженности и драматизму — это подлинное произведение искусства.

М. Кнебель в своей книге, естественно, отбирала тот материал, который «работал» на ее основную тему. Ее внимание приковывали люди, с которыми она была непосредственно и каждодневно связана в своей театральной работе. Отнюдь не в качестве упрека, а лишь сожаления, могу сказать, что иной раз хотелось бы найти в ее книге больше «выходов» в широкий театральный мир, включения в те ожесточенные споры, жгучую полемику по вопросам творчества, театральной эстетики, которые возникали не только внутри Художественного театра и его студий, но и в театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса — в особенности в те годы, когда М. Кнебель проходила свои «режиссерские университеты».

И еще несколько слов о недавней поста-

новке М. Кнебель любимого ею «Вишневого сада» («Мой «Вишневый сад»).

Основная идея режиссерского замысла такова: «Каждый из нас терял и будет терять свой «Вишневый сад». Каждый из нас пытается удержать его. В то мгновение, когда теряешь «Вишневый сад», кажется, что теряешь все. Но впереди жизнь, которая в тысячи раз богаче всех потерь. И она наполняет человека живительными силами, и он вновь находит в себе мужество, чтобы жить». Прочтенная заново пьеса Чехова получила нетрадиционную интерпретацию: социальные моменты подчинены вечным, нетленным, общечеловеческим. К сожалению, объем книги не позволил автору подробнее остановиться на том, как этот замысел нашел свое воплощение в постановке, в трактовке основных персонажей, в декорациях. Но и брошенные вскользь мысли о новом найденном ритме спектакля, о «зерне» характера Епиходова, этого трагикомического героя, о трактовке Лопухина, Раневской, Пети Трофимова и т. д. наталкивают на ряд раздумий, размышлений.

«Я убеждена,— пишет М. Кнебель,— что в искусстве нельзя создать ничего подлинно ценного, если коллектив создающих не свяжет настоящая творческая дружба. Особое значение приобретает дружба во взаимо-

отношениях режиссера и художника...» Живо иллюстрацией этих слов являются рисунки Ю. Пименова к тексту рецензируемой книги. Эти рисунки пером, иногда нарочито незавершенные, как будто небрежные, воссоздают не только облик людей, о которых пишет М. Кнебель,— Михаила Чехова, Станиславского, Немировича-Данченко, Алексея Попова, да и самой Кнебель (на развороте книги) — они дают почувствовать вкус и запах времени.

Дрожащий огонь свечи, небрежно брошенные балльные перчатки, цветок гиацинта в граненом стакане, театральные маски, вольтеровское кресло, московские переулки и, наконец, девочки и мальчики в современных платьях с портфелями под мышкой — за этим скрывается целый мир. Художник выступает своеобразным соавтором мемуариста.

«Вся жизнь» называется книга М. Кнебель. «Вся ли?» — спрашивает она, заканчивая свой труд. «Вся ли?» — повторяем за ней и мы, читатели и зрители. Зная не только ее театральное прошлое и настоящее, но и ее новые постановки, следующие за «Вишневым садом», зная ее творческие замыслы и поиски, мы можем с полным правом сказать, что эта жизнь продолжается.

Л. ПОЛЯК.



Политика и наука

ЗНАНИЕ ПРОТИВ ПРЕДРАССУДКА

И. Я. Бирман. Оптимальное программирование. «Экономика». М. 1968. 232 стр.

В народном хозяйстве работают десятки тысяч еще нестарых экономистов, которым в бытность их студентами объясняли на лекциях по преимуществу политические принципы, скажем, ценообразования. Как-то забывалось, что цена — это сколько-то рублей и копеек, чтобы ее построить, надо что-то сложить, умножить. Не из тех ли студентов выросли специалисты, устанавливавшие цены, при которых магазины были завалены горохом, но отовсюду исчезла гречка? По принципу: «А что, если на питательный горох установить хорошую цену?»

Такие примеры можно приводить еще и еще. Но сегодня экономисты все больше учатся считать. Не станем утверждать, что уровень экономической работы поднялся оттого, что появились математические методы.

Скорее наоборот: к математике стали обращаться потому, что народному хозяйству потребовался более высокий уровень экономической работы. Ведь советский ученый Л. В. Канторович, ныне академик, лауреат Ленинской премии, разработал свои методы линейного программирования еще в конце тридцатых годов, но тогда экономисты не заинтересовались ими.

Войдя в обиход наук, которые прежде не считались точными, математика диктует и новые принципы мышления, и даже новую этику. Если ответ не сходится, громкий голос не поможет. Это обстоятельство все больше влияет на обстановку в науках, вооружающихся математикой. И. Я. Бирман пишет по этому поводу в предисловии к своей книге: «В экономике... многие научные вопросы «решаются» путем голосования, а

то и в зависимости от научного чина, ораторского красноречия или литературного таланта спорящих... Вторжение математики в экономику знаменуется отнюдь не только использованием тех или иных расчетных схем, а значительным воздействием на строй мышления экономистов, на понимание многих чисто экономических категорий, на теоретический и практический подход к решению многих, казалось бы далеких от расчетов и вычислений, проблем. Все больший вес начинает приобретать компетенция специалиста».

Есть, однако, серьезное препятствие на пути всесильных математических методов: незнание математики. Трудно представить себе человека, который спустя годы после окончания своего далеко не математического вуза захочет (и сможет) самостоятельно изучить математику в порядке повышения квалификации.

Впрочем, не стоит забывать и о студентах нынешних, которые изучают линейную алгебру, — это стоит им немало труда и времени. Недавно умерший крупнейший советский алгебраист академик Мальцев в одной из своих последних речей привел интересное рассуждение. Предположим, ученый, написав учебник математики, нашел новый путь решения известной теоремы. Предположим, это позволяет преподавать теорему студентам за два часа вместо двенадцати. Если учебником пользуются десять тысяч человек — это сто тысяч часов в год. Если считать студенческий час по рублю — прямая экономия ста тысяч рублей.

Если так считать (а академик Мальцев умел считать), то новая книга И. Я. Бирмана должна цениться не меньше, чем если бы она была из золота. Она вообще освобождает экономистов, жаждущих математических методов, от необходимости изучать математику. Такова цель автора, провозглашенная в первой же фразе: «Работая над книгой, я изо всех сил старался не сделать ее перематематизированной и недоэкономизированной». Ведь можно же водить автомобиль, не зная устройства мотора: достаточно уметь пользоваться рычагами и педалями. Точно так же, вопреки распространенному мнению, И. Я. Бирман считает, что можно овладеть практическими приемами линейного программирования, не зная и не узнав матричной алгебры. Это ему удалось, что подтверждают не только аннотации ряда крупных ученых, приведенные издатель-

ством в начале книги. Я на собственном опыте убедился: при чтении подряд с самого начала все понятно среднему интеллигенту с гуманитарным образованием, сохранившему в памяти обрывки только школьной алгебры.

Книга насквозь по-хорошему полемична. В каком-то смысле это антиучебник. Она взламывает рутинное представление об учебнике и замыслом, и содержанием, и формой. Напыщенное наукообразие, нарочитое шаманское усложнение «своей» науки — против всего этого яро воюет автор. Самим замыслом — математические методы без знания математики — он подбодряет новичков: подходи, не бойся, тебя пугали зря.

Предупредим недоразумение: изучение математических методов все равно остается нелегким трудом, от которого никто не может избавиться читателя. Но книга И. Я. Бирмана позволяет приступить к этому труду, не проделывая предварительно еще более обширной работы: не изучая специально математику. Черная магия лишается таинственности постепенно и неотвратимо. Сначала вы узнаете, что такое матрица. Оказывается, это всего-навсего набор чисел, записанных в виде прямоугольной таблицы. В ней есть столбцы и строки — это понятно. Числа можно складывать — чего проще. В матрице можно выделить часть ее — это подматрица. Потом обнаруживается, что при движении по клеткам матрицы образуется цепь, а у нее есть вершины. Потом вы узнаете, что такое алгоритм, затем вас учат вычеркивать кружки, а немного погодя вы обнаруживаете, что прочитали, не запнувшись, такую, например, фразу: «При расчетах по методу потенциалов значение функционала на каждой итерации уменьшается, кроме тех случаев, когда по цепи перемещается нулевая поставка». Свершилось! Вы уже не боитесь, математическая «латынь» стала вам доступна.

Простота, постижимость предмета подчеркивается на протяжении всего текста. Именно для этого, например, один из параграфов главы о лямбда-задаче озаглавлен «Проще пареной репы». Именно поэтому — чтобы читатель перешел и улыбнулся — в задаче о назначениях предлагается назначить пары игроков в пинг-понг для встречи музыкантов театра «Колумб» с экономистами конторы «Геркулес». Именно для этого главы книги снабжены эпиграфами из Козь-

мы Пруткова, Пушкина, Гёте, Свифта, Леопольда Инфельда, Павла Антокольского, Андрея Вознесенского и Марка Твена. Временами кажется, что автор просто резвится, позволяя себе очередную литературную вольность посреди экономико-математической строгости, но никогда не кажется, что он не уважает свою науку.

Авторы учебников должны быть самолюбивы и требовательны. Им положено исходить из того, что все в их книге правильно и все совершенно необходимо. И. Я. Бирману было бы скучно в такой позиции. Главую пятую он начинает неслыханным заявлением: «Читателю, интересующемуся лишь практическими приложениями оптимального программирования... главу можно не читать».

Впрочем, и это еще не самое важное и поучительное в подходе автора к своей задаче. Важнее то, что он стремится дать читателю не только некую сумму знаний, но и широкий кругозор, умение самостоятельно ориентироваться в науке. Он вербует сторонников не любых, а сознательных. Поэтому он не забывает во многих случаях сказать: это мое мнение, оно не общепризнанно, вот имена моих оппонентов, читайте их труды и судите сами. По этой же причине он не боится слов «не знаю». Кажалось бы, слова эти в учебниках запретны. Учебник подает науку законченной — дальше ехать некуда. И. Я. Бирман пишет в заключительной главе: «Один математик рассказывал, как, окончив провинциальный вуз, он пребывал в уверенности, что все проблемы в математике разрешены, что нет больше вопросов без ответов. Заканчивая книгу, я хочу еще раз сказать читателю, что истина неисчерпаема, что наше знание оптимального программирования во многом еще приблизительно, а о многом мы даже не догадываемся». В этой заключительной главе

как раз и сделана попытка прочертить направления будущего движения науки, показать важнейшие из нерешенных задач.

Но в книге есть немало интересного и для тех, кто не собирается профессионально осваивать математические методы. В ней есть несколько глав «чисто» экономического содержания, ибо нельзя излагать технологию работы, не раскрывая ее целей и смысла. Понимание экономического смысла решаемых задач здесь весьма интересно. Автор воюет на два фронта, которые, впрочем, различаются лишь по форме. Первый его противник — это те, кому не по душе дальнейшее движение по пути экономической реформы, дальнейшее расширение использования экономических методов управления хозяйством. Вторые, внешне сверхпрогрессивные, — это «нажиматели кнопок», сторонники построения громадной информационно-вычислительной системы для того, чтобы из одного центра управлять каждым шагом любого предприятия страны. Им кажется, что такие попытки проваливались в прошлом лишь из-за отсутствия вычислительной техники. И. Я. Бирман показывает, насколько утопичны такие мечты даже при лучшей современной технике, насколько реакционна идея «механизировать» бюрократизм и насколько полезна будущая единая государственная информационно-вычислительная система при правильном ее использовании. Это единственно правильное использование — подготовка к решению грандиозной задачи оптимального планирования всего народного хозяйства.

Можно порадоваться за студентов, которые будут учиться по такой книге. Можно пожелать, чтобы побольше учебников писалось так же. Можно поздравить ученого, который так вербует себе сторонников.

Т. СМЕРНОВ.



СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: ЕГО ОБЪЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Б. Грушин. Свободное время. Актуальные проблемы. «Мысль», М. 1967. 176 стр.

Свободное время... В последние годы о нем написано немало. Солидные книги, предназначенные для профессионалов, статьи в журналах, газетах и бесчисленное количество маленьких заметок с советами на нехватку свободного времени и разного рода предложениями. Нехватка

свободного времени, на которую жалуются чуть ли не все люди, — поистине «проблема века». Как подчеркивает с самого начала книги ее автор, это — проблема практическая, которая стоит перед нашим обществом.

Среди многих работ, написанных на эту

тему (а пожалуй, и не только на эту), выделяется небольшая книжка Б. Грушина. Она издана в популярной серии «Социология и жизнь», однако обладает всеми достоинствами серьезной профессиональной работы и в то же время полностью выполняет свое основное назначение — познакомить обширный круг людей с тем, что думают социологи по поводу этой проблемы.

Поднималась ли когда-либо раньше эти или близкие к ней проблемы? Читатель найдет на этот вопрос обстоятельный ответ. В двадцатых годах этим занимался академик С. Г. Струмилин, затем, с 1958 года, — Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством Г. А. Пруденского, несколько позже — целый ряд исследователей Москвы, Ленинграда, Урала, Украины. Этой проблемой интересуются не только советские социологи, но и зарубежные (и там эта проблема — одна из острейших), например, крупный французский исследователь Ж. Дюмазедье, а ученые Болгарии, Венгрии, Польши и СССР провели совместные исследования.

Что касается самой рецензируемой книги, то она, как сообщает автор, подготовлена в Институте общественного мнения «Комсомольской правды». Впрочем, и без такого сообщения видно, что это плод коллективного труда. Жаль, что в книге не названы имена других участников этой большой полезной работы.

Что именно следует понимать под свободным временем? «Первая трудность, с которой неизбежно приходится сталкиваться при исследовании сферы досуга, — это трудность определения основных понятий, в частности, исходного понятия — «свободное время»... — пишет Б. Грушин. — В современной социологической литературе не существует единой точки зрения на этот счет...» Сообщив читателю об имеющем место в нашей и зарубежной литературе толкованиях «свободного времени», автор формулирует то, из которого он исходит в своем анализе: «Собственно под свободным временем понимается часть вне рабочего времени, а именно «время, свободное от исполнения разного рода непреложных обязанностей». К таким непреложным затратам времени относятся, во-первых, те, что связаны с производством, во-вторых,

время на дорогу к месту работы и обратно, в-третьих, время, затрачиваемое на бытовые нужды, уход за детьми, личную гигиену, питание, сон. Смысл такого определения свободного времени хорошо обоснован автором.

В рецензируемой работе читатель найдет и другие обязательные для любого конкретного социологического исследования разделы: программу и методику исследования, подробное обоснование выборки и сравнение планировавшейся выборки и реально получившейся. Естественно, что основную часть книги занимает описание и анализ полученных данных.

Свободное время характеризуется тремя параметрами: величиной, структурой и содержанием. По этим трем аспектам и ведется анализ. Но поскольку все же свободное время — не изолированная категория, то в связи с ней анализируются и другие проблемы.

Величина свободного времени определяется прежде всего продолжительностью времени труда. В ходе исследования обнаружилось, «что применительно к условиям СССР нельзя говорить о некоей общей норме трудового дня, одинаково характерной для всех групп трудящихся... Большое количество людей до сих пор ежедневно трудится более (иногда значительно) семи часов»¹. За этим скрывается аритмичность производственного процесса, перегруженность обязанностями, характерная для положения отдельных групп, и, главное, — широкое распространение ненормированного рабочего дня, что является данью несовершенству организации труда. Большой установленный законодательством рабочий день (вплоть до девяти и более часов) наблюдается у значительной части технической интеллигенции и среди интеллигенции, занятой не на производстве, у студентов, режиссеров и рабочих. Отсюда вывод: в первую очередь следует добиться строгого соблюдения продолжительности рабочего дня там, где она нарушается.

Другой проблемой, как показывает анализ, является то, что вне рабочее время не равно свободному, больше того — оно по преимуществу как раз несвободное время. Два основных элемента поглощают боль-

¹ Исследование проводилось до перехода большей части населения на пятидневную рабочую неделю.

шую часть вне рабочего времени: время, идущее на дорогу («дом — место работы — дом»), и в еще большей степени время, идущее на бытовые нужды. За вычетом других необходимых затрат собственно свободного времени остается в среднем три-четыре часа в сутки. Расчет очень прост: «8—9 часов в день — на удовлетворение физиологических потребностей, минимум 1—1,5 часа на транспорт и затраты, связанные с производством, минимум 3—4 часа — на домашнее хозяйство и бытовые нужды... Получается 13—14 часов». Плюс семь часов работы, вот и остается всего три-четыре часа. Мы хотим за это время почитать книгу, сходить в кино и театр, повидать друзей и еще сделать тысячу дел. Приходится выбирать, чем-то жертвовать. Но ведь три-четыре часа — это средняя величина, некоторые категории людей имеют его меньше. И это не только интеллигенция и студенчество, но и домашние хозяйки, чрезмерно перегруженные своими обязанностями.

Итак, время на дорогу и время на бытовые нужды особенно мешает нашему отдыху, учебе, развлечениям. Причем жители больших городов страдают в основном от затрат времени на дорогу. Например, больше трети москвичей тратит на дорогу от одного до двух часов в день, а еще 12 процентов — больше двух часов. При этом точные измерения относят почти половину этого времени к ходьбе пешком и значительную часть к ожиданию транспорта. Напротив, жители малых городов страдают в основном от больших затрат времени на бытовые нужды.

Если москвичи, тратящие на домашнее хозяйство два и более часов в день, составляют 30,5 процента, то в городах с населением от ста до пятисот тысяч человек столько же времени тратят 46,9 процента жителей, а в маленьких городах — уже 56,5 процента. Цифры, как видите, стремительно растут. Так же стремительно они растут и с возрастом. На бытовые нужды два и более часов в день тратят 24,7 процента самых молодых людей, 44,9 процента двадцатипяти-двадцатидевятилетних, 48,1 процента тридцати-тридцатидевятилетних, 51,1 процента сорока-пятидесятидвятилетних и 61,8 процента лиц самых старших возрастов. Особенно тяжелое положение здесь у женщин, которые берут на себя два главных занятия в домашней рабо-

те — приготовление пищи и стояние в очередях (на последнее они тратят до половины времени, идущего на бытовые нужды).

Впрочем, все это вряд ли для кого-либо является секретом. Совершенно ясно, что фактическое увеличение свободного времени должно идти за счет уменьшения необходимых затрат времени, и прежде всего связанных с домашним хозяйством.

Как не раз уже отмечалось в печати, проведенное за последние годы сокращение рабочего дня практически не увеличило свободного времени: оно было поглощено сферой быта. Характерно, что большинство людей отдает себе в этом полный отчет. Из двадцати двух исследованных групп населения не нашлось ни одной, которая на вопрос, какой путь увеличения свободного времени она считает решающим, не отдала бы предпочтение сокращению необходимых затрат, лежащих вне сферы производства.

За прошедшие пятьдесят лет в нашей стране произошли громадные изменения. Б. Грушин сравнивает проведенное им исследование с данными С. Г. Струмилина за 1922 год. Картина получается впечатляющей. Резко изменилась структура рабочего времени: появились новые занятия, некоторые старые приобрели много новых сторонников, другие, наоборот, потеряли их (например, отправление религиозных обрядов). И все же существует ряд проблем, которые на поверхности за средними колоссальными цифрами не видны. Возьмем только одну: за 1960 год в стране был 91 миллион посещений профессиональных театров. Цифра внушительная. Но ведь за этой цифрой стоит несравненно меньшее число миллионов человек, которые ходят в театр постоянно и много раз в год. То же соображение касается посещения музеев, симфонических и литературных концертов, участия в художественной самодеятельности, любительских занятий и занятий спортом, то есть тех элементов культуры, без которых трудно представить себе духовный облик современного человека. «Анализ показывает, — замечает Б. Грушин, — что ныне значительные массы людей стоят пока еще в стороне от всех этих видов деятельности».

Автор, однако, не останавливается на констатации этого факта, но идет дальше и старается вскрыть причины такого положения. И опять хочется сказать, что дела-

ется это им не просто на основании размышлений и догадок, но с цифрами в руках, с хорошо продуманной логикой.

Различия между отдельными группами населения в способах использования свободного времени имеют разную природу. Соответственно и озабоченность общества, говорит автор, по их поводу должна быть различной. Что касается биологических факторов, то диспропорции здесь вполне нормальны. Нормально, что учащиеся (в большинстве не имеющие собственных семей) меньше занимаются детьми, что молодые люди гораздо больше занимаются спортом и туризмом и намного больше учатся, чем старые. Нормальны диспропорции, которые свидетельствуют о процессе ликвидации существующего еще в обществе неравенства (рабочие учатся больше, чем интеллигенция). Ряд диспропорций носит нейтральный характер, большинство групп населения не испытывает по их поводу острых переживаний (например, мужчины в 2,3 раза больше, чем женщины, ходят на спортивные состязания). Но вот жители маленьких городов во много раз реже ходят в театр, чем жители крупных городов, женщины в 1,7 раза меньше времени посвящают вечерней и заочной учебе, чем мужчины. Это уже ярко выраженные диспропорции, которые должны волновать и действительно волнуют общество. Они возникают, пишет автор, «в результате действия двоякого рода причин: или 1) в силу низкой культуры свободного времени, отличающей определенные круги населения, то есть в силу относительной неразвитости (может быть, даже отсутствия) у них вкусов, за-

просов, потребностей в тех или иных видах досуга, а также их неумения организовать свое свободное время... или 2) в силу отсутствия в обществе необходимых объективных условий для наилучшего использования людьми свободного времени...». Результаты опроса показывают, что из этих двух причин наиболее важной является последняя.

Возможно, я злоупотребляю доверием и временем читателя, столь подробно пересказывая отдельные места книжки Б. Грушина, но трудно было не поддаться искушению. Слишком мало еще выходит у нас работ по социологии, в которых мы могли бы найти, кроме цифр, еще и анализ. И совсем уж мало таких, которые привлекали бы, как эта, изяществом доказательства и убедительностью.

Конечно, и в этой книге, как и во всякой другой, можно найти неудачные места, погрешности. Так, на мой взгляд, таблицы не доведены до конца. Мы можем увидеть в них только мужчин, либо только женщин, либо рабочих, либо ИТР и т. д., но не можем увидеть мужчин-рабочих, женщин-рабочих. В таблицах даны только простейшие распределения в процентах. Все это значительно снижает возможности анализа, и в том числе прямого сопоставления данных Б. Грушина с данными, которые приводятся в других исследованиях по этой проблеме.

Количество таких замечаний можно было бы увеличить, но, конечно, они ни в коей мере не отменяют самого благоприятного впечатления об этой работе.

Э. БЕЛЯЕВ.

★

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. Издание Международного центра парламентской документации. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1967. 512 стр.

«Рушились империи, терпели крах диктаторские режимы, а основополагающий принцип «правление народа, осуществляемое народом и для народа» остается непоколебимым. Еще не было найдено никакой прочной замены принципу представительства народа, как основе политической власти», — пишут во введении к этой книге генеральный секретарь Межпарла-

ментского союза Андре де Блонэ и президент Руководящего совета Международного центра парламентской документации (МЦПД) Дж. Кодаччи-Пизанелли.

Книга вышла в свет на английском и французском языках два года назад. В основу ее были положены данные о парламентах пятидесяти пяти стран, в том числе и Советского Союза, по состоянию на

1 июля 1963 года, полученные от национальных парламентских групп — членов Межпарламентского союза. В книге, которая носит чисто информационный характер, собран обширный материал о структуре парламентов федеративных и унитарных государств, избирательных системах, способах голосования, организации и законодательных функциях парламента, статусе членов парламента, финансовых полномочиях и формах контроля парламента над исполнительной властью и др. Обработал и систематизировал собранные сведения доктор М. Амеллер.

Внимание читателя прежде всего привлекают разделы, в которых рассматривается сложившаяся в разных странах практика подготовки и проведения выборов, подачи голосов, организации избирательных кампаний. «В XX веке, — пишет М. Амеллер, — всеобщее избирательное право стало общепринятым способом осуществления власти народа». Однако на практике при использовании этого права возникает ряд проблем, связанных главным образом с различными его ограничениями. Анализируя эти ограничения, М. Амеллер при этом указывает, что, поскольку не существует абсолютно точного определения всеобщего избирательного права, степень посягательства на него может быть измерена лишь строгостью применяемых ограничений.

Во всех странах существует возрастной ценз. Обычно избирательное право предоставляется лицам, достигшим совершеннолетия, когда у них складывается полное представление о своих гражданских обязанностях и они могут разбираться в политических вопросах. В большинстве стран этот возраст равен двадцати одному году. Однако в некоторых странах (Иран и Италия) в выборах в верхнюю палату могут участвовать только лица, достигшие двадцати пяти лет. Для стран же народной демократии, а также стран, недавно завоевавших независимость, характерно снижение возрастного потолка — до 18 лет.

Повсеместно, чтобы иметь право голоса, нужно быть гражданином данной страны. Но в ряде государств для этого требуется еще и проживание определенного периода времени в одной местности. И хотя обычно этот период непродолжителен, тем не менее это ведет к определенному сокращению числа избирателей. В Исландии ми-

нимальный срок проживания в одном месте — пять лет, в Эфиопии и Новой Зеландии — год, в Австралии — шесть месяцев. Такие же ограничения существуют в ряде штатов США. Напротив, в большинстве стран принцип всеобщего избирательного права в этом пункте доведен до логического завершения. В странах народной демократии нет никаких ограничений, связанных с длительностью проживания в одной местности. Нет их и в Финляндии и других странах.

Всеми странами, естественно, признается такое правило: чтобы иметь право участвовать в политической жизни, гражданин должен быть в здравом уме. Лишение избирательных прав применяется и в том случае, когда совершено серьезное преступление. В некоторых странах имеет значение характер преступления. В Австрии это коррупция на выборах, в Бельгии — проступки в отношении семьи и бытовые преступления. А в странах народной демократии обычно только тяжкое преступление влечет за собой лишение избирательных прав.

Такое смягчение ограничений, подчеркивает М. Амеллер, находится в соответствии с тенденцией к расширению всеобщего избирательного права, характерной для нашего времени: это фактическая отмена имущественного ценза, предоставление права голоса женщинам и другие. Однако, указывает он, хотя эти ограничения, которые были в свое время направлены на то, чтобы замедлить переход от автократической формы правления к демократической, представляют сегодня в основном лишь исторический интерес, тем не менее некоторые из них в отдельных странах все еще дают себя знать. В Швейцарии до сих пор на федеральных выборах женщины лишены права голоса. В Монако право голоса было предоставлено женщинам только конституцией 17 декабря 1962 года, в Ливии — реформой 25 апреля 1963 года.

В некоторых странах все еще считается необходимым измерять уровень умственного развития избирателя определенным образовательным цензом. В Чили и на Филиппинах избиратель должен уметь читать и писать, в США он должен доказать, что обладает определенной суммой элементарных знаний, и для этого должен предоставить удостоверение о получении начального образования.

В некоторых странах предусматривается ограничение избирательных прав граждан, принадлежащих к определенным социальным группам. В Дании и в некоторых кантонах Швейцарии не имеют права голоса лица, содержащиеся за счет общественных средств, в Иране — нищие. В том же Иране и в Ливии лишены права голоса полицейские, в Лаосе — члены религиозных орденов и студенты, освобожденные от уплаты налогов. В ряде случаев такие ограничения направлены, как это ни парадоксально, на обеспечение свободы выборов: в Великобритании не голосуют пэры, в Канаде — должностные лица, ответственные за проведение выборов, и судьи, назначенные генерал-губернатором. Избирательные законы ряда государств (Бразилии, Турции и других) отстраняют от участия в выборах военнослужащих. Это мотивируется стремлением не допустить положения, когда служебная дисциплина может поставить под угрозу свободу выбора такого избирателя. Однако, с другой стороны, следует заметить, что отстранение армии от политики еще не означает, что она не может стать послушным орудием в руках реакционных сил.

Любопытны данные, которые приводит М. Амеллер, рассказывая об обязательном голосовании. В некоторых — немногих — избирательных законах нашла отражение концепция, согласно которой участие в выборах рассматривается не только как право, но и как обязанность. В пределах Европы участие в голосовании обязательно в Бельгии, Греции, Италии, Люксембурге, в некоторых кантонах Швейцарии и одной или двух федеральных землях Австрии. За пределами Европы — в Австралии, Бразилии, ОАР и Чили. В Нидерландах достаточно появления на избирательном участке. За неучастие в голосовании в этих странах налагаются штрафы. Избирательный же закон Чили предусматривает за это даже тюремное заключение.

Эффективны ли такие принудительные меры? М. Амеллер приводит данные о числе избирателей, зарегистрированных во время голосования в различных странах. С одной стороны, эти цифры говорят как будто в пользу обязательного голосования. Так, в большинстве стран, где оно обязательно, число лиц, не участвовавших в голосовании, не превышает десяти процентов. Но, с другой стороны, в Исландии и

Новой Зеландии, где голосование необязательно, это число составляет соответственно 8 и 10 процентов. В среднем же в странах Запада оно равно 20 процентам. Что касается СССР и большинства стран народной демократии, то тут, хотя голосование и не является обязательным, случаи неучастия в голосовании единичны (менее одного процента). Несколько больше их в Венгрии, Югославии и Польше (3—5 процентов).

В разделе «Члены парламента», анализируя сложившуюся в разных странах практику выдвижения кандидатов и проведения избирательных кампаний, М. Амеллер особо выделяет роль политических партий. Он пишет: «Любой гражданин, который отвечает предусмотренным законом требованиям, имеет право выставить свою кандидатуру в парламент. Но для того, чтобы иметь какие-то шансы на успех, ему необходимо хотя бы в пределах своего собственного избирательного округа пользоваться поддержкой какой-либо организации, которая обеспечит ему возможность не только ознакомить общественное мнение со своими взглядами, но и организовать борьбу против его политических противников».

Между тем, замечает М. Амеллер, несмотря на огромную роль, которую играют партии, в частности при выдвижении кандидатов, мало найдется конституций, которые в прямо выраженной форме признают эту роль. В Великобритании, например, политические партии не получают официального признания в избирательной процедуре, и вся процедура выборов «построена таким образом, будто в ней участвуют только кандидаты, выступающие в виде частных лиц». В то же время в ряде стран приняты правила, согласно которым кандидат должен заведомо иметь поддержку известного числа избирателей. Это число равно двум в Новой Зеландии, шести — в Ливии, двадцати пяти — пятидесяти — в Дании, тридцати — в Финляндии и т. д.

Касаясь вопроса о статусе политических партий, М. Амеллер пишет: «Статус политической партии зависит от строя, существующего в данной стране. В большинстве стран разрешено свободное образование политических партий, что является как бы следствием права на свободу собраний и объединений — основного права всех

граждан. В некоторых странах для создания партий требуется официальное разрешение, и, следовательно, в случае необходимости (?) они могут быть запрещены. В Норвегии, например, для того, чтобы получить разрешение на существование, партия должна насчитывать не менее 100 членов. В ряде стран требуется, чтобы партии соблюдали особые принципы, сформулированные в конституции. Если они не делают этого, Верховный суд государства выносит решение об их запрещении. Таково положение в Бразилии, Ливане, Сомали и Турции, а также в Федеративной Республике Германии, где Федеральный конституционный суд объявил две партии неконституционными (в том числе коммунистическую.— В. С.). В этом же духе составлен и закон 1954 года, принятый Конгрессом США, в соответствии с которым коммунистическая партия «не может претендовать на какие-либо права, привилегии или иммунитеты, которыми пользуются законные организации». Однако принадлежность к этой партии не является противозаконной. Что касается СССР и стран народной демократии, то историческое развитие этих стран обусловило наличие только одной партии или единого фронта, включающего различные политические и общественные организации, между которыми не существует никакого антагонизма. Однопартийная система существует также в Объединенной Арабской Республике и в Центрально-Африканской Республике; Арабский социалистический союз в ОАР, не являясь партией в полном смысле слова, определяется как союз всех активных сил нации.

В странах, где на выборах выступают соперничающие между собой кандидаты, большое значение имеет проблема обеспечения различных кандидатов равными возможностями для завоевания поддержки избирателей.

«Поэтому в наши дни,— пишет М. Амеллер,— во многих странах предвыборная кампания тщательно регулируется законом». В одних странах, в частности в тех на которых оказала влияние английская система, предпочитают ограничивать кандидатов в расходовании средств на избирательную кампанию, законом устанавливая максимальную сумму расходов. В Австралии, например, это 250 фунтов стерлингов при выборах в палату представителей и 500 фунтов при выборах в сенат

В Японии особыми правилами определяют число агитационных плакатов, число объявлений, помещаемых кандидатами в печати, запрещают вербовать сторонников перед выборами, обходя квартиры избирателей, и так далее. В других же странах, как, например, во Франции, подобные ограничения в отношении предвыборной агитации часто сочетаются с предоставлением властями определенных средств всем кандидатам, чтобы обеспечить менее состоятельным из них возможность ознакомить избирателей со своими политическими взглядами. Это могут быть различные льготы, например бесплатная отправка по почте предвыборных обращений, бесплатное печатание плакатов и афиш и т. д. Предусматривается также использование в агитационных целях радио, телевидения.

«Борьба, начатая во время выборов,— пишет М. Амеллер в разделе, посвященном роли политических групп и фракций в парламентской деятельности западных стран,— продолжается в парламенте политическими группами, объединяющими членов парламента, принадлежащих к одной и той же партии или придерживающихся одних и тех же взглядов». Эти группы «тесно связаны с развитием и функционированием парламентской демократии», они «составляют основу парламентской деятельности». Однако в ряде стран со старыми парламентскими традициями воздерживаются от официального признания политических групп, хотя фактически они существуют. Отказывают им в официальном признании в Исландии, Норвегии, Финляндии.

В Великобритании единственным официально признаваемым делением является деление на правительство ее величества и оппозицию ее величества. Основной задачей оппозиции является критика правительственной деятельности. Такая система парламентского большинства и меньшинства направлена на то, чтобы заставить все оттенки общественного мнения примкнуть либо к той, либо к другой стороне. Подобная дуалистическая система, основанная на противопоставлении друг другу правительства и оппозиции, существует также в Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии. Лидеры оппозиции здесь даже получают жалование.

В книге подробно освещены такие вопросы, как статус члена парламента, деятельность парламентских комиссий (коми-

тетов), порядок проведения сессий, законодательная деятельность парламента. Что касается последней, то она, пожалуй, наиболее уязвима для критики, раздающейся со стороны тех, кто скептически смотрит на будущее представительной системы в наш сугубо специализированный век. М. Амеллер, однако, этого скепсиса не разделяет, хотя и признает, что монополия парламента в области законодательства находится под постоянной угрозой, что правительство совершенно явно начинает играть ведущую роль в осуществлении законодательной инициативы. Это, указывает он, вызывается сложностью современных законов, искусство составления которых требует объединенных знаний экономистов и специалистов многих смежных научных областей. Арсенал же технических средств, которым располагает правительство любой страны, несравненно больше того, который доступен члену парламента. В Великобритании обычно лишь одна треть от общего числа всех внесенных законопроектов была представлена рядовыми членами парламента, во Франции это соотношение в 1962 году было равно 7 из 53, в 1963 году — 13 из 98.

И все же, по мнению М. Амеллера, такое изменение концепции парламентарской демократии, вызываемое сложностью современной обстановки, не должно особенно тревожить. Происходит, указывает он, перемещение центра тяжести в работе парламента: ограничиваются его законодательные функции, но вместо этого расширяется и становится более тщательным его контроль за деятельностью правительства. В книге рассматриваются методы такого контроля. Это прежде всего назначение и смещение парламентом главы государства и других должностных лиц и органов, составляющих исполнительную власть, возрастающая роль парламентарской оппозиции, отчетность правительства перед парламентом, деятельность комиссий (комитетов) по расследованию и т. д.

С интересом ознакомятся читатели с материалами разделов «Независимость парламента», «Заседания парламента», где, кстати сказать, приводятся любопытные данные о количестве заседаний парламентаров разных стран. Сто пятьдесят с лишним дней заседаний в году — такова средняя цифра для Великобритании, Италии, США и Чили. В большинстве же

стран парламентар заседает около ста дней, что соответствует сессии продолжительностью в пять-шесть месяцев. В СССР и странах народной демократии, как правило, проводится по две сессии в год, которые длятся от двух до семи дней. Но надо иметь в виду, что в парламентах этих стран основная работа в области законодательства прodelывается постоянными комиссиями.

«Делегированное законодательство», «Конституционность законов», «Подготовка и представление проекта бюджета», «Права членов парламента», «Парламентар и вопросы внешней политики» — эти и другие разделы книги помогут читателю детально представить себе механизм действия представительных органов различных стран.

Вместе с тем следует указать на то, что книга, на наш взгляд, выиграла бы, если бы при сравнительном исследовании различных представительных систем проводился более глубокий анализ их социальной природы. Понятно стремление автора — представителя международной организации — избежать политических оценок того или иного режима. Однако сопоставление парламентарских институтов разных стран главным образом по внешнему, формальному сходству или различию едва ли оправдано. В XX веке концепция представительной демократии как законной основы власти настолько прочно укоренилась в сознании людей, что даже самые крайние диктаторские режимы не рискуют открыто игнорировать ее. Вместе с тем роль, которую играет парламентар в странах, где пришедшая к власти недемократическим путем олигархия осуществляет политический контроль над всеми сферами жизни страны, никак не соответствует назначению этого представительного органа. Там, где политическая активность населения, начиная с системы выборов и кончая законодательной деятельностью парламента, диктаторски направляется по определенному руслу, парламентар играет роль скорее декорации, чем полномочного и полноправного органа власти. Примером тому может служить франкистская Испания. Однако в книге анализ парламентарских институтов Испании и других, нетоталитарных, государств строится в одном плане, в результате у читателя может возникнуть неверное представление о роли и значении этих институтов в странах с разными режимами. Если говорить об Испании, этот недостаток

особенно сказался в тех разделах книги, где речь идет о референдуме, способах внесения законопроектов, контроле за конституционностью законов.

Не оправдано также формальное сопоставление парламентских институтов буржуазного и социалистического типа без учета их коренного различия. На это совершенно справедливо указывают и авторы вступительной статьи Ф. И. Калинычев и В. В. Евгеньев, дополняющие и корректирующие отдельные положения книги. Они, в частности, пишут: «Нуждается в уточнении даваемое автором объяснение порядка выдвижения и обсуждения кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР... В ходе избирательной кампании общественными организациями и коллективами трудящихся в каждом округе выдвигается обычно несколько кандидатов. Избирательный закон допускает такую возможность».

О том, как эта возможность осуществляется на практике, можно судить хотя бы по последним выборам в Верховный Совет СССР, которые проходили 12 июня 1966 года. Возьмем для примера (он вполне характерен) Брянскую область в ходе предвыборной кампании, начавшейся ранней весной, здесь было образовано пять избирательных округов. Однако, хотя от каждого из этих округов должно было быть избрано по одному кандидату, во всех пяти округах выдвинуто было по три кандидата. Так, в Брянском городском избирательном округе были выдвинуты кандидатами в депутаты генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР Г. И. Воронов и слесарь-сборщик Брянского машиностроительного завода Н. С. Злобин; в Брянском сельском избирательном округе — член Политбюро, секретарь ЦК КПСС М. А. Сулов, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Д. С. Полянский и председатель Брянского облисполкома Д. П. Комарова; в Клинцовском избирательном округе — член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров

СССР А. Н. Косыгин, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко и прядильница Клинцовской текстильной фабрики имени Ленина Н. Г. Кузьмина.

Однако в связи с тем, что выдвинутые в этих избирательных округах члены Политбюро ЦК КПСС были в ходе предвыборной кампании выдвинуты также и в других округах страны, они по рекомендации Центрального Комитета сняли свои кандидатуры в этих округах и дали согласие баллотироваться: Л. И. Брежнев, например, — в Бауманском избирательном округе Москвы, Г. И. Воронов — в Октябрьском избирательном округе Новосибирска, А. П. Кириленко — в Чкаловском избирательном округе Свердловска и т. д. В избирательных же округах Брянской области были зарегистрированы кандидатами в депутаты гг. Злобин, Комарова, Кузьмина. За них и отдали голоса избиратели Брянщины в день выборов 12 июня.

Ничего не сказано в книге и о процедуре проведения окружных предвыборных совещаний, на которых представители общественных организаций окончательно договариваются об общем кандидате в депутаты по каждому из избирательных округов и заручаются его согласием баллотироваться по данному избирательному округу, не показаны дальнейшие этапы предвыборной кампании, в частности деятельность агитаторов, которые призваны ознакомить избирателей с биографией кандидата, утвержденного в данном избирательном округе, рассказать о его трудовой и общественной деятельности.

Нуждаются в дополнении и уточнении и такие разделы книги, в которых речь идет о постоянных комиссиях Верховного Совета СССР и его палатах, о порядке прохождения законов, парламентской ответственности правительства, правах депутатов Верховного Совета и другие.

Однако эти замечания не умаляют ценности обширных сведений, которые содержатся в книге, изданной Межпарламентским союзом.

В. САВИН.

ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

П. К. Ощепков. Жизнь и мечта. «Московский рабочий». М. 1967. 296 стр
Игорь Забелин. Человечество — для чего оно? «Москва», № 8, 1966.

Издательство «Московский рабочий» выпустило вторым изданием книгу заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук П. К. Ощепкова «Жизнь и мечта».

Путь автора книги был сложным. Бывший беспризорник, воспитанник трудовой коммуны, П. К. Ощепков получил высшее образование, стал инженером-электриком, а затем и ученым. П. К. Ощепкову принадлежит инициатива работ по созданию в СССР радиолокации. Многие, даже крупные, ученые не верили в начале тридцатых годов в возможность обнаружения самолетов путем отражения радиоволн. П. К. Ощепков сумел преодолеть этот скептицизм. Его поддержали академики С. И. Вавилов, А. Н. Крылов, А. Ф. Иоффе, А. А. Лебедев, встречам с которыми в книге уделено много интересных страниц. П. К. Ощепков приводит документы, из которых видно, что первые радиолокационные станции начали действовать в СССР в 1934 году, тогда как в США лишь в 1939 году был заключен первый контракт на постройку опытных станций обнаружения самолетов. Но, несмотря на это, в годы войны мы были вынуждены ввозить радиолокационные станции из-за границы. Обидно читать об этом, так же как и о том, что инициатор создания этих станций П. К. Ощепков несправедливо и надолго оказался оторванным от научной деятельности.

Незгоды не сломили П. К. Ощепкова. В пятидесятых годах он начал разрабатывать свою вторую проблему — интроскопию, то есть проблему видения в непрозрачных средах. Сейчас уже созданы и применяются первые интроскопы, которым посвящена одна из лучших глав книги П. К. Ощепкова.

Но в книге рассказывается еще об одной мечте автора — найти способы концентрации рассеянной энергии. Эта часть книги представляет, на наш взгляд, наибольший интерес для читателя-неспециалиста. Вместе с тем она вызывает и серьезные возражения, так как автор излагает здесь свое неправильное понимание одного из важнейших законов природы — второго закона термодинамики.

Как и все законы природы, этот закон — результат обобщения опыта. Его наиболее

простая формулировка: «Теплота не может сама собой переходить от более холодного тела к более горячему» Например, горячий чайник, внесенный в комнату, может отдавать комнате свое тепло, охлаждаясь при этом и нагревая комнату, однако отнять тепло от комнаты может лишь более холодная улица; сконцентрировать же это тепло вокруг остывшего чайника и тем самым вновь нагреть его уже невозможно. Тепловая энергия способна только рассеиваться, концентрироваться же самопроизвольно она не может. А так как в процессе работы любая форма энергии в конечном счете переходит в тепловую, то, рассеиваясь в пространстве, эта энергия пересгает быть работоспособной и для нас теряется.

Это явление — результат беспорядочного движения молекул. Остывающий в комнате чайник — источник «нагрева»¹ вблизи него молекул воздуха, которые затем расходятся по комнате. Конечно, не исключено, что какая-нибудь молекула с более высокой «температурой» в процессе своего случайного передвижения в какой-то момент времени сама собой вернется к уже остывшему чайнику. Возможно даже, что это сделают одновременно пять, десять, даже тысяча молекул. Но практически совершенно невероятно, чтобы в каком-либо малом пространстве (в данном случае — вокруг чайника) случился сбой, собралось сразу около 10^{23} «горячих» молекул, которые несоблюдимы для заметного повышения температуры.

Уже из этого элементарного примера видно, что разность температур в системе и возможность получения за счет этого работы связана с определенным порядком в расположении молекул — в нашем примере скоплением более «горячих» молекул вблизи чайника. Напротив, равномерность распределения температуры и энергии есть результат беспорядочного, чисто случайного расположения молекул. Для количественной оценки степени беспорядка вводится понятие «энтропии», которую здесь мы можем считать просто синонимом степени беспорядка.

¹ В строгом смысле слова нужно говорить о скорости и ускорении молекул, а не об их температуре и нагреве. Мы пользуемся этими понятиями, чтобы не усложнять объяснение.

рядка. Чем выше энтропия, тем выше неупорядоченность системы. Поскольку, как мы видели на примере с комнатой, предоставленная сама себе, то есть изолированная, система стремится к наиболее вероятному, беспорядочному состоянию, то становится ясной более общая формулировка второго закона термодинамики: «Энтропия, то есть степень неупорядоченности, замкнутой системы стремится к максимуму».

И вот против этого закона природы, сформулированного Клаузиусом в 1850 году, П. К. Ошепков выступает уже много лет.

Прежде всего — а можно ли возражать против установленного закона природы? Можно, поскольку мы никогда не можем быть уверены, что от нашего внимания не ускользнула группа явлений, к которым этот закон неприменим. К настоящему времени известны и давно объяснены две области неприменимости второго закона термодинамики — микросистемы и Вселенная. Клаузиус пытался было распространить открытый им закон для изолированных систем на систему неограниченную, каковой является Вселенная, в связи с чем пришел к выводу о постоянном рассеянии энергии Вселенной и предстоящей ей «тепловой смерти». Ученые-материалисты (Ф. Энгельс, Л. Больцман и другие) убедительно показали необоснованность переноса второго закона термодинамики на Вселенную.

Однако на Земле закон рассеяния энергии действует неуклонно. П. К. Ошепков сам приводит интересные подсчеты, показывающие, что через несколько поколений человечество окажется перед угрозой энергетического голода вследствие истощения запасов полезных ископаемых. Поэтому было бы очень интересно узнать, какие научные аргументы выдвигаются им против закона рассеяния энергии, потому что эти аргументы одновременно послужили бы указанием на путь, пусть пока только теоретический, которым рассеянную энергию можно было бы вновь поставить на службу человечеству.

Таких аргументов в книге П. К. Ошепкова нет. Он приводит много фактических данных о концентрации энергии в природе, и у непосвященного читателя может создаться впечатление, что второй закон термодинамики — не выведенный из опыта закон, а результат умствований кабинетных ученых. На самом же деле все приводимые П. К. Ошепковым примеры, кроме тех, ко-

торые относятся ко Вселенной в целом, можно легко объяснить с позиций классической термодинамики.

Например, он указывает на возникновение огромных температур при грозовом разряде, хотя температура Земли, ее атмосферы, испаренных молекул воды в грозовом облаке не превышает 25° Цельсия. В этом факте П. К. Ошепков видит пример концентрации рассеянной энергии в противовес запрету второго закона термодинамики. Но ведь этот закон запрещает такую концентрацию только в изолированных системах. Туи, постоянно запаасающие энергию ветра и Солнца (для них это внешние источники), такими системами не являются. Содержащие в себе большой запас механической и электрической энергии, они при столкновении превращают ее в тепловую энергию, что сопровождается повышением температуры и насколько не противоречит классической термодинамике.

В другом месте П. К. Ошепков ставит рядом две формулировки второго закона термодинамики: «Теплота не может переходить сама собой от более холодного тела к более горячему» (Клаузиус) и «Теплота не может переходить от холодного тела к теплоте без затраты работы» (Карно). Затем он пишет: «Это далеко не одно и то же. По Клаузиусу следует, что все тела, предоставленные самим себе, стремятся к равновесию, к «тепловой смерти». Из формулировки Карно никак не следует, что переход тепла от холодного тела к теплоту принципиально невозможен; в ней утверждается только то, что такие процессы сопровождаются затратой работы, то есть затратой энергии».

Даже непосвященный читатель может увидеть, что обе формулировки однозначны. Если речь идет о концентрации энергии в системе, получающей энергию извне, то зачем же копыа ломать? О такой возможности можно прочесть в любом учебнике физической химии. По этому принципу работает много приборов и машин, например домашний холодильник, который при помощи подаваемой извне электроэнергии отнимает тепло от холодильной камеры и передает его в более теплую комнату (потрогайте решетку холодильника сзади и убедитесь, что она греется). О таких приборах рассказывает и П. К. Ошепков в интересной главе «Навстречу девятому валу», хотя его

объяснения их работы зачастую несостоятельны.

Стремясь доказать ложность второго закона термодинамики, П. К. Ощепков то и дело отождествляет его с теорией «тепловой смерти» Вселенной, хотя такое отождествление совершенно неоправданно. При этом некоторые из аргументов П. К. Ощепкова безупречны уже не только с физической точки зрения. Например, он пишет:

«Существует постулат Клаузиуса, согласно которому теплота не может сама собой переходить от тел более холодных к телам более нагретым. Есть множество других теорий, призванных доказать деградацию энергии и невозможность ее обратной концентрации...

В природе обязательно должны иметь место процессы и обратного характера, то есть процессы концентрации энергии... Но где найти подтверждение своим мыслям?.. Будучи горячо убежден в том, что в основе всякого поиска лежит анализ, методология, я обратился прежде всего к классикам марксизма, основоположникам диалектического материализма...»

Избранный метод оказался плодотворным, и П. К. Ощепков нашел необходимую цитату из «Диалектики природы» Ф. Энгельса: «Мы приходим, таким образом, к выводу, что излученная в мировое пространство теплота должна иметь возможность каким-то путем, — путем, установление которого будет когда-то в будущем задачей естествознания, — превратиться в другую форму движения, в которой она сможет снова сосредоточиться и начать активно функционировать...»

«Но почему же, — спрашивает П. К. Ощепков, — указание Энгельса о том, что отыскание путей, ведущих к сосредоточению энергии, должно стать задачей естествознания, не выполнено, почему оно забыто? Почему? Тысячу раз — почему?» Ответ ясен: «Буржуазные идеологи — от римского папы до современных идеалистов в науке — возвели эту сторону проявления сил природы (рассеяние энергии. — Э. Р.) в некий мировой закон, чуть ли не равнозначный закону сохранения энергии. Проповедуется принцип деградации не только энергии, но и материи вообще».

Мы не знаем, какой римский папа и что именно говорил об этом законе, но без него невозможно представить себе стройное здание современной физики; его обоснова-

нием служит атомистическая теория Больцмана, этот закон является одним из исходных принципов квантовой теории Планка. П. К. Ощепков не выдвигает возражений, достойных этих оппонентов, он не пытается создать новую физику, основанную на отрицании постулата Клаузиуса, как сделал, например, Лобачевский, который показал, что будет с геометрией, если отказаться от одного из постулатов Евклида. Несмотря на успехи современной физики, аналогичные попытки со стороны П. К. Ощепкова своей смелостью вызвали бы уважение и, весьма вероятно, были бы не бесплодны. Процесс творчества сложен, и история науки знает немало случаев, когда ложный или казавшийся ложным путь приводил к важнейшим открытиям. Однако приведенные высказывания П. К. Ощепкова близки к попытке заменить научные доводы в споре идеологическими обвинениями по адресу своих противников.

Что касается цитированного П. К. Ощепковым высказывания Ф. Энгельса, то в нем и в помине нет ощепковской нетерпимости. В этой фразе нет никаких директив естествознанию, она относится ко Вселенной в целом и связана с критикой Ф. Энгельсом идеи ее «тепловой смерти».

П. К. Ощепков утверждает, что постулат Клаузиуса «затормозил... развитие науки на целое столетие. Не утвердись этот постулат априорно, развитие науки, возможно, пошло бы по другому пути». Это место позволяет усомниться в том, насколько хорошо П. К. Ощепков знает историю вопроса. Постулат Клаузиуса не утвердился априорно. Против него упорно боролись физики так называемой энергетической школы — Оствальд, Мах и другие. Они именно потому и оказались побежденными, что их точка зрения тормозила развитие науки, а постулат Клаузиуса оказался исключительно плодотворным и послужил стимулом к возникновению новых идей.

В своей книге П. К. Ощепков неоднократно обращается к общественному мнению: «Хорошо известно, что пока новая идея не завоеует масс, не станет достоянием общества, она не получит материальной силы; в лучшем случае она остается в мечтах, в фантазиях, а иногда и этого удела ей не предоставляют. Так происходит пока и с этой идеей» (имеется в виду идея концентрации рассеянной энергии в противовес второму закону термодинамики). Но ведь

законы природы — не юридические законы, их судьба не может решаться голосованием. Критика законов природы должна основываться только на строгом научном анализе.

Как видит читатель, со многим в книге П. К. Ощепкова мы не можем согласиться, причем наши возражения относятся не только и не столько к существу научного спора, сколько к методам его ведения. Но мы были бы несправедливы, если бы не привели слова, которыми заканчивается книга: «Все, что здесь написано, написано правдиво, чистосердечно, а главное — со страстным желанием помочь человеку». Этой мыслью действительно окрашена вся книга, и сомневаться в ее искренности невозможно. Мы знаем, что в активе П. К. Ощепкова есть крупнейшие научно-технические достижения, и все это определяет общую оценку его книги.

До сих пор мы не касались вопроса об органической жизни в свете термодинамики. Этот вопрос поставлен уже в книге П. К. Ощепкова, но особенно много внимания ему уделил И. М. Забелин в статье, опубликованной журналом «Москва». В этой статье автор, сопоставив фактические данные о развитии человеческого общества и по-новому взглянув на них, пытается уяснить себе и читателю, для чего существует такое явление природы, как человечество. Статья читается с интересом, но и ее выводы основаны на неправильном понимании второго закона термодинамики. И П. К. Ощепков и И. М. Забелин считают, что существование органической жизни ему противоречит. «Живая биологическая ткань, эта высшая форма материи с ее функциями обмена, с непрерывным синтезом и распадом,— пишет П. К. Ощепков,— наглядное подтверждение закона концентрации и децентрации энергии в природе, так как синтез может происходить только при повышении энергетического потенциала, а распад при понижении его». И. М. Забелин как бы продолжает мысль П. К. Ощепкова: «Первый такой процесс, сразу же противопоставленный второму началу термодинамики, был обнаружен сравнительно быстро — это органическая жизнь, растительность в первую очередь, с ее способностью к фотосинтезу. Именно в растениях концентрируемое солнечное тепло вновь становится используемым, начинает активно функционировать...»

Читатель уже сам может понять, что

ошибочность противопоставления этих процессов второму закону термодинамики заключается в забвении слов «сама собой» в его формулировке. Земля, органическая жизнь — не изолированные системы, и речь здесь идет об использовании теплоты, самопроизвольно переходящей от горячего тела (Солнца) к холодному (Земле). Развитие человеческой цивилизации — процесс, безусловно идущий с понижением энтропии. Он связан со все более увеличивающимся потреблением энергии, запасенной земной корой когда-то или притекающей сейчас от Солнца. Можно надеяться, что за счет солнечной энергии человечество в будущем сумеет разрешить свои энергетические трудности. Но энтропия Солнца при излучении повышается. Баланс энтропий станет яснее, если привести формулировку второго закона термодинамики, данную Планком: «В любом естественном процессе сумма энтропий всех тел, участвующих в процессе, возрастает».

Когда Солнце погаснет, то, в соответствии с термодинамикой, вероятно, наступит «тепловая смерть» солнечной системы, которую не следует путать с «тепловой смертью» Вселенной и которая не противоречит материалистическому мировоззрению. Ф. Энгельс писал: «Жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше,— смертью. Диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится». Сейчас можно только фантазировать по поводу того, что тогда будет с человечеством. И. М. Забелин приводит следующее высказывание Норберта Винера: «Мы погружены в жизнь, где мир в целом подчиняется второму закону термодинамики: беспорядок увеличивается, а порядок уменьшается... Мы в самом прямом смысле являемся терпящими кораблекрушение пассажирами на обреченной планете». О грустной перспективе для людей говорит и П. К. Ощепков. Этот пессимизм трудно понять. Питекантроп, которого еще никак нельзя считать человеком, жил всего около миллиона лет назад. Человеческая цивилизация насчитывает не более шести тысяч лет. А Солнце, по предположениям ученых, еще несколько миллиардов лет будет оставаться практически в таком же состоянии, как сейчас! Уж если говорить о грустной перспективе, то у каждого человека есть гораздо более реальная перспектива собственной смерти, но это не мешает ему

жить и работать, хотя даже возраст ребенка, едва научившегося ходить, относительно куда более почтенен, чем возраст человечества.

На основной вопрос своей статьи — для чего человечество? — И. М. Забелин отвечает так: «Цель человечества — противостоять энтропии, его назначение — избавить некий локальный участок мироздания от тепловой смерти или, по крайней мере, замедлить ее наступление... Человечество — это орган природы, ею же созданный для управления стихийными силами». С термодинамической точки зрения этот ответ нельзя считать правильным. Понижение энтропии человечества дорого обходится остальной части природы, энтропия которой повышается. Если, фантазируя, представить себе, что человечество сможет когда-нибудь заставить Солнце еще более интенсивно излучать свою энергию, то это приведет лишь к ускорению его остывания. Поэтому вряд ли природа (если ей приписывать разум, как это фактически делает И. М. Забелин) может быть заинтересована в антиэнтропийной деятельности человека. Это во-первых. Во-вторых, «тепловая смерть» отдельных локальных систем вовсе не означает смерти природы в целом. Да и вообще высокоорганизованная органическая жизнь, по-видимому, сравнительно редкое явление, и в огромном количестве миров природа обходится без антиэнтропийной деятельности этой жизни. Кстати, такая деятельность — отнюдь не монополия человечества, ее выполняет вся органическая жизнь.

Что касается самого вопроса И. М. Забелина, то он напомнил нам учение вольтеровского Панглоса, который утверждал, что «все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому у нас очки. Ноги, очевидно,

назначены для того, чтобы быть обутыми... Камни образовались для того, чтобы их тесать и чтобы из них строить замки... Свиньи созданы, чтобы их ели...». Ну, а человечество для чего?

В самом деле, вопрос о цели существования предмета имеет смысл лишь с точки зрения его служебной функции по отношению к другому предмету или явлению. Но с чьей точки зрения можно обсуждать вопрос «для чего человечество?». Если с точки зрения природы, то, приписывая ей целенаправленность при создании человечества, мы наделяем ее разумом и фактически отождествляем с богом. Панглоса тоже мучил этот вопрос, и он спрашивал турецкого дервиша:

«— Учитель, мы пришли спросить вас, для чего создано такое странное животное, как человек?

— Во что ты вмешиваешься? — сказал дервиш.— Твое ли это дело?»

По-видимому, нет смысла отрывать человека от прочего органического мира. Как и у всей органической жизни, цель существования человечества в целом — сохранение вида и не более. Раз уж так получилось, что на Земле создались благоприятные условия для возникновения высокоорганизованной жизни, то она и стала развиваться, используя для этого все предоставленные ей энергетические возможности. Только для себя и выполняет человечество сложную антиэнтропийную деятельность, потому что такая деятельность составляет одну из сторон жизни. Следует подчеркнуть, однако, что хотя противоречия с термодинамикой здесь нет, попытки привлечь эту формальную науку для выяснения механизма возникновения жизни и предсказания судеб человечества вряд ли могут быть плодотворными.

Э. РАБИНОВИЧ,

кандидат технических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ БОЕВ (РАЙОНЫ ПЕТРОГРАДА В ДВУХ РЕВОЛЮЦИЯХ 1917 г.). Сборник воспоминаний старых большевиков-питерцев. «Мысль». М. 1967. 584 стр.

Сорок два человека, чья молодость совпала с выдвигавшимися событиями в истории нашей страны, делятся на страницах этой книги своими воспоминаниями. Большинство из них в 1917 году были работниками районных комитетов партии, заводскими организаторами, депутатами районных Советов, гласными районных дум. Поэтому и появились у книги подзаголовок — «Районы Петрограда в двух революциях 1917 г.».

Перед читателем раскрывается как бы «нижний этаж» революции: Совет, дума, профсоюз, фабзавком, солдатский комитет. Об этих организациях в имеющейся мемуарной и исторической литературе сказано меньше всего.

Воспоминания сгруппированы в десять разделов, каждый из которых посвящен какому-либо одному крупному району.

Наряду с Выборгской стороной, Нарвской заставой и другими знаменитыми своей революционностью питерскими окраинами в воспоминаниях широко представлены центральные районы столицы. То, что на сторону большевиков были привлечены революционные организации этих районов, имело особое значение для успеха вооруженного восстания.

В частности, хочется отметить ценные воспоминания Е. Р. Левитас «О партийной и советской работе в 1-ом Городском районе». Автор вспоминает о том, что на заседаниях районного Совета постоянную полемику между собой вели большевик Семен Михайлович Нахимсон и его родной брат — меньшевик Федор Михайлович Нахимсон. Победа неизменно оказывалась за Семеном, а 1-й Городской районный Совет одним из первых перешел на большевистские позиции. Вскоре после Октября в ряды большевиков вступил и Федор Нахимсон. Богаты фактическим материалом и воспоминания М. И. Тылочкина о деятельности большевиков в Петроградском районе.

Все основные события, имевшие место на пути от февраля к Октябрю, находят в материалах сборника свое отражение. Новые детали и подробности заинтересуют широко читателя. Что же касается историков, то

они, безусловно, по достоинству оценят этот интересный источник. Конечно, в сборнике есть и неточности, смещения событий, почти неизбежные в мемуарах. Однако они не так уж снижают ценность книги. Сотни новых фамилий активных участников революции, живые зарисовки уличных сцен и заседаний Советов — все это дополняет картину политической борьбы в районах города.

Б. Гальперина.

Ленинград.

★

АНТОН СОРОКИН. Напевы ветра. Западнo-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1967. 188 стр.

К числу незаслуженно забытых советских писателей относится и Антон Семенович Сорокин, человек необыкновенно интересной судьбы, одна из самых ярких и своеобразных фигур литературной Сибири.

Многим до сих пор жизнь А. С. Сорокина кажется каким-то ребусом. Выходец из богатейшей семьи сибирских скотопромышленников, он еще в юношестве порвал со своей средой. Уже в первых произведениях он обрушился на мир чистогана, с ненавистью и презрением писал о стяжателях. Его объявляют сумасшедшим, начинают травить. Стремясь привлечь внимание к своему творчеству, он эпатирует обывателей, падких на сенсацию. Его эксцентричные поступки, его необычные и резкие суждения настраивают против него общественное мнение. За ним закрепляется репутация скандалиста, сумасшедшего и графомана, которая, кстати сказать, преследует его и после революции, хотя для большинства его читателей уже было ясно, что в лице Сорокина литература приобрела интересного и оригинального писателя.

Нет смысла останавливаться на всех казусах биографии «Дон-Кихота сибирской литературы», как называли Сорокина его друзья, но о двух наиболее характерных эпизодах стоит рассказать. «Незадолго до начала империалистической войны, — вспоминает Леонид Мартынов, — молодой еще тогда писатель Антон Сорокин напечатал книжку «Хохот желтого дьявола» и разослал по экземпляру этой книжки не кому-нибудь, а прямо правителям мировых держав — Вильгельму II, английскому королю

Георгу и т. д. ... Ответ получен был Сорокиным лишь от сямского короля. Благовоспитанный монарх прислал Сорокину книжку обратно с пояснением, что с русским языком он, сямский король, знаком плохо, государственным же делами занят по горло, а посему возвращает книжку обратно. Другие монархи не ответили Сорокину даже и так.

О чем же писал Сорокин в своей книжке «Хохот желтого дьявола»? Он писал о губительной силе золота и о вреде кровопролитных войн, думая вразумить монархов...»

Второй случай не менее примечателен. Во время гражданской войны Сорокин, находившийся в Омске, провозглашает себя «диктатором литературы Сибири». Это была грандиозная и рискованная пародия на Колчака, перед этим объявившего себя верховным правителем. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не заступничество... представителя Японии при Колчаке Танака, которому понравился один из рассказов Сорокина. О своих многочисленных приключениях в стане белогвардейцев писатель впоследствии рассказал в любопытнейших новеллах «Тридцать три скандала Колчаку».

Разумеется, творчество Сорокина, как и любого писателя, неотделимо от его личности. Оно несет в себе все странности его характера, сложную и путаную систему его взглядов. Но в главном оно по-настоящему демократично, пронизано верой в человека, в простых людей, в торжество справедливости. Его рассказы-аллегории трогательны и поэтичны. Особое место в его творчестве занимают казахские, или, как тогда говорили, киргизские, новеллы. В них он выступает как гуманист, поборник дружбы и равенства между народами.

Яркий и человеческий талант Антона Сорокина еще при жизни писателя признали многие. Его творчество высоко ценил Вс. Иванов. Максим Горький постоянно интересовался судьбой сибирского «озорника». Обращаясь к писателям-сибирякам, он советовал «...собрать все, что написано об Антоне Сорокине, и собрание очерков этих издать. После того, как будет издана такая книга, можно приниматься за издание работ самого Сорокина».

Западно-Сибирское книжное издательство учло это горьковское пожелание. Такая книга наконец увидела свет. В ней наряду с воспоминаниями современников опубликован и ряд произведений писателя.

Перед нами предстал еще один интересный писатель.

Я. Липкович.
Ленинград.

★

А. КИТАЙГОРА, К. РЫСКИН. В прифронтовой зоне. «Прапор». Харьков, 1967. 112 стр.

Войска Советской Армии вели наступление в районе Барвенково. Автомшины не успевали подвозить снаряды и патроны.

Атаки вот-вот могли захлебнуться. Из всех частей неслось: «Боеприпасы!»

И свершилось чудо. На рассвете к опушке леса, где и железной дороги-то не было, подполз маленький паровозик «Овечка», притаившийся около двадцати вагонов с боеприпасами. Оказалось, что ночью, прикрываясь темнотой и шумом канонады, железнодорожники положили на землю шпалы, наскоро прикрепили к ним рельсы, и вот машинист осторожно ведет по этой «временке» драгоценный груз...

Это — один из множества эпизодов, о которых рассказано в небольшой книжке А. Китайгоры и К. Рыскина. Она повествует о самоотверженности и героизме железнодорожников важнейшей прифронтовой магистрали — Южной дороги — в годы Отечественной войны. Есть тут описание неравной схватки советских машинистов с вражескими летчиками, заметки о диверсионных действиях подпольщиков и смелых налетах партизан... Герои этой книги не служили в действующей армии, но и не скажешь про них, что они были в тылу. Да и где кончался тыл и начинался фронт, иногда невозможно было ответить.

В книге множество имен. Понятно желание авторов не забыть, не обойти никого из участников описываемых событий. Но, к сожалению, на практике это в данном случае означает: обо всех понемногу и ни об одном обстоятельно. Такое скольжение по поверхности особенно заметно в очерке «Незримой армии бойцы», оно сказывается и в некоторых других очерках. При этом немало места занимают диалоги, явно придуманные. Нужна ли такая беллетризация документального материала, тем более такого, который и сам по себе способен оказать на читателя большое эмоциональное воздействие?

Книга могла быть строже и оттого — лучше.

Б. Исаев.

★

ГАНС ЯКОБ КРИСТОФ ГРИММЕЛЬС-ГАУЗЕН. Симплиссимус. Издание подготовил Александр Морозов. «Литературные памятники». Л. 1967. 672 стр.

Гамлет, Гаргантюа, Дон-Кихот, Уленшиггелль, Фауст... Не столь уж велик список этих имен, носителей которых заслуженно называют вечными спутниками человечества. Образы эти стали достоянием всех народов, их имена — нарицательными во многих языках. Но не всегда одинаково складываются судьбы книг и их героев, и бывает, что великие произведения лишь спустя несколько веков занимают в литературе то место, которое им предназначено. К таким произведениям относится и «Симплиссимус». У себя на родине, в Германии, эта книга была вновь открыта лишь спустя полтора века после своего появления, до русского же читателя она дошла только теперь, накануне своего трехсотлетия, исполняющегося в 1968 году.

«Затейливый Симплициус Симплициссимус, то есть: пространное, невымышленное и весьма приснопамятное жизнеописание некоего простосовестного, диковинного и редкостного бродяги и ваганта...» — основное произведение Гриммельсгаузена, немецкого народного писателя XVII века, участника и хрониста Тридцатилетней войны, сатирика и моралиста, оказавшего огромное влияние на современников и потомков. Кстати, и Брехтовская «Мамаша Кураж» — это тоже переработка одного из сюжетов Гриммельсгаузена.

«Симплициссимус» — детище своего времени, в его живых и выпуклых образах воплотились мучительные проблемы и противоречия, переживаемые в ту эпоху Европой, и прежде всего многострадальной Германией. Гриммельсгаузен как бы предвосхищает рецепт своего великого соотечественника Гёте:

Черпайте материал смелей из гущи жизни!..
Что ни найдете там — во всем есть интерес.

Роман не отличается жанровым единством — в нем использованы едва ли не все формы и традиции, свойственные той эпохе: моралистическая аллегория, ученый трактат, авантюрная повесть, народный анекдот и многое другое.

По своему сюжету это — история жизни наивного деревенского мальчика, втянутого в водоворот войны, познавшего радости и горести жизни, взлеты и падения и, наконец, презревшего мир, в котором он не нашел ни счастья, ни постоянства, ни справедливости, и удалившегося на необитаемый остров.

Симплициссимус — воплощение здравого смысла, простой человеческой совести, народной морали. Недоумение перед нелепостью устройства человеческого общества, бессмысленной жестокостью, чревоугодием, стяжательством, сластолюбием — это лейтмотив всего его поведения. Хотя он и сам не остается вне жизни, внешне уподобляясь своему окружению — становится шутком, солдатом, лекарем-шарлатаном, попадает в десятки невероятных приключений, реальных и фантастических, странствует по Германии, забирается даже в Московию и Тарию, — но всюду и всегда он сохраняет здравый смысл, его прямота и честность остаются неизменным мерилем жизненных ценностей.

Перевод «Симплициссимуса» — дело очень трудное, это видно из очерченного нами характера романа. А. Морозов и Э. Морозова выполнили перевод на высоком художественном и научном уровне (хотя в тексте встречаются порой отдельные неточности, которые полезно было бы устранить при переиздании книги).

К роману приложена большая сопроводительная статья А. Морозова. В сущности, это серьезная научная работа о творчестве Гриммельсгаузена, представляющая самостоятельный интерес.

Замыкает книгу обширный комментарий, содер­жащий пояснение исторических, гео-

графических, мифологических, религиозных и культурно-бытовых реалий, ссылки на литературные источники и иные сведения, необходимые для понимания текста.

Выход в свет этой книги в русском переводе — событие в нашей литературе, подготовка издания — несомненная заслуга А. Морозова.

М. Цвиллинг,
кандидат филологических наук.

★

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО! ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ!». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. Составитель полковник В. И. Дашичев. Под редакцией генерал-майора Н. Г. Павленко. «Наука». М. 1967. 751 стр.

«Совершенно секретно!» Такой гриф ставился на наиболее важных документах германского командования. Такой заголовок выбран для сборника документов об агрессии гитлеровской Германии против СССР. В сборник вошли наиболее важные директивы германского верховного командования и командования родов войск о подготовке к нападению на нашу страну, приказы, донесения, письма главарей гитлеровского рейха, генералов и высокопоставленных чиновников, выдержки из стенограмм совещаний в ставке Гитлера, из дневников верховного командования, данные о состоянии личного состава германских вооруженных сил, об использовании и распределении рабочей силы, в том числе военнопленных, о военном производстве и многие другие. Документы раскрывают механизм подготовки и проведения агрессивной войны, начиная с хвастливо-угрожающих речей фюрера и кончая полными отчаяния записками последнего коменданта Берлина генерала Вейдлинга.

Данные, приведенные в сборнике, наглядно показывают решающую роль советско-германского фронта во время второй мировой войны. Именно здесь гитлеризму были нанесены смертельные удары. До нападения на СССР, то есть за период с 1 сентября 1939 года по 21 июня 1941 года, общие потери вермахта составили около 300 тысяч человек. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года гитлеровцы потеряли 9410 тысяч человек, из них 7523 тысячи, то есть почти 80 процентов, было потеряно на советско-германском фронте, в том числе 1874 тысячи убитыми, 4338 тысяч ранеными и 1311 тысяч пленными и пропавшими без вести.

Многие из опубликованных в сборнике документов известны исследователям, часть материалов была в предшествующие годы напечатана на страницах «Военно-исторического журнала». Можно, однако, с уверенностью сказать, что и историки еще раз прочтут эти документы, собранные воедино, с большим интересом. Развернутые комментарии к сборнику, автором которых, очевидно, является составитель, облегчат чтение тем, кто не имеет стройного представления о событиях. Будет справедливым отметить, что

эти комментарии имеют и самостоятельную ценность. В них не только рассказывается о судьбе некоторых документов, но и дается научный анализ стратегии гитлеризма накануне и во время Великой Отечественной войны, разбираются основные тенденции буржуазной историографии в освещении затронутых проблем.

Среди документов, помещенных в сборнике, обращают на себя внимание планы расчленения Советского Союза, истребления и онемечения населения СССР и стран Восточной Европы — так называемый план «Ост» и другие документальные подтверждения человеконенавистнических замыслов гитлеровцев.

За строками гитлеровских приказов и директив встают миллионы убитых, разрушенные города, сожженные села, кровь и слезы. Перечитывая эти документы, еще и еще раз ощущаешь, с каким бесчеловечным и опасным врагом пришлось иметь дело нашему народу в годы Великой Отечественной войны, какой великий подвиг совершили советские люди, уничтожив врага человечества — германский фашизм.

Сборник открывается документом от февраля 1933 года. Однако было бы вполне уместно выделить специальный раздел для документов, характеризующих планы германских фашистов в отношении СССР до их прихода к власти. В последний раздел сборника можно было бы включить некоторые извлечения из обвинительного заключения и приговора Нюрнбергского трибунала, а может быть, и ряд свидетельских показаний, таких, например, как заявление бывшего германского военного министра фон Бломберга: «Если теперь столько генералов оспаривают свои тогдашние позиции и утверждают, что они всегда были противниками Гитлера, то, видимо, им изменяет память...» Это было бы целесообразно сделать, поскольку война с Германией имела два финала — один в Карлсхорсте, другой в Нюрнберге.

Недостаточно убедительным представляется примечание к странице 79. Оставляя в стороне рассуждения комментатора о психике Гитлера, что относится к компетенции не только и не столько историков, следует все же отметить, что вопрос о том, кто, когда и по каким причинам поддерживал Гитлера, нуждается в более глубоком анализе, нежели это сделано в указанном примечании.

В заключение хочется выразить надежду, что публикация сборников документов типа «Совершенно секретно!» будет продолжена.

А. Некрич.

★

А. Д. СУХОВ. *Философские проблемы происхождения религии.* «Мысль». М. 1967. 287 стр.

Чтобы успешно бороться с религией, нужно знать ее происхождение и историю. Однако до сих пор было мало крупных работ, посвященных философским аспектам проис-

хождения религии. Этот пробел в значительной степени восполняется книгой А. Д. Сухова.

Автор излагает не только собственную, марксистскую точку зрения на процесс возникновения религии, но и взгляды теологов и философов-идеалистов. Он показывает взаимосвязь истории религии со всей историей развития общества. Интересно, что уже в глубокой древности (в Египте в III тысячелетии до н. э.) высказывались сомнения в официальной религии, в существовании загробного мира. Правда, здесь автор порой увлекается: примерами древнеегипетского свободомыслия он считает не только некоторые литературные памятники, но и... практику разграбления гробниц. Нам кажется, что свободомыслие, протест против официального мировоззрения, есть одно из высших проявлений духовной жизни, и оно вряд ли может быть поставлено на одну доску с тем, в чем находит проявление как раз отсутствие каких-либо духовных устремлений.

В мифологии многих народов сохранились представления о «золотом веке» человечества, когда люди жили в довольстве и мире друг с другом и с богом. Взгляды современных теологов-прамонотеистов недалеко ушли от этих мифов: по их мнению, люди когда-то верили в единого бога, но затем нагрешили, утратили с богом непосредственную связь и впали в многобожие. А. Д. Сухов дает убедительную критику этих взглядов. Он подробно рассматривает все периоды становления религии. Предшественником религии был аниматизм, сущность которого заключается в одушевлении всех живых и неживых предметов окружающего мира, в отрицании качественного отличия их от человека. Первым этапом формирования собственно религиозного сознания является анимизм (вера в духов), затем возник политеизм и в последнюю очередь монотеизм. Для изучения истории возникновения религии автор широко пользуется работами Н. Н. Миклухо-Маклая и других путешественников, изучавших жизнь и нравы современных отсталых народов. А. Д. Сухов показывает, что с проявлениями аниматизма можно встретиться и сейчас, хотя, по нашему мнению, он необоснованно принимает за такие проявления некоторые книги, описывающие поведение животных.

А. Д. Сухов опровергает широко распространенное мнение, будто централизация власти способствовала победе монотеизма. Он обращает внимание читателя на псеуданую попытку ввести монотеистический культ в Египте в период правления фараонов (реформа Аменхотепа IV) и на победу христианства как раз в период распада централизованной Римской империи. По мнению А. Д. Сухова, победа монотеизма связана с возникновением феодального общества. Этот вопрос, конечно, нуждается в дальнейшей разработке, но сама гипотеза представляется интересной.

Книга А. Д. Сухова написана в духе научной объективности и уважения к оппонентам. Автор широко использовал для своей работы советские и зарубежные источники. И хотя некоторые его соображения спорны, нет сомнения, что его книга — значительный вклад в изучение происхождения и становления религий.

Э. Р.

★

Ф. КРИВИН. Ученые сказки. «Карпаты». Ужгород. 1967. 184 стр.

Каждую новую книгу Феликса Кривина открываешь с радостью и опасением: не исчерпал ли себя под его пером жанр сказки-аллегории?

Иногда эти опасения подтверждаются:

«— Сегодня щелочь, завтра кислота... Вот так и живем...

— А сам-то ты как относишься к химической реакции?

— Да никак. Просто меняю окраску».

Не правда ли — выразительная миниатюра «Лакмус»? Но сам автор настолько приучил нас к взыскательности, что такая сказка нам не кажется особенно интересной — это уже было в ранней книжке Ф. Кривина — «Лоскут».

А вот в «Записках Кошечки Бессмертного» Ф. Кривин «взрывает» изнутри традиционные сказки, уводит героев из привычных ситуаций и ведет в новые, знакомит с другими сказочными героями: «Мы ушли из своей сказки. Мы ушли из нее, потому что у нас каждый день все повторяется, а повторение — это все равно, что конец».

Смелость «ухода из своей сказки», сказки, уже полюбившейся читателю, принятой и признанной им, — свидетельство богатства творческой фантазии писателя. И вправду — «Ученые сказки» объединили в себе более сотни названий самых различных аллегорий. Тут и традиционные для Ф. Кривина собственно «ученые сказки» (логическое продолжение и углубление «Карманной школы» и «Божественных историй»), и уже упомянутые «Записки Кошечки Бессмертного», тут далеко не всегда веселые раздумья над жизнью и поисками человеком своего нравственного «я» — «Я был Гарпаном», интересные «Неначатые рассказы», наконец блестящие сатирические странички, скрывшиеся под неприметным заголовком «Глава примечаний». Новый Ф. Кривин? Нет, писатель остался прежним, — просто перед читателями (а у Ф. Кривина есть устойчивый круг своих читателей) раскрылись некоторые новые грани его таланта.

Слабее других — «Фантастические очерки», написанные автором после поездки в Польшу. Фантастика их не всегда оправдана и интересна. Впрочем, составляют они меньше десятой части книги.

Б. Яранцев.

ДМИТРИЙ СТОНОВ. Раннее утро. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1967. 544 стр.

Прошло пять лет с тех пор, как не стало одного из старейших советских писателей — Дмитрия Мироновича Стонова. К этой годовщине вышел в свет сборник его избранных произведений, в который включены повести «Текля и ее друзья», «Раннее утро», «В городе наших отцов» и пять рассказов.

Замечу, что в литературном наследии Д. Стонова наберется немало и других произведений, которые не уступят вошедшим в опубликованный сейчас сборник и, очевидно, тоже будут переизданы в свое время.

Д. Стонов выпустил свою первую книгу рассказов «Лихорадка» в 1925 году, и к этому времени у него — двадцатисемилетнего — уже была настоящая трудовая и революционная биография, ему было о чем рассказать читателю. С тех пор на протяжении почти сорока лет литературной деятельности он много ездил по стране, был корреспондентом «Известий», был тесно связан с горьковским журналом «Наши достижения», печатая в нем свои очерки, участвовал в Отечественной войне, как прежде в гражданской. В последние годы на многие месяцы уезжал в Белоруссию, Литву, в Закарпатье. Он знал страну, встречал множество людей самых различных профессий, сближался и дружил с ними. Он писал не о себе, не о своем только поколении, как это мы видим зачастую у молодых писателей пятидесятых — шестидесятых годов. Следуя традициям классической русской литературы, Д. Стонов стремился воплотить в своем творчестве широкий мир и людское разнообразие. Герои его повестей и рассказов — крестьяне и строители, колхозный бригадир и доктор, комсорг и воин-разведчик, заведующая заготпунктом и подросток-школьник, труженица из многодетной семьи и адвокат. Из совокупности его произведений складывается картина повседневной жизни, какой живут наши люди — обыкновенные и вместе с тем необычайные, ибо в их поведении, в их чувствах и мыслях естественно обнаруживается новизна морали социалистического мира.

Стиль писателя, неброский, чуждый всяких эффектов, сочетает простоту и ясность с четкостью видения, выразительностью изображения, проникнут внутренним теплом доброго отношения к людям, родственным ощущением природы.

«Навсегда в моей памяти останется шольский рассвет, когда сонный поезд остановился на пустынной станции. В вагоне пахло всем тем, чем пахнут пригородные поезда: пылью, зеленой пробегающих мимо деревьев, краской. Я сошла на деревянную платформу, и тогда меня охватила бодря прохлада, от запаха зреющих хлебов легко и весело кружилась голова. Я опустила чемодан и долго, ладонями сжав щеки, сидела неподвижно. Матовые, почти голубые в этот ранний час хлеба подходили к самой станции, окружали ее, слышно было, как ветер

мягко перебирает колосья. Уже проснулись жаворонки. Из-под крыши вокзала выпорхнули воробьи и, распушив перья, однообразно прыгая, стали привечать наступающий рассвет, солнце — багровое, холодное, без лучей, оно только показалось» («После праздника»).

Так нарисовать рассвет на тихой станции мог только человек, который не раз в своих скитаниях выходил ранним утром из поезда на дощатую платформу, направляясь в одну из бесчисленных «глубинок» обширной нашей земли. С такой достоверностью и сердечностью Д. Стонов писал все, что он успел написать.

Ф. Левин.

★

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ. Иней. Стихи. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль. 1967. 192 стр.

Дмитрий Николаевич Семеновский (1894—1960) несправедливо обойден критикой, все еще отводящей ему место «областного» (ивановского) поэта, в то время как он — один из видных общерусских поэтов. неотъемлемо вошедший в историю советской поэзии.

Семеновский, изгнанный в 1912 году из владимирской семинарии за участие в бунте, в том же году впервые выступил в печати — в большевистской «Правде», напечатав там стихотворение «Визги, яростные язвы». В другой большевистской газете («Невская звезда») было напечатано стихотворение Семеновского «Микула».

В дальнейшем начиная с 1913 года Семеновский печатался в лучших «толстых» журналах, в том числе и в «Летописи», редактируемой Горьким. Горький вообще сыграл огромную роль в жизни и литературной судьбе Семеновского, находившегося в переписке с ним почти двадцать пять лет.

В свое время Горький писал о Семеновском: «Не многие из современных поэтов могут похвастаться таким знанием русского языка, каким обладает Семеновский... Он — поэт настоящий, «от земли»

Семеновский органически связан с деревней, с крестьянской массой, с родной русской природой. Его трудно причислить к какой-либо «школе», он очень самобытен и своеобразен. Правда, в его поэзии, если брать ее первый период, есть некоторые посторонние, неорганические влияния, но впоследствии они были изжиты. Он видел мир своими глазами и полн о бессмертной его радости своим голосом — скромным, трогательным и певучим. Он влюбленно вслушивался в «сторожевой, протяжный звон» родины, в кукование кукушек или в курлыканье отлетных журавлей, не мог насмотреться вдосталь на осенний лес («лес стоит разубран, раззолочен...») или на весенний сад в пенно-белом цвету...

Большое место в стихах Семеновского отведено и его родному краю — фабричному Иванову, древнему Владимиру, прекрасным поволжским городам — Юрьевцу и Плесу.

Любил Семеновский и нашу национальную древность, ее героиню, столь остро проступающую в песнях, летописях и в «Слове о полку Игореве», переложенном им на язык современного стиха.

Семеновский — преимущественно лирик, но у него немало и стихов остро социального плана. Выразительны, в частности, его стихи, бичующие проявления и пережитки мещанского быта (особенно «Гуденье церковной меди»), и стихи, написанные в годы Отечественной войны.

Любовно-лирических стихов в творчестве Семеновского не так-то много, но они очень теплы, нежны, целомудренны. Особенно хорошо «Ожерелье» (почему-то, к сожалению, не вошедшее в сборник «Иней», как не вошли в него и лучшие из фольклорных стихов).

Нельзя не отметить серьезную и вдумчивую вступительную статью к «Инею» П. Курпrianовского: она дает вполне отчетливое представление о своеобразии творчества Д. Семеновского.

Ник. Смирнов.

★

В. М. ЖДАНОВ, Г. ВЫГОДЧИКОВ, Ф. И. ЕРШОВ, А. А. ЕЖОВ, Н. Б. КОРОСТЕЛЕВ. Занимательная микробиология. «Знание». М. 1967. 192 стр.

Книга А. Е. Ферсмана «Занимательная минералогия» выдержала тридцать изданий. Восемнадцать раз переиздавалась другая книга этого же ученого — «Занимательная геохимия». По сию пору живут и пользуются большим успехом у широкого круга читателей занимательные книги по математике, физике, астрономии, написанные уже десятки лет назад выдающимся популяризатором Я. И. Перельманом. Этот жанр научно-популярной литературы недавно пополнился новым произведением — «Занимательная микробиология». Ее авторы — группа ученых во главе с действительным членом Академии медицинских наук СССР В. М. Ждановым.

В хорошо иллюстрированной книге показан сложный путь, который прошла микробиологическая наука от смутных догадок о причинах заразных заболеваний до открытия микроба, бактериофага, вируса, до овладения средствами борьбы с носителями инфекции и способами направленного выращивания микробов для использования их на благо человека.

Мир мельчайших невидимых существ столь удивителен, что способен глубоко заинтересовать любого, даже не очень пытливого читателя. Поразительна приспособляемость микроорганизмов к условиям существования. Бактерии, например, превосходят себя чувствуют в керосине, загрязняя это горючее вещество. Известно, что цианистый калий — самый сильный яд, а вот некоторые микробы могут жить в солях цианистой кислоты. В недрах атомных реакторов обнаружили живых микробов, которые переносят радиацию, в две тысячи

раз превышающую смертельную для человека дозу.

Современная микробиология, все более развиваясь, уже отпочковала ряд самостоятельных дисциплин. Выделилась, например, вирусология, проникающая в природу этого своеобразного биологического явления и вносящая уже многое в медицинскую практику. Огромную пользу промышленности и здравоохранению приносит техническая микробиология, которая обогащает нас возможностью использовать микроорганизмы для выработки полезных пищевых и лекарственных веществ. Но мало кто знает, например, что бактерии сейчас помогают повысить производительность нефтяных скважин. По предложению венгерских ученых, пятьдесят литров культуры бактерий вместе с двадцатью пятью тоннами специальной питательной среды заливают в нефтяную буровую скважину; углекислый газ, в большом количестве вырабатываемый бактериями, облегчает отделение нефти от породы и под давлением подает жидкое топливо на поверхность. По последним данным, применение этого способа увеличило добычу нефти в три раза.

Подобными любопытными фактами полны все разделы книги. Одновременно в основном тексте и на полях книги авторы сообщают различные сведения о строении, химическом составе и многообразных свойствах микроорганизмов. Читатель узнает много интересного о новейших работах советских и зарубежных ученых, перед ним вырисовываются контуры современных проблем этой науки.

Завершается книга разделом «Домашняя лаборатория», предназначенным для тех читателей, которые захотели бы испытать свои силы в простейших микробиологических опытах. Дан список рекомендуемой литературы.

С. Смуглый.

★

К. САЙМАК. Прелесть. Перевод с английского. «Мир». М. 1967. 411 стр.

Когда капитан земной базы на Меркурии предлагает дружбу аборигену, похожему на шаровую молнию, тот отвечает:

«— Нет, капитан. Мы и люди — как два полюса. Мы с вами разговариваем сейчас как человек с человеком. Но в действительности разница слишком велика, нам не понять друг друга.

Он засмеялся и выговорил, запинаясь:

— Вы славный парень, Крейг. Из вас вышел бы хороший Шар...»

Этот диалог героев рассказа американского писателя-фантаста Клиффорда Дональда Саймака «Встреча на Меркурии», первого его произведения, опубликованного у нас и по огорчительному недоразумению не вошедшему в сборник «Прелесть», — одно из возможных решений проблемы контакта землян и существ иных миров. Писатель утверждает, что, как бы мы ни стремились к таким контактам, они могут оказаться

иногда принципиально неосуществимыми, а ситуация в целом — выйти за границы человеческих представлений.

Так же своеобразен К. Саймак и в решении других проблем.

Когда могущественные пришельцы со звезд строят где-то в Америке тысячетажное здание для обучения избранных землян, то герою рассказа «Детский сад» оно представляется тупым перстом, указующим в небо, и писатель задается вопросом: не обрекает ли людей появление неведомых благодетелей на чувство неполноценности, не знаменует ли это начало величайшей драмы Земли?

Когда люди устремятся с умирающей Земли к другим планетам, раздумывает писатель, то десятки поколений космонавтов не смогут выдержать тысячу лет в звездолете, если не дать им состояние невежества — своеобразную форму анабиоза, в которую они должны быть погружены («Поколение, достигшее цели»).

Так как только роботы могут смотреть действительности в глаза, полагает писатель, то людей лучше защитить от нее и дать им в космосе идеальных спутников, представляющих собой контролируемые иллюзии — результат взаимодействия электроники и подсознания космонавта («Отец-основатель»). Тот же эффект достигается и предполетной прививкой ностальгии, когда космонавт каждый раз возвращается домой: на Земле тоскуя о Марсе, а на Марсе — о Земле («Специфика службы»).

Как видим, фантазия К. Саймака необычайно изобретательна и изощренна. Но она, к сожалению, лишена веры в мужество человека, с открытыми глазами штурмующего космос. Это сказывается и в повествовании о сверхроботах, которые, превращаясь из помощников в наследников, низводят людей до представительствующих манекенов («Сделай сам», отчасти «Прелесть»). Парадоксально, но факт — самые интересные западные фантасты связывают свои представления о счастье с... прошлым. В рассказе «Через речку, через лес» люди из безумного будущего отсылают к предкам своих детей на машине времени, надеясь спасти их от неизбежной гибели в тормождальной войне.

Так в творчестве К. Саймака проецируются на звездное небо фантастики самые злободневные земные проблемы. Недаром иногда говорят, что научная фантастика — зеркало тревог и сомнений, обуревающих людей атомного века. Обычный ее прием — логическое продолжение намечившихся тенденций развития науки и моделирование социальных конфликтов в неопределяемо отдаленном будущем.

К. Саймак осуждает в своих рассказах самые разнообразные, в том числе и собственно научные, проблемы, но прежде всего он опытный писатель, который мастерски строит сюжет и обладает замечательным чувством юмора. В условиях предельно фантастических коллизий он умеет создавать тонкие психо-

логические конфликты, насыщать свои вещи драматизмом и не особенно затрудняет себя скрупулезным вычислением процента вероятности описываемого события. Но в данном случае вряд ли стоит «поверять алгеброй» оригинальность, своеобразие творческой фантазии такого интересного писателя, как Клиффорд Саймак.

Ю. Моисеев.

★

Н. К. ГЕЙ. Искусство слова. О художественности литературы. «Наука». М. 1967. 364 стр.

Что такое истинное искусство и чем оно отличается от ремесленной поделки? Где тот критерий, что помог бы отличить хорошее от плохого, талантливое и правдивое произведение от «суррогата»? Есть ли в самом художественном создании какие-то существенные свойства, позволяющие дать ему объективную оценку, и если есть, то в чем они? Вот круг вопросов, которые ставит книга Н. Гей.

С первых же страниц автор убежденно говорит о художественной правде как признаке подлинного искусства. «Без правды жизни,— пишет Н. Гей,— нет и не может быть правды художественной, но без художественной убедительности нельзя ввести в искусство жизнь. История искусства свидетельствует о случаях правдоподобного по форме, но ложного по существу воспроизведения жизни и о смелой трансформации внешних форм для создания насквозь правдивых образов — например, у Рабле, Свифта, Шедрина».

Автор рецензируемой книги обстоятельно анализирует многие «составные» понятия художественности, начиная от первоэлемента образа — слова — и переходя затем к стилю и форме.

Слово в искусстве — не просто «знак идеи». Оно реализует в себе идею. «Слово в структуре образа,— читаем мы в книге,— перестает быть словом, становится частью целого, теряет первоначальный исходный смысл и значение и уже осмысливается по-новому, приобретает дополнительное значение, которое капля по капле вливается в русло данного образа, становится его концепцией и идеей, перерастает в концепцию произведения в целом».

Художественность проявляется не только на «уровне слова». Язык писателя выражает «содержание неизмеримо большее, чем составляющие произведения слова», и потому-то мы и вправе говорить об индивидуальном стиле художника.

«Художественность,— заключает автор,— и есть то особое качество, благодаря которому замыкается цепь между жизнью, образом и его структурой. В результате возникает художественная правда, которая правда потому, что она выражает объективное содержание действительности, но вместе с тем художественная потому, что она обязательно — новый мир». Поэтому проблема формы в искусстве, в том числе в искусстве слова, и есть в конечном итоге проблема художественной правды.

Автор книги сразу предупредил, что пойдет речь об уже готовом «продукте» искусства, а не о пути к нему, не о процессе творчества. Однако, отказавшись от рассмотрения творческого процесса, Н. К. Гей в чем-то обеднил возможности предлагаемого им метода проникновения в мир художественного слова. В целом же он касается многих и важных для теории литературы вопросов, и в этом — неоспоримое достоинство его книги.

В. Прозоров.

Саратов.



ОТ РЕДАКЦИИ

В нынешнем году на соискание Премии имени В. Воровского за лучшую работу в области международной журналистики редакция «Нового мира» выдвинула очерк Станислава Кондрашова «Недалеко от Нью-Йорка», опубликованный в № 9 журнала за 1967 год.

Жюри Московского отделения Союза журналистов СССР, рассмотрев работы, выдвинутые на соискание премии, вынесло решение присудить премию собственному корреспонденту «Известий» в США С. Кондрашову за серию репортажей и очерков, разоблачающих американский образ жизни и политику Вашингтона, опубликованных в газете «Известия» и в ее воскресном приложении «Неделя», и очерк «Недалеко от Нью-Йорка», опубликованный в журнале «Новый мир».

Редакция вместе с читателями журнала поздравляет Станислава Викторовича Кондрашова с присуждением этой почетной премии.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. Васюков. Предыстория интервенции. Февраль 1917 — март 1918. 296 стр. Цена 67 к.

Р. Евстигнеев. Экономические реформы в европейских странах социализма. 126 стр. Цена 20 к.

Л. Иванов. Так держат! Очерки. 128 стр. Цена 21 к.

Итоги и перспективы. Сельское хозяйство после мартовского Пленума ЦК КПСС. 272 стр. Цена 65 к.

А. Орлеанский. Художественные образы в «Капитале» К. Маркса. 176 стр. Цена 28 к.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917—1967 гг.). В пяти томах. Сборник документов за 50 лет. Том 3. 1941—1952 гг. 752 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Хмелевский. Христианство и религии мира. Перевод с польского. 192 стр. Цена 30 к.

«МЫСЛЬ»

М. Вагабов. Ислам и женщина. 230 стр. Цена 54 к.

В. Грузинов. Материальное стимулирование труда в странах социализма (Вопросы теории и практики стимулирования труда). 272 стр. Цена 1 р. 11 к.

О. Губарева. Источники роста народного благосостояния в СССР. 188 стр. Цена 60 к.

«Капитал» К. Маркса и политическая экономия социализма. Коллектив авторов. 216 стр. Цена 1 р. 5 к.

Коллектив и личность. Сборник. 150 стр. Цена 46 к.

А. Королева. 20 миллионов против Джима Кроу (Негритянское движение в США на современном этапе). 190 стр. Цена 61 к.

Научное управление обществом. Сборник статей. Выпуск 2. 344 стр. Цена 1 р. 34 к.

Некоторые тенденции развития капиталистической экономики. 1917—1967. Коллективная монография. 296 стр. Цена 1 р. 6 к.

Социалистическая революция и современный капитализм. Коллективная монография. 396 стр. Цена 1 р. 65 к.

Э. Филимонов. Баптизм и гуманизм. 184 стр. Цена 29 к.

«ЭКОНОМИКА»

М. Байков, Г. Татарян. Методика межзаводского технико-экономического анализа. 176 стр. Цена 49 к.

П. Керженцев. Принципы организации. Избранные произведения. 464 стр. Цена 94 к.

Л. Лопатников. Экономические эксперименты в промышленности. 104 стр. Цена 33 к.

Экономическая эффективность комплексного решения сельскохозяйственных проблем. Коллектив авторов. 254 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Аванян. Шахре-Шад, веселый город. Рассказы. Перевод с армянского. 239 стр. Цена 39 к.

А. Борщаговский. Ноев ковчег. Рассказы. 268 стр. Цена 41 к.

Р. Братунь. Зачарованный трамвай. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 120 стр. Цена 36 к.

Н. Вигилянский. Судьба Александры Соколовой. Повести без вымысла. 219 стр. Цена 39 к.

В. Давтян. Летний зной. Стихи. Перевод с армянского. 119 стр. Цена 35 к.

В. Н. Иванов. Императрица Фике. Исторические повести. 320 стр. Цена 66 к.

Л. Квитко. Годы молодье. Роман в стихах. Перевод с еврейского. 192 стр. Цена 1 р.

В. Козин. Четырехрогий баран. Рассказы. 487 стр. Цена 90 к.

Е. Кумпан. Горсти. Стихи. 90 стр. Цена 21 к.

Р. Маргиани. Родные имена. Стихи. Перевод с грузинского. 127 стр. Цена 36 к.

А. Михалевич. Письма с седьмого неба. Книга публицистики. 386 стр. Цена 47 к.

М. Сынгаевский. Архипелаги. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 94 стр. Цена 26 к.

А. Цейтлин. Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда. 536 стр. Цена 1 р. 37 к.

М. Юфит. Старая тетрадь в клетку. Рассказы. 309 стр. Цена 59 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Броневский. Стихи. Перевод с польского. Предисловие В. Слуцкого. 263 стр. Цена 1 р.

Б. Бялик. Судьба Максима Горького. 391 стр. Цена 1 р. 17 к.

Ф. Вайскопф. В бурном потоке. Роман. Перевод с немецкого. 534 стр. Цена 1 р. 59 к.

П. Вежинов. Раннее, раннее утро. Рассказы. Перевод с болгарского. Предисловие П. Нилина. 263 стр. Цена 73 к.

Остров зари багряной. Кубинская поэзия XX века. Перевод с испанского. Составитель С. Фейхоо. 263 стр. Цена 97 к.

Б. Сарнов. Самуил Маршак. Очерк поэзии. 191 стр. Цена 37 к.

С. Шляху. Товарищ Ваня. Повесть. Нижняя окраина. Роман. Перевод с молдавского. Вступительная статья Л. Аннинского. 439 стр. Цена 88 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Аграновский. Иду искать (Рассказы о людях различных профессий). 253 стр. Цена 59 к.

В. Голявкин. Ты приходи к нам, приходи. Повести. 159 стр. Цена 38 к.

Детская литература. 1967. Сборник. 271 стр. Цена 77 к.

А. Ульянова. Детские и школьные годы Ильича. 32 стр. Цена 6 к.

«НАУКА»

- М. Горький и его современники** (Сборник статей). 301 стр. Цена 1 р. 46 к.
А. Губер. Мужество Вьетнама. 97 стр. Цена 35 к.
А. Иоффе. Внешняя политика Советского Союза. 1928—1932 гг. 487 стр. Цена 2 р. 23 к.
История философии в СССР. В 5-ти томах. Том 1. 579 стр. Цена 2 р. 70 к.
Классы, социальные слои и группы в СССР. 231 стр. Цена 1 р. 8 к.
И. Орбели. Избранные труды. В 2-х томах. Том 1. Из истории культуры и искусства Армении X—XIII вв. 587 стр. Цена 3 р. 60 к.
Сильнее смерти (Рассказы о деятелях коммунистических партий, отдавших жизнь за счастье трудящихся). 542 стр. Цена 1 р. 67 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- Т. Семушкин.** Угрюм-Север. Встречи, впечатления, рассказы 160 стр. Цена 42 к.
Г. Титов, А. Злобин. ...И остался в живых. Документальная повесть. 280 стр. Цена 63 к.
П. Макурущенко. Ленин и дети. 112 стр. Цена 49 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Воложанин.** Охрана жилищных прав граждан. 64 стр. Цена 10 к.
Г. Гинзбург, А. Полян, В. Самсонов. Советский адвокат. 200 стр. Цена 60 к.
Ю. Коршунов. Пять плюс два. Правовые вопросы пятидневной рабочей недели. 72 стр. Цена 8 к.
Е. Сосипатров. Записки народного судьи. 120 стр. Цена 16 к.

«ПРОГРЕСС»

- Е. Брошневич.** Я в Польше рожденный. Пьеса. Перевод с польского. 118 стр. Цена 25 к.
Ш. Бзнулеску. Зима муз естественных. Рассказы. Перевод с румынского. 240 стр. Цена 68 к.
Ж. Дорст. До того, как умрет природа. Перевод с французского. 416 стр. Цена 3 р. 18 к.

- Г. Егер.** Бунт обреченных. Роман. Перевод с немецкого. 400 стр. Цена 1 р. 30 к.
Э. Жебеляну. На горе ветров. Стихи. Перевод с румынского. 86 стр. Цена 28 к.
Т. Ливадитис. Кантата для трех миллиардов голосов. Стихи и поэмы. Перевод с греческого. 102 стр. Цена 46 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- М. Агашина.** Растет в Волгограде березна. Стихи. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 94 стр. Цена 39 к.
А. Белоусов. Русско-бурятские связи в журналистике и литературе XIX—XX вв. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 324 стр. Цена 1 р. 20 к.
Е. Богданов. Ожерелье Иомалы. Выюга. Повести. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 134 стр. Цена 37 к.
Ю. Герт. Первое апреля. Рассказы, повесть. Алма-Ата. «Жазушы». 104 стр. Цена 17 к.
М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Составление и вступительная статья А. Елисеева. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 312 стр. Цена 70 к.
П. Драверт. Стихи. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 111 стр. Цена 48 к.
В. Иовиц. Когда вино смеется и плачет. Перевод с молдавского. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 90 стр. Цена 7 к.
Н. Мазепа. Поэзия мысли (О современной философской лирике). Киев. «Наукова думка». 122 стр. Цена 40 к.
А. Мищин. В добрый час. Повесть. Рассказы. Очерки. Краснодар. Книжное издательство. 128 стр. Цена 20 к.
Я. Ругоев. Певучее дерево. Стихи. Перевод с финского. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 233 стр. Цена 70 к.
Г. Семенихин. Летчики. Роман. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 456 стр. Цена 87 к.
О. Семеновский. Марксистская критика о Чехове и Толстом. Из истории общественной борьбы предоктябрьского периода. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 311 стр. Цена 55 к.
И. Фоянков. Сказать несказанное. Заметки о поэзии. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 95 стр. Цена 20 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорш, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 25/III 1968 г. Объем 13 п. л. Подписано к печати 25/VII 1968 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/8} мм. 20,12 уч.-изд. л. 6,5 бум. л. (18,2 усл. печ. л.).
 А 05259. Заказ 979. Тираж 127.700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636